

НОВЫЙ МИР

9

МОСКВА

1945

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1945 г.

№ 9

Год издания XXII

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТ. ФЕДИН — Первые радости, роман. Окончание	2
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Стихи	29
СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ — Смех и слезы, пьеса	31
АЛЕКСАНДР КИРСАНОВ — Стихи	58
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Челябинские колхозы	60
ЮЛИАН ТУВИМ — Лирика, перевод с польского Ник. Асеева	70
С. УШАКОВ — Будни летчиков	72
ЛЕВ ЧЕРНОМОРОЦЕВ — Стихи	85
<hr/>	
А. РУБАКИН — Французские записи	86
<hr/>	
А. ДЕРМАН — Михаил Исаковский	102
АН. ВОЛКОВ — Новые материалы о Горьком	113
З. ПАПЕРНЫЙ — Поэт-патриот	116

БИБЛИОГРАФИЯ

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН — Человек в природе	120
Я. РЫКАЧЕВ — Неудачная повесть	123
Х. ХЕРСОНСКИЙ — Неумирающие актеры	125
Г. БРОВМАН — Книжка о Грибоедове	128
<hr/>	
НОВЫЕ КНИГИ	130

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ

Роман*

КОНСТ. ФЕДИН

★

32.

Вскоре после свадьбы Лизы выпал золотой день, точно затерявшаяся карта из давно сыгранной колоды. Решено было отменить всю намеченную программу удовольствий и идти на яхте.

За рулем сидел Витенька, на парусах менялись двое его закадычных друзей, Лиза устроилась на носу. Ветер дул боковой, шли попеременно правым и левым галсом, выписывая широкую кривую от песков к берегу и назад к пескам, и Лиза вскрикивала на поворотах, когда перекидываемый парус валил яхту с борта на борт. Лизе не было страшно, она вскрикивала от удовольствия и потому, что это веселило яхтсменов и они смеялись. Яхта была крашена в белое с голубым и носила имя «Лепесток». И правда, легкопослушная, она летела по бутылочно-зеленой чешуйчатой волне, и парус ее был похож на загнутый край белого лепестка.

Когда вышли на стрежень, Зеленый Остров развернулся всюю ширию своих зарослей. Они уже перекарасились по-осеннему — ивово-серебряная поредевшая листва была почти проглочена лимонным тоном, местами — в пятнах табачного оттенка, нежно сливавшегося с неаполитанской желтизной песка.

Шилуче вколослся киль яхты в податливый берег острова, и шумное щелканье хлеставших друг друга ветвей тальника заполнило собою весь простор между рекой, землей и синим небом.

Все выпрыгнули на берег, зачерпнув башмаками рассыпчатого тонкого песка. Раскинули, вместо ковра, большой парус, расставили посуду, Витенька попробовал свой тенор. Это был голос неискушенного, любящего слушать себя певца, он высоко поднялся и быстро упал, как загоревшаяся соломка, и Лиза удивленно вытянула шею, открывая в муже неизвестное и

довольно внушительное качество. Выпив вина, попробовали спеть хором, но ни одной песни никто не знал до конца. Дружнее всего получались студенческие куплеты, которых тоже не помнили толком, но зато повторяли с удовольствием:

От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты шагают.
А Харлампий святой,
С позлаченной главой,
Смотрит сверху на них, улыбается.
Он и сам бы не прочь
Прогулять с ними ночь,
Да на старости лет не решается.
Но соблазн был велик,
И решился старик...

Дальше что-то выходило нескладно, хотя всем было известно, что старик спустился со своих высот, отвел со студентами душеньку, за что и был исключен из святого сословия неумолимым небесным советом.

Почему-то и Витюша, и — особенно — Лиза взгрустнули, заговорив о бесшабашной студенческой жизни. В самом деле — судя по рассказам — какая прелесть московские ночные чайные, где извозчики едят яичницу и тертую редьку; как уютно сидеть на бульваре, перелистывая конспект лекций, а иногда и задремывая на плече друга; как должны развлекать переезды с корзинкой белья, подушкой и связкой книжек от одной хозяйки к другой; как поэтичны походы на Воробьевы горы, откуда видны сотни газовых уличных фонарей и фейерверки народных гуляний; как забавно одавать друг за друга зачеты рассеянным профессорам или ходить всем по очереди в одном и том же мундире на вечеринки.

— Жалко только, что эти студенты лезут в политику и портят себе веселую жизнь, — сказал Витюша.

— Да, — согласился приятель, — занимаются сбором денег для ссыльных, заводят оружие, потом устраивают беспорядки. Тут, на острове, есть место, куда сту-

* Окончание. См. «Новый мир», 1945 г. №№ 4, 5—6, 7, 8.

денты приезжали учиться стрелять. Хотите покажу?

— Недалеко?

— Вон, где большие деревья.

Решили пойти посмотреть. Тальник гибко расступался, пропуская тянувшихся гуськом прищельцев, и тотчас плавно смыкал свои прутья за каждым в отдельности, так что казалось, будто чудовищный змий ползет зарослями, расплывая и сжимая кольца одночленного своего тела. Здесь человек терялся, как иголка в стоге сена, и не даром Зеленый Остров был излюблен всеми, кто искал надежного уединения — рыболовами, донжуанами, подпольщиками, самоубийцами, ружейными охотниками, беглецами. Природа покровительствовала равно всем, газня человеческие страсти мошкарю и комарами, вознаграждая ландшафтом, купаньем, привольным отдыхом на горячем пляже. Расцветками своих одежд остров отвечал самой утонченной мечте горожанина, и теперь, в осеннюю пору, озерца, заводи, лозовый подлесок, рожицы и одинокие деревья соединяли в себе удовлетворение и сладость после боли, как чувство матери после родов.

Вышли на поляну, окруженную ветлами и ольхой, между которыми поднимался бледноствольный, косоплечий осокорь. Картина была уже подготовлена к переходу на зиму — помятое сухое былье на земле носило палевою окраску, деревья оголились и небо ярко прорезывалось сквозь темную сеть их ветвей.

Объемистый ствол осокоря на высоте от пояса до головы человека был начисто облуплен от коры и белая древесина его превращена в решето следами глубоко засевших пуль. Витюше удалось выковырнуть ножом одну расплюсченную пулю, и приятели поспорили — какому оружию она принадлежит.

— Конечно — браунингу, — говорил витенькин друг, — потому что теперь у боевой дружины только браунинги. Я знаю.

— А почему ты знаешь, когда был сделан выстрел?

— Потому, что пуля не успела проржаветь. И потому, что она на самой поверхности. Старые пули сидят в глубине, а новые на поверхности. Ты что думаешь? Весь ствол насквозь забит свинцом. Видишь, дерево-то высохло.

Он потянул книзу большой корявый сук, который с хрустом отломился.

— Как хворост. Ты что думаешь? Может в это дерево стреляла еще сама Перовская. Она сюда приезжала, на сходку.

— А кто это? — спросил Витюша.

— Много будешь знать, скоро состаришься. Вон наши мальчишки, которых летом посадили в тюрьму, больно много знали. Они этой весной тоже сюда приезжали с браунингами, я был на рыбалке, видел.

Лиза слушала с увлечением и так внимательно рассматривала осокорь, будто хотела навсегда унести в память каждую щепочку его измоченного ствола, каждую ямку опаленных следов стрельбы.

Витюша, подойдя к ней, вдруг сильно ушибнул ее два раза в ногу. Она вскрикнула.

— Ты что? — недоуменно спросил он. — Тебя кто-нибудь укусил?

Она ничего не могла ответить: его лицо выражало совершенно невинное беспокойство. Но тут же с капризной скукой он сказал:

— Ну, нагулялись, довольно. Надо ехать домой.

Его пробовали отговорить, но он заупрямился: у него разболелась голова, наверное — от солнца, и он уверял, что теперь, конечно, расхворается.

На обратном пути он не хотел ни править, ни держать парусов, а уселся на носу, заняв место Лизы, и отпустил только одно слово рулевому, когда у того, на повороте, сорвалась рука и яхта едва не хлебнула воды:

— Шляпа!

В яхтклубе, оставшись вдвоем с мужем, Лиза спросила, что с ним происходит, но он сделал вид, будто его окружает только свежий воздух. Она шла за ним с ощущением наказанной. Он нанял лихача и привез ее домой, не проронив ни звука.

Он заперся у себя в комнате и не подавал голоса до вечера, пока не пришла Дарья Антоновна, которой он пожаловался через дверь на нездоровье. Лиза должна была выслушать упреки тетушки: как можно, действительно, не позаботиться о молодом супруге? — может быть ему нужен компресс на лобик или прелочку к ногам, а может быть надо послать за доктором? Стоя перед дверью, расписанной поддуб, и наклонив голову набок, чтобы лучше разбирать ответы больного, Дарья Антоновна вела переговоры:

— А градусник ты не поставил?

Нет, оказывается, градусника Витенька не ставил.

— Но мыслимое ли дело без градусника?

Оказывается, мыслимое.

— Ну, а испарина у тебя есть?

Испарины никакой не было.

— А может тебя знобит?

Нет, ни капельки даже не познобило.

— Ну а если только голова, так ведь надо принять что-нибудь внутрь?

А вот принять Витенька ничего не хотел. Он хотел совершенно отдаться страданию, если уж его до этого довели.

— Ах, довели? — ужаснулась Дарья Антоновна, направляя осуждающий взор на Лизу. — Но ведь вот и Лиза стоит здесь у двери и тоже страдает. Так, может, вы тогда лучше вместе будете мучиться, — все-таки облегчительнее, а?

Но на такое лукавство Витенька вовсе не откликнулся.

Уже поздно ночью, когда Лиза засыпала, он появился у постели — в халате и мягких туфлях. Даже усики его раскрутились и повисли, лицо же решительно осунулось и затекло, как будто от излишнего сна. Не проспал ли он на самом деле, весь вечер? — подумала Лиза. Но нет, Витенька одновременно крайне отличался от человека спящего: он дышал, как скороход после огромного пробега.

— Если ты считаешь меня идиотом, то напрасно! — распахнуто выдохнул он.

— Но ответь же мне, почему ты вдруг переменялся? — с искренней тоской воскликнула Лиза. — Что за мысль тебя мучает?

— Желаете знать мою мысль? Я скажу. Я все равно сказал бы. Я не люблю скрытничать, я прямой. Но ты тоже не скрытничай: для меня это — острый нож, слышишь?

Он наклонился над постелью.

— О ком ты думала на острове, когда стояла у дерева? О ком? Когда мы рассматривали пулю, — о ком?

— Я... о ком? — переспросила Лиза, приподнявшись на локтях и слабо отодвигаясь. — Ни о ком.

— Нет, врешь! — сказал он, следуя за ее движениями, так что она все ближе слышала его дыхание.

— Я никогда не говорю неправду.

— А вот говоришь! Не хочешь признать, что думала о своем Извекове? Я ведь знаю, что у тебя было с Извековым! Молчишь? Мне ведь все рассказали, все, как есть!

Он продолжал нависать над ней, и Лиза не узнавала его: не то он превращался в младенца, не то дрыгала на виду, и постаревший рот его дрожал от обиды. Потом он распрямился, словно с торжественным убеждением, что произвел необходимое впечатление и голосом судьи, читающего приговор, объявил:

— Если ты думаешь, что мы поедем в свадебное путешествие, то ошибаешься. Путешествие не состоится.

— Я тебя не принуждаю.

— Ты не имеешь права меня принуждать!

— Хорошо. Я тебя не прошу.

— Ага! Ты обиделась! Значит, я тебя разгадал! Если бы я ошибся насчет Извекова, ты не обиделась бы. Имей в виду: я читаю твою душу насквозь!

Он неожиданно всхлипнул и, сгорбившись, пошел из спальни, волоча пришитый к халату длинный пояс с красными помпонами.

Лизу поразило эффектное, почти актерское выполнение семейной сцены, но ей стало жалко Витеньку и сначала она готова была как-нибудь скорее загладить ссору. Он представлял ей очень молодым,

гораздо моложе, чем ощущала она себя. Ему доставало сильного влияния, как распущенному ребенку, и Лиза серьезно обдумывала — с чего начать, чтобы постепенно исправить его характер? Ее чувство к нему было, конечно, несвободно. Поэтому она испытывала подобие вины перед ним и почти догадывалась, что он должен пережить разочарование. Может быть оттого она его и жалела. Он ждал от нее страсти, и она тоже мечтала отдать свою нежность, но еще боялась окончательно сознаться, что могла бы отдать ее полностью только кому-то другому. Ей стало ясно, что если бы она захотела чистосердечно объясниться с мужем, то надо было бы говорить о самом главном, а самое главное было то, что она вынуждена была скрывать. И она подавила желание скорее загладить ссору. Ведь кто-то из двух должен был бы просить извинения. Если бы стала просить она, значит, она признала бы, что он прав. Но стоило ей это признать, как неизбежно возник бы разговор о самом главном, о том, что она скрывала. Она решила ждать, когда извинится он, потому что в таком случае правота осталась бы за ней, а это и было так: ведь, если не считать самого главного, то виноват был именно он, — с его грубостью, хитростью, ребяческим озорством. Как всегда в молодых браках, она еще была убеждена, что жить совместно нельзя в ссоре, и не подозревала, что раздор, обиды, оскорбления редко препятствуют людям, трясти в семейном фургоне до могилы. Она сделала первый шаг к перевоспитанию мужа: начала ожидать его раскаяния.

Однако Виктор Семенович не спешил с ремонтом покачнувшегося благополучия. Его натура наредкостью легко восполняла потери приобретениями. В первые же недели женитьбы, на глазах Лизы, он митом сменил одно увлечение другим. То его поглощала нумизматика: он ходил по церквям и наемивал в свечных ящиках пятаков, алтынов, грошей и полупшек. Он вел знакомства с ктиторами и приваживал ящичих, которые несли ему, не без выгоды для себя, старые медяки. У него стояли целые мешки позеленевших денег, и он копался в них, чтобы отыскать по каталогу какой-нибудь семик времен Очакова и покоренья Крыма. То он забросил монеты, наткнувшись в своем столе на старый альбом почтовых марок и тотчас воскресив забытую любовь к филателии. Вместо нищих, к нему потянулись школьники, и день за днем шла погоня за марками земской почты и мена Трансаваала на Колумбию или Сиам на Канаду.

— Комиссионеры мои, гимназисты — образованный народ, — говорил при этом Витенька, — ведь марки так расширяют кругозор!

Он отдавал все свободное время любому своему увлечению, а так как в его власти

было освобождать столько времени, сколько хотелось, то он был занят увлечениями всегда.

Он провел в дом телефон и справлялся у телефонной барышни — который час.

— Центральная? Здравствуйте, барышня. Это говорит Шубников. Который теперь час, скажите, пожалуйста.

Это было модно — не смотреть на часы, а телефонировать на станцию. Время же надо было знать потому, что, кроме дежурных увлечений, которые менялись, было много постоянных: миллиард, парикмахерская, лошади, приятели.

Вот почему Лиза быстро убедилась, что вся тяжесть ссоры ложится на нее: Витеньке нехватало и минутки, чтобы пошучать, а она была занята с утра до ночи. Кроме того, Витенька превосходно владел оружием молчания. Он мог напевать через нос какую-нибудь песенку Вяльцевой, мечтательно глядя на самоварный кран, и абсолютно не слышать даже самых настойчивых вопросов. У него был вид человека, который отрешился от мира во имя доставлявшей блаженство поэтической внутренней жизни, и эта личина задумчивого, слегка сумасшедшего молчальника была его преимуществом над ближним. Конечно, Лиза тоже попробовала молчать. Но для ее женских рук это оружие было тяжеловато, как эспадрон для ребенка. Она то бралась за него, то откладывала в сторону, то снова хваталась, чтобы состязаться до победы, доставляя спортивное удовольствие противнику своей слабостью.

Конец ссоре положило не раскаяние Витеньки, но его внезапное великодушие. Вдруг поутру он предстал перед Лизой, как ни в чем ни бывало — любезный, милый, предупредительный до галантности, будто заспавший все неприятности и неспособный поверить, что такую счастливую пару, какой был он с Лизой, могло хоть на мгновение разделить несогласие.

Снова была разработана программа увлечений. Витенька уже не притворялся, что его занимают серьезные вещи. Он любил открытую сцену, ничем не отличаясь от старого и молодого купечества, сложившего так много буйных голов во славу шансонеток из очкинского зимнего сада. От Нижнего до Астрахани шла молва об увеселениях у Очкина, и откуда только ни приезжали сюда кутилы откупорить в компании подюжинку шампанского и гулнуть с красавицами так, чтобы потом вспоминалось до самой смерти.

Лиза слышала об открытой сцене, как о месте запретном, и помнила, что когда поутру в гимназии произносили слово — Очкин, они пересматривались значительным скользящим взглядом и быстро опускали глаза. Но она была дамой, в обществе мужа ей позволительно было посещать все публичные зрелища. И, разодев-

шись, сопровождаемые друзьями, Шубниковы отправились посмотреть певичек.

В саду Очкина рослые пальмы свешивали мертво-лаковые пальчатые листья — спакала над фонтаном, бассейн которого подсвечивался красными лампочками. Черноспинные жирные стерляди стояли острыми носами к ниспадающим струям воды или медленно гуляли по круту, лениво шевеля плавниками. По аллеям так же лениво, как стерляди, кружились полнотелые немки в декольтированных тяжелых платьях с брошками и веерами на длинных золоченых цепочках. Белые руки их пониже плеч были помечены, как бутылки коньяка, тремя звездочками оспенной прививки, в валиках волос сияли пфюрдгеймские бриллианты. Они подбিরали шлейфы и, сделав два-три шажка, опять распускали их по асфальтовой дорожке. В олеандрах горели бумажные фонарики. В гротах из ноздреватого камня, оббитого плюшем, на диванчиках, боатами парочки. Струнный оркестр играл поурри из «Травиаты».

Впервые Лиза обнаружила, как много может означать человеческий взгляд: глаза отнимали здесь первенство у языка в змеиной гибкости выражений. Они лучились, искрились, туманились, млели, открывали бездонные пучины, металы огнем и стрелами, окатывали ледяной влагой, возносили на такие высоты, на которых никто никогда не бывал, запрашивали и отказывали, брали и давали, влекли, сулили, переполнялись мольбой и нетерпением, безжалостно мучили, готовы были на все и все отвергали. О, глаза были гораздо богаче жалкой человеческой речи, — каждой мысли они придавали неисчислимые оттенки и простое «да» говорили в любой окраске, от небесно-синей до болотной, от смоляной до карей, от пепельной до чернильно-вороной, и каждое это цветное «да» светилось на свой лад в глазах мужчин и на свой — в глазах женщин, и каждое «да» несло в себе «нет», каждое таило, как сомнение, «но», и звало, и отталкивало, наслаждаясь своей невысказанной силой.

Этот беззвучный разговор взглядов как взволновал Лизу, что, когда она села за столик в большом зале, ее глаза, не отвечая никому, тоже говорили, говорили о смущении, о любопытстве, о стыде, об удовольствии, о детской растерянности и вспыхнувшем женском всепонимании. Витенька переродился и выиграл, как жереб, которого долго держали в ведре и вдруг выпустили на простор буйного потока. Он выслеживал по страницам меню лакомые блюда и, хищно выхватив добычу, сажал ее в садок — на записку метрдотеля, принимавшего заказ.

Ужин подали, представление началось. Лиза сидела лицом к сцене. Китаец жонглировал копьями и мечами, фокусник

превращал голубей в ленты, воду — в дым, партерный акробат расписывался воздушными сальтомортале. Появилась на просцениуме певица — блондинка в черном платье, окутывавшем ее так тщательно, как будто она боялась показать даже ничтожнейшее пятнышко тела: воротник был поднят косточками до самых ушей, шлейф обвивал ступни ног, черные лайковые перчатки затягивали руки выше локтей. Положив ладонь на ладонь, она прижимала кисти к груди и с томительным усилием старалась расцепить их, и все не могла, и томилась все больше и больше, обводя столики глазами, полными слез, и распевая грустным контраalto:

Жалобно стонет ветер осенний,
Листья кружатся поблекшие.

На смену ей выскочила к рампе, под звон рояля, певица совершенно противоположного темперамента. На ней не было никакого платья, а то, что было, казалось, крайне обременяло ее, не давало покоя ни на секунду, и она все хотела стянуть с себя сборчатый газовый пояс-пачку, и для этого закидывала ноги настольно высоко, что туфельки все время мелькали около лица, и свое нетерпение она объясняла бурными выкриками:

От Китая без ума я!
Что за чудная страна!

Все столики аплодировали и требовали, чтобы она спела «Брандмайора». Она убежала за кулисы, снова выскочила, опять убежала и, вернувшись, пропела «Шантеклеров». От этого столики еще упрямее, еще злее потребовали «Брандмайора». Она сбегала за кулисы три раза и, наконец, исполнила желание зала. Ее восторг от «Китая» и «Шантеклеров» не шел ни в какое сравнение с тем экстазом, который пробуждал в ней «Брандмайор». Она просто кипела, клекотала, извивалась, покаявая зрителям всю свою безмерную слабость к тушителю пожаров.

Витенька хлопал в ладоши, не отставая от публики, и опрокинул бокал вина.

— Вот это настоящая штука! — воскликнул он, отряхиваясь салфеткой.

Но, посмотрев на жену, обнаружил, что она не разделяет его восхищения. Щеки Лизы горели, брови сжались, она глядела себе в тарелку.

— Не понравилась? — с сожалением спросил Витюша. — Ведь это и есть шансонетка!

— Тебе приходится поворачиваться, — сказала Лиза. — Давай переменимся местами.

— Зачем же? Отсюда ведь хуже видно. — Мне будет приятнее — спиной к сцене.

Они пересели, и Витенька сказал друзьям:

— Она у меня еще ребенок.

Все стали смеяться, упрямившая Лизу обернулась, как только появлялась новая шансонетка.

— Ну взгляни, взгляни, — приставал Витюша, немного пьянея, — ну, эта совсем скромнейшая!

— С ней можно идти к обедне, — подпевал один приятель.

— Не видно даже коленок, — заботливо разъяснял другой.

Вдруг Витюша приметил в глазах Лизы странное движение, как будто они медленно переменяли свой светлый зеленоватоголубой цвет на темный и расширялись, росли. Он заерзал, нахохлившись, осмотрелся и среди незнакомых голов, за дальним столиком, уловил выхолощенную, отливавшую черным пером шевелюру Цветухина. Снова поглядев на Лизу, он увидел, что она торопливо поправляет воздушные свои чуть-чуть распадающиеся волосы. Ему почудилось — у нее дрожат пальцы. Он нагнулся и сказал негромко:

— Вот зачем понадобилось тебе переместить место!

Она только успела поднять брови. Он ударил ее под столом носком башмака в лодыжку, так что она сморщилась от острой боли. Он чокнулся с приятелями, высоко поднимая бокал:

— Друзья мои! За святых женщин! За тех, которые не выносят легких зрелищ!

Они не успели допить, когда перед ними возникли Цветухин и Пастухов — в вечерних костюмах, с белыми астрами в петлицах, дымящие необыкновенно длинными папиросами. Пожав Лизе руку, они раскланялись с компаньями.

— Познакомьтесь, — сказала Лиза глухо и неуверенно, — мой муж, Виктор Семенович.

Витенька и за ним его товарищи с некоторой строгостью поднялись и наклонили головы.

— Мы хотим вам предложить, — запросто сказал Пастухов, — объединиться за одним столиком. Вам весело, и мы с Егором полны зависти. Хотите — пойдем к нам, хотите — мы переберемся сюда, здесь лучше видно.

— Нет, — ответил Витюша, — моя жена первый раз у Очкина. Она раскаивается, что пошла. Она не переносит открытой сцены. Она любит театр.

Он задел Цветухина беглым взглядом. — Очень похвально, — серьезно одобрил Пастухов, — давайте глубже исследуем эту проблему за бутылкой Депре.

— Ведь вы — спортсмен, — сказал Цветухин, улыбаясь Шубникову, — сейчас будет французская борьба.

— Моя жена не может видеть даже не одетых женщин, тем более — мужчин. Она хочет домой. — Витенька внушительно поклонился.

— Как жаль, — сказал Цветухин Лизе, — мы думали с вами поболтать. Оставайтесь.

— Нет, она ни за что не хочет остаться.
— Я вижу, воля супруга — закон, —
опять с улыбкой сказал Цветухин.

— Да-с, закон-с! — шаркнул ножкой Витюша и адресовался к приятелям. — Вы заплотите, я потом разочтусь. Идем, Лиза.

Он показал ей дорогу театральным жестом, она простилась и пошла вперед между столбиками, он — позади нее, всею фигурой изображая безукоризненно предупредительного и покорного кавалера.

Он опять застегнул себя на все пуговицы. Но, придя домой, будто одним махом рванула свои одеяния неприступного молчаливника, и пуговицы посыпались прочь: Виктор Семенович Шубников явился заново во всей полноте натурального своего вида.

Он упал в первое подвернувшееся кресло гостиной, крикнул женским голосом и зарыдал. У него трепетали руки, ноги, тряслась голова, он метался, заливая себя слезами, то откидываясь навзничь, то падая на колени и стучаясь лицом в мягкое сиденье так сильно, что гудели пружины.

Лиза смотрела на мужа с черствой неприязнью, но потом ей стало жутко от мысли, что он — припадочный. Она кинулась за водой и поднесла ему стакан, но он отмахнулся, расплескал воду и принялся кричать еще пронзительней. Постепенно весь дом был поднят на ноги, и тетюшка прибежала из своей половины. Кое-как Витюшу отвели в постель, где он продолжал кататься по пуховикам до полного изнеможения. К визиту доктора он лежал пластом и был похож на мертвеца. Тетюшка тихо плакала, доктор сочувствовал ей, но лечение назначил самое нейтральное: ваерияновые капли в случае повторения бурности, а в прочем — покой, обильное питание и ванна двадцати девяти градусов.

Эти двадцать девять градусов (не тридцать и не двадцать восемь) особенно насторожили Дарью Антоновну: очевидно, болезнь была нешуточна, а так как до женьшеньбы с Витенькой ничего подобного не приключалось и ему становилось явно хуже, если Лиза показывалась на глаза, то причину несчастья надо было искать в неудачном браке.

— Что ж, милая, ходить по комнатам скрестя ручки, — сказала как-то поутру Дарья Антоновна Лизе. — Витенька когда еще поправится, а ведь дело-то не стоит. Ступай-ка посиди за кассой в лавке на базаре. Мне одной не разорваться.

И хотя Витенька меньше всего уделял забот делу, от Лизы стали требовать так много, точно он работал не покладая рук, и она начала проводить время за торговлей красным товаром, неподалеку от магазина отца, где еще так недавно впервые встретила своего суженого.

33.

Когда произносили слово «базар», Лиза вспоминала давний детский страх перед нищим, собиравшим милостыню на Пешке. Он сидел на земле, ощеривая зубы, как лошадь, старающаяся вытолкнуть языком неудобный мундштук, и любой мельчайший кусочек его лица дергался, составляя в ужасном танце с головой, плечами, всем телом. Мать сказала ей, что он болен пляской святого Вита, и велела всегда подавать ему две копейки. Она подавала, но всякий раз, бросив медяк в расписную деревянную плошку, которую нищий держал в ногах, она убежала и забиралась подалее в народ, чтобы не видеть пляски страшного лица. Поэтому она достойно обходила базар как можно дальше.

Правда, на Пешке был один приятный угол — несколько арок старого Гостиного двора, где торговали птичеловы. На облезлых стенах снаружи и внутри арок висело множество клеток и смяков, населенных сотнями щеглов, синичек, снегирей, клестов, свист которых издавала чудилась музыкальным ящиком с поломанными иглоками. Среди торговцев ей нравился старик-птичник, похожий на некрасовского дядю Власа. Он обучал пению молодых соловьев, сидевших у него в закрытых холстинками низеньких клеточках. Лиза останавливалась около Власа, смотрела на его широконосое овчинного цвета лицо в кучерявом кустарнике бороды и усов, с крошечными на месте глаз щелочками, и ей бывало удивительно, если вдруг в щелочках вспыхивали два огонька в булавочную головку, а из кустов бороды вырывалось щелканье, трель, посвист и бархатный разлив соловьиной песни. На Благовещенье она приходила сюда выпускать на волю синичек, держала в горстях тепленькие пушистые птички тельца, подбрасывала их, глядела, как, чиркнув стрелой и выписав два-три фистона в воздухе, синицы садятся тут же на фронтон Гостиного двора и долго чистили и расправляли отвыкшие от полетов крылья. Часто потом во сне она видела, как сама взлетает на руках страшно легко, быстро, будто бестелесно и садится на железную крышу Гостиного двора.

Верхний базар был жестким, жадным, кажим-то безжалостно-отчаянным, забубенным. Толпа кишела шулерами, юлашниками, играющими в три карты и в наперсток. Дрались пьяные, ловили и били насмерть воров, полицейские во всех концах трещали свистками. Кругом ели, лопали, жрали. Торговки прютирвали сайлем в ладнях колбасы — для блеска, жарили в подсолнечном масле оладьи и выкладывали из них целые каланчи, башни и горы. Хитрые мужички-рашники показывали панорамы, сажая зрителей под черную за-

навеску, где было душно и пахло керосиновыми лампами. Деревенский наезжий люд бестолковыми табунками топтался по торговым рядам, крешко держась за кресеты с деньгами. До одури бились за цену татары, клаялись и божжились старухи, гундели Лазаря слепцы, да божьи старички, обвешанные свизками луковид, тоненько зазывали — эй, бабы! луку, луку, луку!

Лиза часами смотрела через окно лавки на неугомонную толчею базара.

Раз в скучный, холодный полдень она увидела высокого мужика с копной бело-брысых кудрей, который, держа на руках ребенка, протискивался через кучу людей к шулеру, игравшему в картинку. Игра состояла в том, что шулер метал на подстилочку шоколадные плитки с приклеенными к обложкам красавицами. Плитки ложились картинкой вниз, и любую из них требовалось открыть, как ипральную карту. Если партнер брался за половину красавицы, то он выигрывал шоколад, а если — за ноги, то платил его стоимость. Все делалось честно: шулер показывал, как держит плитку кончиками пальцев за уголок, и все видели — где голова, где ноги красавицы; потом он кидал плитку, и она, мгновенно описав дугу и сделав неуловимый поворот, падала на подстилку. Играющий почти наверно обманывался и проигрывал. Но подручный шулера, потихоньку работавший с ним впару, выигрывал плитку за плиткой на глазах у публики и разжигал азарт простофиля.

Когда мужик с ребенком пролезал через толпу, к нему подсочила сзади девочка, такая же светловолосая, как он, и потянула его за пиджак.

Через отворенную форточку Лиза слышала настойчивый голосок:

— Пап, а пап! Не надо, ну, не надо!

Мужик обернулся, сказал:

— Я выиграю тебе с братиком, стой, — и опять полез, раздвигая людей.

Через мгновение он снова обернулся, с кривой виноватой улыбкой на впалых щеках:

— Проиграл. Погоди, еще одну попытаю.

Но едва он сунулся к шулеру, как подбежала маленькая женщина в шляпке с канарейкой и вместе с девочкой вцепилась в его пиджак.

Он отмахнулся, ударил их по рукам, крикнул в полуоборот:

— Да ну вас! Пускай Павлик потянет, Павлик на свое счастье! Тяни, Павлик!

Он спустил на землю ребенка и, нагнувшись, принялся подталкивать его вперед, под веселое одобрение ротозеев.

В это время женщина с девочкой, озабоченно перешептываясь, стали к окну бокком, и Лиза узнала Ольгу Ивановну и Аночку. Она постучала им в стекло, но они не слышали, потому что мужик обрадованно закричал:

— Выиграл! Павлушкино счастье не выдало!

— Ну и хорошо, ну и слава богу, и довольно, и пойдём, — затараторила Ольга Ивановна.

— Да ты постой, — сказал мужик успокаивающе-добродушно, — ведь я только квити: раз проиграл, раз выиграл. Пускай Павлик еще полянет. Он возьмет, он счастливый!

— Выиграл, и хорошо, и довольно!

— Не талдычь, говорю. Пускай Павлик вытянет себе шоколадку. Если выиграт — значит нам твоя барышня поможет.

Народ уже охотно пропустил его с Павликом, которого он опять толкал вперед. Шулер лихо метнул, все обступили ребенка, крича мужику:

— Ты не подталкивай! Не тронь, пусть сам возьмет! Возьми, малец, конфетку, возьми!

Павлик цапнул плитку и потащил прямо в рот, но к нему сразу потянулось много рук, отняли у него плитку, потягивая. за какой конец он взялся, и он громко заревел.

— Проиграл! — мотнул головой мужик. — Не повезет нам с барыней. А ну еще!

Он полез в карман за деньгами. Но Ольга Ивановна схватила плачущего Павлика, передала его Аночке и повисла на руке мужика:

— Пойдем, пойдём!..

Лизе захотелось непременно вмешаться — купить Павлику гостинца, приласкать его, и она выбежала из-за прилавка. Но в эту минуту все семейство Парабукинных медленно вступило в магазин, ей на встречу.

Ольга Ивановна протянула Лизе ручку, часто и удивительно живо кивая, — в своей дергающейся на слабой резинке шляпочке.

— Простите нас, милая Лизавета Меркурьевна, что мы так все к вам сразу! Это — мой муж. А нашу Аночку вы ведь знаете. А это Павлик, мой младшенький. Что же ты, Аночка? Поздоровайся, как следует. Поставь Павлика на ножки, вытри ему носик. Мы, знаете, Лизавета Меркурьевна, осмелились сперва — прямо к вам домой, а там нам говорят — муженок ваш расхворался и даже совсем не встает с постели, а вы, вместо него, в лавке сидите. Вот мы сюда к вам и пришли, простите нас ради бога. Что это такое с вашим муженьком? Ведь такой молодой! Павлик, вынь пальчик из носика, перестань плакать, вон дяденька тебя возьмет, вон, за прилавком! Ну да ничего, поправится, правда? А вы — как были такой молодой девочкой, так и остались. Как будто и замуж не выходили. Правда, Тиша, я тебе говорила — какая Лизавета Меркурьевна красавица?

— Да уж проси о деле-то, — сказал Парабукин, — не отнимай время.

Он остановился у косяка, смущенно закрывая пальцами подбитый глаз, другой рукой придерживая локоток Аночки, в свою очередь взявшую за ручку Павлика. Перед этой лесенкой выдвинулась Ольга Ивановна, стоявшая посередине магазина лицом к лицу с неподвижной и растерянной Лизой.

— Уж и не знаю, как начать, — задыхаясь от торопливости, лепетала Ольга Ивановна, и глаза ее старались разгадать, что думает Лиза, и бегали, шурялись и вновь выплывались до болезненно-огромного своего размера.

— Вы ведь знаете, мы проживаем у вашего папаша, в ночлежном доме. Так вот, неизвестно почему и за что, и как это вышло, но только папаша ваш не влюбил моего Тишу — мужа моего — вот он сейчас с нами. Не влюбил, не влюбил и, знаете, приказал нам съезжать с квартиры. Не верите? Мы, знаете, тоже сначала ни за что не хотели верить. Да теперь, хочешь — не хочешь, поверили, потому что Меркурий Авдеевич грозитя полицией и слышать не хочет, что у нас дети и что мы без всяких средств пропитания, и Тиша, муж мой, совсем больной после увечья на работе, — смотрите на него, — разве это работник? И вот одна у нас теперь надежда на ваше на доброе сердце, милая Лизавета Меркурьевна.

— Господи я что же, — проговорила Лиза, невольно оглядываясь на приказчиков, с любовью-теснотом наблюдателей сцену. — Конечно, я чем могу...

— Золотая моя! — воскликнула Ольга Ивановна и всплеснула от удивления руками. — Ведь вы теперь такая богата! Ведь уж наверное найдется у вас какая-нибудь косматка! Уголок какой, так себе, что ни на-есть захудалый. Нам ведь, ей-богу, много не надо! Мы с теснотой давно-давно помирились. Уж как-либо, пожалуйста!

— Я право, не знаю.. как мой муж... какие возможности у тетушки, то-есть именно — с жильем, — сказала Лиза. — Я думаю, может быть, переговорить с папой?

— Ах, что вы, что вы! Он ничем не захочет.

— Все-таки если я его очень попрошу... Милая, милая! Вы ведь сама доброта, я вижу! Но разве он согласится? Он уж так на нас рассерчал! Слышать не хочет! А куда мы пойдем с детишками? Если бы не они, да разве мы с Тишей ходили бы просить по людям? Мы тоже ведь прежде прилично жили. Тиша был очень даже непростым служащим... Может вы его даже на службу к себе возьмете?

— Ладно, ладно, — прогудел Парабукин. Лиза взглянула на него, потом — с мучительным, несмелым состраданием — на

детей, и Аночка, перехватив ее взгляд, подалась вперед и выговорила, в голос матери, сбивчивым, поспешным говорком:

— Правда! Правда! Вы скажите, чтобы нас не трогали. Пожалуйста. Я-то не боюсь. Я проживаю на улице. И папа мой тоже. А Павлик маненький, ему холодно.

Лиза рванулась к ней и обняла ее за плечи.

— Ах, боже мой! — вскрикнула растроганная Ольга Ивановна, порываясь тоже броситься в объятия к Лизе, но дверь широко распахнулась, почти придавив к косяку Парабукина, и Виктор Семенович Шубников, шагнув в магазин, обвел всех по очереди взыскующим взглядом.

— Что это ты обнимаешься? — спросил он Лизу, — с родней, что ли, своей?

Мгновение было тихо, никто не двинулся.

— Кто это тебя ходит разыскивает! Что за свидания такие, в магазине?

— Вы нас извините, — собравшись с духом, сказала Ольга Ивановна, и поклонилась, и поправила шляпку, и сделала чуть заметный шагок назад, выражая крайнюю деликатность. — Мы пришли к вашей супруге, потому что мы ее знали еще в девушках. Мы ее попросили, и она так добра, что обещала помочь в нашем квартирном горе.

— Зря обещает, чего без меня не может выполнить, — сказал Виктор Семенович, рассматривая Ольгу Ивановну, как лично своего неприятеля.

— Мы как раз, извините, так и думали — попросить вас через вашу супругу, которая знает ее меня, и вот мою дочку Аночку. Но как вы оказались нездоровы...

— Прекрасно здоров, чего и вам желаю, — оборвал Виктор Семенович. — А шпаться по магазинам, попрошайничать да кланяться не полагается.

— Их просьба касается моего отца, — сказала Лиза.

— Чего же они притащились ко мне?

Ольга Ивановна быстро протянула руки к Лизе:

— Я вас умоляю — не отказывайтесь! Не отказывайтесь от доброго намерения!

— Вы же беспокоитесь, я сделаю, что обещала, — ответила Лиза суховато, но голос ее дрогнул, и это напугало Ольгу Ивановну.

Вдруг нагнувшись к Павлику и притянув его к себе, она тут же толкнула его к Лизе и упала на колени. Слезы с каким-то по-детски легким сбившим заструились по ее щекам. Подтакая Павлика вперед, ди себя, она ползла к Лизе с подавленным криком:

— Детишек, детишек пожалейте, золотое мое сердечко! Не передумывайте! Помогите, милая, помогите! Не передумывайте!

К ней подступили сразу и Лиза, и Аночка, стараясь поднять ее на ноги, но

она забила и упала. Узел прически на ее затылке рассыпался, и шляпка повисла на волосах. Уткнув лицо в руки, раскинутые на полу, она вздрагивала и выталкивала из глубины груди непонятные, коротенькие обрывки слов.

Парабукин, наконец, оторвался от косяка, который будто не пускал его все время. Легко подняв Ольгу Ивановну, он повернул ее к себе и положил трясущуюся голову на свою грудь. Аночка подняла с пола шляпку и прижалась к матери сзади, касаясь щекой ее спины и глядя на Виктора Семеновича сплоскими недвигающимися глазами.

— Пора кончать представление, — не театр, — проговорил Шубников, отворачиваясь и удаляясь за прилавком.

— Уйдем, не ерешенья, — глухо сказал Парабукин.

— Не уйдешь, так тебя попросят, — прикрикнул Виктор Семенович, и лицо его налилось словно не кровью, а ярким малиновым раствором.

— Обижай, обижай больше, — откликнулся Парабукин. — Когда меня обижают, мне и чорт не страшен. Не запутаешь. Аночка, бери Павлушку. Довольно ходить по барыням, кланяться. Не погреем и без них.

Он отворил дверь и, все еще не отпуская от груди Ольгу Ивановну, тихо вывел ее на улицу, в толпу.

Лиза медленно и туго провела ладонями по вискам. Опустошенным взором она смотрела на Витюшу. Он листал конторскую книгу за кассой.

— Это все невыносимо бессердечно, — после долгого молчания произнесла Лиза.

— У тебя больно много сердца... до других, — ответил он, не прекращая перелистыванья.

— У тебя его нет совсем.

— Когда нужно, есть.

— Я думаю, оно нужно всегда, — сказала она и, вдруг подняв голову и выговорив едва слышно: прощай! — жесткими, будто чужими шагами вышла за дверь.

Она почти бежала базаром — в богатом светлом платье, с непокрытой головой. Ей смотрели вслед. Выкрики, зазыванья, переливы споров торгующихся людей то будто преграждали ей путь, то подгоняли ее снующий бег среди народа.

Добравшись до лавки отца, она передохнула и вошла.

Меркурий Авдеевич приветил ее улыбкой, но тотчас тревожно смерил с головы до ног.

— Пришла? Собралась заглянуть к отцу, соседка? — полуспросил он мягко, но уже с серьезным лицом. — Вот славно. Что это ты не сделала, в холод такой?

— Пришла, — сказала Лиза, тяжело опускаясь на стул. — И больше не вернусь туда, откуда пришла.

Меркурий Авдеевич перегнулся к ней через прилавок и окаменел. И тотчас как будто все кругом начало медленно окаменевать — приказчики, подручные мальчишки и вся разложенная, расставленная, рассортированная на полках москатель.

34.

Общество помощи воспитательным учреждениям ведомства императрицы Марии устраивало в Дворянском собрании литературный вечер с балом и лотереей. Судейские дамы разъезжали по городу, собирая в богатых домах пожертвования вещами для лотереи и привлекая видных людей к участию в вечере. На долю супруги товарища прокурора судебной палаты выпало поручение нанести визит Шубниковым. Она приехала в сопровождении Ознобишина и была принята Дарьей Антоновной. Пышная гостья в осенней шляпе с черным спраусовым пером говорила благосклонно-ласково. Ознобишин почтиительно ее поддерживал. Она хотела бы так же поговорить с молодой Шубниковой (с Елизаветой Меркурьевной, — подсказал Ознобишин), чтобы получить согласие на ее помощь в устройстве лотереи, но оказалось, что та не совсем здорова и не может выйти в гостиную. Ознобишин весьма сочувственно поинтересовался — серьезно ли нездоровье Елизаветы Меркурьевны (он еще раз назвал ее полным именем) и сказал, что Общество непременно желает видеть ее на вечере за лотерейным колесом. Дарья Антоновна обещала передать молодой чте о этом желании призвавших гостей, и они уехали, довольные визитом.

Внезапное посещение столь заметной особы дало повод к новому совету между тетушкой и племянником о том, как же действовать пока возмутительное бегство Лизы не получило широкой оласки? Решено было, что тетушка пойдет к Меркурию Авдеевичу требовать отеческого увещевания дочери, после чего Витенька отправится к Лизе, помирится и возвратит ее к себе в дом. Конечно, это было уязвлением самолюбия, но ведь самолюбие пострадало бы еще больше, если бы история стала известна не одним приказчикам, бывшим ее свидетелями. Надо было заминать скандал, пока он не разросся: шутка ли, если в городе заговорят, что от Шубникова сбежала жена, не прожив с ним после свадьбы и двух месяцев?

Уже четвертый день Лиза проводила в своей девичьей комнате. Странное чувство не исчезало у ней; не верилось, что продолжается все та же давнишняя жизнь, плавно несшаяся к неизвестному будущему, которое прихотливо звало к себе в туманных снах или в праздную бездумную минуту лени. Нельзя было объединить

себя с девочкой, когда-то выравнивавшей по линейке вот эти золоченые корешки книг на полке. Ничего не изменилось ни в одной вещице — фарфоровая чернильница с отбитым хвостиком у воробья, шпурочек для пристегивания открытой фартки — а чувство другое, будто между прежним и нынешним стал какой-то непонятный человек и мешает большой Лизе протянуть руку маленькой. И только мать каждым своим словом, каждым нечаянным прикосновением убеждала, что идет, растет, наполнится горем и жаждет счастья все та же цельная, не поддающаяся никакому разрыву жизнь единственной Лизы.

Валерия Ивановна повторила собою удел матерей, отдающих дочь замуж с беззащитной покорностью требовательным обстоятельствам только потому, что замужество есть неизбежность, а брак, в котором ожидается достаток, лучше брака, обещающего нищету. Она повторила этот удел тем, что, отдав дочь только потому, что не отдать — нельзя, и сделав ее несчастной, она потом начала горевать ее горем и с жаром приняла ее сторону в неприязни к молодому мужу. Она словно замалывала свою вину тем, что укрепляла, выхаживала в дочери, как больничная хозяйка, вражду к существованию, какого дочь не знала бы, если бы мать его не допустила. Она сердилась одним сердцем с дочерью на беду, которую накликнула своим непротивлением судьбе, и одними слезами с дочерью оплакивала эту беду.

В глубине души Лиза была потрясена, что мать без сопротивления выдала ее судьбе. И она не только примирилась, но со старой и еще больше выросшей силой полюбила мать, едва поняла, что своим бегством от мужа освобождала не одну себя, но также ее. Потому что Валерия Ивановна, на секунду ужаснувшись бегства, тотчас обрадовалась ему и восхитилась, как если бы нашла ребенка, которого считала бесследно погибшим.

Снова, как бывало всю жизнь, они говорили, говорили вечерами, подолгу не засыпая, утром и днем, обнимаясь, иногда тихо плача, а то вдруг с женской расчетливостью и терпением рассматривали самые маленькие переживания двухмесячной своей полуразлуки и отчужденности, когда они думали, что между ними уже не будет нежной близости, делавшей их как бы одним человеком.

Все речи сводили дело к тому, что жить с Виктором Семеновичем невозможно, и если случилось, что Лиза ушла от него, то возвращаться — было бы ошибкой непоправимой. Если бы уход Лизы от мужа не встречал никаких препятствий, то дочь и мать решили бы дело немедленно, и уже не было бы особой потребности в часовых разговорах, в сидениях рядом на постели, с объятиями и слезами. Но на

стороне мужа находился закон, и неизвестно было — воспользуется ли Виктор Семенович своими правами. Неизвестно было кроме того, какое решение примет насчет дочери Меркурий Авдеевич: он мог ведь отказать ей в своем доме, раз она пренебрегла домом мужа. Но главная неизвестность заключалась в том, о чем мать и дочь сказали меньше всего, но непрерывно все эти дни думали, по-женски перетревоженные, понимая друг друга с мимолетного взгляда, спрашивая и отвечая молча, одними переменами настроений. И когда то, чего Лиза могла ожидать, сделалось ее уверенностью, они обе увидели, что почти решенный уход ее от мужа натолкнулся на такое препятствие, которое невозможно устранить: на четвертый день гощения в своей девичьей комнате Лиза сказала матери, что сама она тоже должна стать матерью.

Рассвет этого дня был совсем зимний — неохотный, серый. Цветы на окнах и разлапый филодендр казались пепельными. Пахло немного опсыревшей глиной затопленных печей. Кот на диване свернулся катышком, уткнув нос в задние лапы.

Лиза в кружком платке вышла на галерею — подышать. Впервые после свадьбы она взглянула через окна с частым переплетом рам. Горы почудились ей очень далекими и будто присыпанными золой. Дворы прижались друг к другу и стали меньше — в неясном, дрожащем, как мгла, плотном свете. Школа потеряла свою близину, ее очертания обеднели и даже когда-то рослые тополя рядом с ней стали маленькими, жидкими.

Было очень тихо, и все будто отступило в даль. Лиза тоже притихла. Уже не глядя в окно, она держалась кончиками пальцев за тонкий переплет рамы. Заснувший от холода шмель — оранжево-черный, как георгиевская лента — лежал на подоконнике ланками вверх. Паутинка карандашным чертёжиком висела между оконной петлей и косяком. Уже забыла, когда открывались окна. Осень кончилась.

Неожиданно Лиза вздрогнула: на галерее появился отец. Он шагал прямо к ней, чуть-чуть подпрыгивая на носках.

С тех пор, как дочь вернулась домой, Меркурий Авдеевич замкнулся. Он как бы не мог выйти из окаменения, в какое впал, услышав от Лизы, что она покинула мужа. Он не говорил ни с ней, ни с Валерией Ивановной, и это предвещало особенно грозное и особенно длинное внушение. Он готовил себя к предстоящему, изучая наставления затворника Феофана, труды которого собирал в своей книжной этажерке и считал истинными сокровищами духовного назидания. Он составил мысленно целую беседу из вступления, изложения и заключения и, лишь почувствовав себя вполне подготовленным, владея всеми душевными силами, решил присту-

пить к делу, дабы закончить его раз и навсегда.

Воплушение Меркурия Авдеевича должно было состоять из порицания праздномыслия, пустомыслия и вообще всякого сонного мечтания и блуждания мыслей. Изложение касалось того, как в душе и теле рождается потребность, как после первого, иногда случайного удовлетворения потребности возникает желание, всегда имеющее какой-нибудь определенный предмет, и как постепенно таких предметов находится больше и больше, так что за желаниями человек уже не видит потребностей. Что делать душе с всеми желаниями? — спросит Меркурий Авдеевич. Ей предлагается выбор — какому предмету из возжеланных дать предпочтение. По выборе происходит решение — сделать или употребить избранное. По решению делается подбор средств и определяется способ исполнения. За этим следует наконец дело в свое время и в своем месте. Заключением беседы Меркурий Авдеевич думал сделать переход от положений общего душе-спасительного характера к содержанию лизино бытия. И тогда разъяснилось бы, что выбор Лиза сделала, так как из всех возжеланных предметов она отдала предпочтение Виктору Семеновичу Шубникову. Решение употребить избранное было принято тем, что Лиза согласилась соединить свою жизнь с жизнью Виктора Семеновича. По решению был найден способ исполнения — сыграна свадьба. И таким, наконец, последовало собственно дело в свое время и в своем месте.

Как же после столь правильного образа действий могло свершиться происшедшее событие? Оно свершилось вследствие крушения духа. И тут Меркурий Авдеевич должен был выступить в качестве восстановителя утерянного равновесия и направить стопы дочери на путь истины.

Так основательно вооруженный, Меркурий Авдеевич направился к дочери для объяснения. Его удивило, что нашел он Лизу опять у того окна, за которым она стояла в день свадьбы, и почти в той же позе. Он усмотрел в этом плохой знак.

— Продолжаешь упрямяться? — спросил он, подойдя к Лизе.

— В чем?

— В том, что, как ранее, глядишь в злостном направлении.

Он показал головой за окно. Лиза не ступила.

— Манкируешь своим долгом в пользу бессмысленного сонного мечтания?

Лиза тихо улыбнулась и сказала необыкновенно-ровным голосом, как будто мучавшие ее поиски давно были утолены:

— Ах, не трудись папа. Ты хочешь убедить, что надо вернуться к мужу? Это решено. Сегодня я возвращаюсь.

Слова ее застали Меркурия Авдеевича врасплох. Он подготовил себя к такому

высокому барьеру, что разбег впустил точно свалил его с ног.

Он отвернулся и зажал ладонями лицо, чтобы подавить волнение. Потом, остро глянув из-под приподнятых мохнатых бровей, потеревших прозность, он поднял руку — погладить дочь по голове.

Когда, прикоснувшись к ее лбу, он быстро перекрестил его, она легко удержала его за руку.

— Я тебя хочу просить за несчастных Парабукиных, которым ты отказываешь в углу: оставь их, они — с детьми.

Меркурий Авдеевич, слетка посопев, уомехнулся:

— В большом господь наделама тебя разумом, а в малом оставил тебе глупость. Нашла о ком песчишь. Пусть живут, коли ты просишь. Что я — бессердечный, что ли? Да ты послушай меня: не мешайся в их житье. Они люди простые, не поймут. А галах этот — непокорный строптивец. Жалость ему — яд.

Он махнул рукой и обнял дочь.

— Да пусть. Пусть живут...

Решение Лизы сняло с его сердца камень, да и весь дом сразу ожил, точно от ниспосланного мира. Стали ждать, когда явится за женой Виктор Семенович, и спрашно засуетились, готовясь его принять, как если бы надо было загладить всех застыдивший проступок.

Лиза побежала сказать Парабукину о новости. Все в том же пуховом платке, накинутом на голову, и в старом узковатом гимназическом платье она спешила по избитым кирпичным тротуарам, припоминая знакомые дома, заборы, рытвинки перед воротами, скамейки у талисадников и только наполовину веря, что земля может нести ее так потовно.

У самой ноцлежки она увидела Аночку, которая в два прыжка соскочила с каменного крыльца, размахивая пустой бутылкой на коротенькой серебочке. Лиза крикнула ей вслед. Она остановилась и секунду помешкала, но, узнав Лизу, подбежала к ней.

— Вы опять как прежняя, — сказала она, охватывая медленными своими глазами лизино платье и дивясь своему открытию.

— Мама твоя дома?

— Мама ушла на Пешку. А папа лежит, хворает. А мне мама велела сбежать в лавочку за постным маслом.

Она махнула бутылкой и тут же, еще раз оглядев Лизу и потом — себя, оттянула низко опущенный лацкан старого жакета и похвастала:

— Это я — в маминном. Он мне только маненюшко широк, да? Она мне его передела.

— Я хотела к вам зайти, — сказала Лиза, — но теперь не надо, раз я тебя увидела. Передай маме, что вы все можете жить попрехнему.

— Можем жить?

— Ну да.
 — Это как?
 — А как вы раньше жили.
 — Когда раньше?
 — Скажи маме, что вас никто не тронет, и чтобы вы оставались тут, на квартире. Поняла?

— Поняла. А папе можно?
 — Всей вашей семье. Поняла? И тебе, и твою братику.

— Нет, нет! Сказать маме — я поняла. А папе сказать можно?

— Ах, ты, девочка, ну само собой!

Чуть-чуть присев и поставив одну ногу на ступеньку крыльца, Аночка проворно спросила:

— Тогда можно — я ему сейчас скажу, а?

— Конечно, можно, беги. Прощай!

Словно пружиной подбросило Аночку с земли, — она выпрыгнула на крыльцо и стремглав понеслась вверх по лестнице, в ночлежку.

Лиза постояла в нерешительности. Ей хотелось заставить себя вернуться домой тем же путем, которым она шла. Но, пожав плечами, она сказала вслух: не все ль равно? Все равно она придет домой, где бы ни шла, все равно сегодня возвратится к мужу, — все решено окончательно и ничего не изменится оттого, что она мимоходом пристальнее взглянет на дом, влекший — казалась ей — только как прошлое, не больше.

Она обогнула угол и стала подниматься по взвозу. Чем ближе подходила она к школе, тем медленнее делались ее шаги, — не потому, что трудно было идти, нет, ей хотелось как можно дольше проходить мимо каменной ограды, мимо низких забранных решетками окон. Она почти приостанавливалась временами и даже допронюлась до стены здания, — приложила ладонь к холодной шершавой известке. Новое, доселе никогда не испытанное внутреннее безмолвие насторожило ее чувства, и у нее не было ни горечи, ни обиды, что все вокруг отвечало ей словно безразличным молчаньем.

Дойдя до калитки, она собралась заглянуть во двор, и в эту минуту до нее донесся настаивающий топот прытких ног: Аночка догоняла ее со всей юркой легкостью детского бега.

— Вы ушли, — выкрикнула она, подлетев и с разбегу остановившись.

Она шумно дышала, лицо ее сияло удовольствием, но опранные влажные глаза выдавали растерянность и перепуг.

— Вы ушли, — повторила она, перехватывая пустую бутылку то одной, то другой рукой. — А я забыла сказать — спасибо!

— Что ты! Я же видела, что ты меня благодаришь, — улыбнулась Лиза. — Охота была бежать! Это наверно тебя отец посылал?

— Я сама. Я подумала, когда мама придет, она меня сейчас и спросит: ты сказала — спасибо? Я и побежала бегом. Вы не сердитесь?

— Нет, нет, все хорошо, — сказала Лиза, вздохнув и положив руку на плечо Аночке, — все хорошо.

Она заглянула в приотворенную калитку. Двор был пуст, дверь извековской квартиры — заперта.

— Ты давно видела Веру Никандровну?

— Она больше тут не живет, — весело ответила Аночка, — она теперь в другом училище, далеко-далеко! Вот когда мы ходили к вам, мы были у нее, я сама видела, как она перевозилась на лозовом. Лиза отступила, прислонившись спиной к верее ворот.

— Далеко? Ты знаешь — где?

— Нет. Я спрошу у мамы, она скажет.

Лиза подождала немного.

— А про Кирилла ты не слыхала?

— Нет. Хотите, узнаю? Сбегаю к Вере Никандровне, а потом приду к вам и все расскажу. Хотите?

— Хочу, хочу! — быстро подхватила Лиза, взяв Аночку за руку и горячо притягивая ее к себе. — Сбегай узнай, хорошо? Хорошо?

— Я, как только мама пустит, так и сбегаю.

— Хорошо, как хорошо, — бормотала Лиза, увлекая за собой Аночку и вдруг останавливаясь, — что же я тебя тащу? Тебе нужно в лавочку, ступай, ступай!

Они простились, и Лиза пошла скорей, приподнятой над землей поступью, возбужденная внезапностью оживших, не совсем ясных ожиданий, и молчание улиц точно сменило свое безразличие на давний тайный разговор с ней, каким она жила здесь прежде.

Дома ее встретил приехавший Витенька. Он кинулся навстречу, приветливый, праздничный: все сделалось без его усилий и так превосходно, как он мог лишь мечтать.

— Я знал, я знал, — твердил он, уводя Лизу к ней в комнату, где уже была разложена одежда, которую он привез — осеннее пальто, и шляпа, и перчатки — Лиза ведь ушла в одном платье!

— Милая, дорогая моя! — восклицал Витенька, целуя жену, разглядывая ее, как после бесконечной разлуки. — Ты знаешь, я сияю! И чудесно получился! Нашел обаятельную рамочку и поставил тебе на туалет. Сначала хотел сделать надпись, знаешь — какую? Нет, не скажу! Я надпишу то, что ты захочешь! Ты продиктуешь. И потом ты тоже снимешься и надпишешь мне то, что продиктуя я, согласна? И я поставлю тебя на свой стол. Пока тебя не было, я сутками напролет смотрел на твою карточку, знаешь, которую еще давно достала Настенька, — где ты гимназисткой. Ах, Лиза!

Она переодевала платье, он сидел рядом, слегка заломив переплетенные пальцы и говоря с раскаянием:

— Ну, конечно, — я взбалмошный. Тетушка меня тоже попрекает, говорит: Витюша, это все от твоего дурного воспитания. Я говорю ей: ну зачем же вы с этим ко мне адресуетесь? Вы мне дали, я и взял. Но, правда, Лизанька: я себя совершенно вкорень переделаю, и мы с тобой ни разу, ей-богу, ни разу больше не поссоримся! Разве я не мужчина? Возьму себя в руки, вот и все!

Он ни за что не хотел остаться к чаю, как его ни упрашивали, наоборот — он настоял, чтобы Мешковы пришли вечером к Дарье Антоновне, где будет отпраздновано примирение. Он нарочно отослал домой лошадей, чтобы идти с женой пешком и непременно — по людным улицам, чтобы все видели, какие они счастливые.

Они шествовали рука об руку, не спеша, останавливаясь перед витринами, разглядывая фотографии, почтовые марки, модные зимние шляпы и даже калоши фирмы «Проводник».

— Знаешь, — говорил Витюша, довольный, что прожогие оглядываются на него с женой, — за тобой приезжала прокурорша, приглашала тебя на вечер. Будет шикарный вечер в Дворянском собрании, мы пойдем, правда?

— Да, да.

— Ты сошьешь новое бальное платье: надо им показать! Ты будешь разыгрывать лотерею. Интересно, да?

— Да, да, — отвечала на все Лиза.

Она была сосредоточенно-тиха, и необыкновенная ее ровность будто не давала Витеньке покоя, и он все хотел ее расшевелить.

Дома он водил ее по комнатам, и они выбирали вещи, которые можно пожертвовать для лотереи. Он выдвинул на середину гостиной стол для этих вещей, а сам ушел на тетушкину половину — готовиться к приему Мешковых.

Лиза подолгу, с какой-то вялой леностью разглядывала безделушки, снимая их с насиженных мест и относя на стол. Это были нелюбимые вещи, заключающие вкус, который ей был навязан готовым, построенным чужими руками домом. Но они уже несли в себе напоминания о пережитом, были невольной частью передуманного в этих стенах, и прикосновениями к ним Лиза словно договаривала то, что могла сказать только себе. И когда она увидела стол, заставленный пепельницами, бокалами, вазами, и этих мельхиоровых, посеребренных изогнутых женщин, и бронзовых сеттеров, и птиц с омерзительно разинутыми клювами, она отчетливо вспомнила первое свое утро здесь и свою примиренность с происшедшим. И она так же села в кресло подле этого будто нарочно возобновленного свадебного подарочного стола.

Но постепенно странная улыбка начала озарять ее лицо — задумчивая и в то же время бездумная, счастливо-пустая, словно Лиза оставляла все окружавшее — быть, как есть, освобождаясь от него ради того, что ей призрачно виделось впереди.

Так ее застал взбудораженный хлопотами, веселый Витюша.

— Ты что грустишь? — обеспокоенно спросил он. — Тебе жалко безделушек? Не хочется расстаться, да? Пустяки! Какие! Я куплю тебе лучше! Мы купим с тобой вместе, хорошо? А это все отдадим. Ты еще мало собрала. Я прибавлю. Пусть знают Шубниковых, не жалею!

— Я не жалею, — сказала очень тихо Лиза.

— Ну а что же, что?

— Я хочу тебе сказать...

— Ну что, что? — торопил он.

— У меня будет ребенок.

Витенька смолк. Одернувшись, он распрямился, кашлянул, щипнул колечки ушков.

— Не у тебя, а у нас, — поправил он новым, внушительным голосом. — У меня и у тебя. У меня, у Шубникова, будет сын Шубников!

Он подпрыгнул, распахнул руки, кинулся к Лизе, выхватил ее из кресла и, засмеявшись, поднял, почти подбросил ее в воздух.

35.

Подполковнику Полотенцеву сообщили вечером по телефону, что подследственная Ксения Афанасьевна Рагозина умирает в тюремной больнице после родов, и спросили — не будет ли каких распоряжений?

— В сознании ли она? — задал вопрос Полотенцев и, получив утвердительный ответ, сказал, что приедет.

Он собирался на благотворительный бал, у него были разложены по стульям сюртук, белье, запонки, он еще не кончил заниматься ногтями, — и в это время позвонил телефон. Он был ревнив к делам службы, в рагозинском деле его постигла задача, он не мог упустить случая лишней раз допросить жену Рагозина, да еще в такую минуту — перед смертью. Он велел позвать извозчика.

Человек, от которого дознание могло бы получить больше, чем от кого-либо другого, был менее других уязвим: беременность Ксении Афанасьевны до известной степени ограждала ее от пристрастия, с каким велись обычные допросы, хотя — за упорный отказ давать показания — ее дважды держали в карцере. Ей самой вменялось обвинение в соучастии, доказанном тем, что у ней на глазах — в кухне и в потребе — находились наборные шрифты и станок, на котором, очевидно, печатались прокламации. Но она не назвала ни одного подпольщика, утаивала,

вероятно, известные ей следы скрывавшегося мужа, а за нерозыском его не мог быть вынесен приговор. Острастки не действовали на нее, попытка облегчить тюремные условия тоже не имели успеха, и, в конце концов, Полотенцев счел за благо предоставить ее естественному ходу вещей, то-есть лишениям, голоду, неизвестности.

Роды начались в камере, без примотра, и только поутру Ксению Афанасьевну перенесли на носилках в больницу. Она потеряла так много крови, что бабка, принимавшая ребенка, пока не явился акушер, сочла заботу о матери излишней.

Но новорожденный появился на свет здоровым. Это был краснокожий в иррадируемых жилках мальчишка с пучком слипшихся шоколадных пушинок пониже темени, большеротый, со сжатыми кулачками и притянутыми к животу фиолетовыми коленками. Глаза он держал наглухо закрытыми, уши были приплюснуты к голове и кончики раковин белели, точно напудренные. Он пищал не очень сильно, кривя на сторону рот, обведенный старческими морщинами. Его обмыли, помазали ему глаза и нос лечебным средством, отчего он запищал погромче, перебинтовали пупок и отнесли в тазу, в котором обмывали, в соседнюю с родильной комнату.

Ксения Афанасьевна была крайне слаба, но все-таки, когда ее осмотрел акушер и приказал положить в отдельную палату, она попросила, чтобы ей дали ребенка. Его принесли запеленутым в больничную дымчато-рыжую пеленку и положили о-бок матери так, чтобы удобно было дать грудь. Но у ней не могли вызвать молока, и мальчишка напрасно попискивал и чмокал губами. Наверно от голода он расклеил, наконец, веки, и в молочно-белой поволоке маленьких щелочек мать поймала его блуждающий, несмысленный взор.

— Карие! — прошептала она изнеможенно-счастлива.

Это был цвет глаз Петра Петровича.

Ребенка взяли, сказав, что его будет кормить мамка. Заполдень ему нашли кормилицу-крестьянку — в общей женской камере каторжной тюрьмы. Больничная сиделка навязала ему на ножку тесемку с деревянной продолговатой бирочкой, на одной стороне которой было написано чернилами — «Рагозин», на другой — «крещен в тюремной церкви... наречен...» Для имени и даты было оставлено пустое место.

Обвернув младенца серым арестантским бушлатом, сиделка, в соупутствии вызванного конвоира, понесла его двором в женский корпус. Сыпал первый, несмелый, колючий снежок, испещряя бушлат мокрыми темными пятнышками, и сиделка с бабьей сдобольностью укрывала то место, где находилась голова ребенка. Кон-

воир шел впереди невеселым злуживым ходом, придерживая шапку. При входе в тюрьму стражник, открыв засовы решетки, засмеялся, гулко сказал:

— С приплодом!

И в отдалении другой стражник, отпирая решетку коридора, уловил его смех и угрюмо ухмыльнулся в ответ.

В камере, на крайней к окну наре, рослая арестантка, распустив завязку ворота на холщевой рубаше, кормила ребенка. Сиделка опустила рядом с ней новорожденного, развернула бушлат.

— Вот тебе приемыш, жалеи да жалуй.

Женщины, медленно поднимаясь с нар, стали подходить ближе, полукругом обступая кормилицу. Она отняла от груди ребенка, положила его на подушку и взяла к себе на его место принесенного младенца.

— Полегше твоево будет, — сказала одна женщина.

Арестантка вложила в жалкий разинутый рот мокрый сосок груди, но новорожденный бессильно чмокал и с писком глотал воздух. Она сжала его губки жесткими пальцами вокруг соска, и он начал судорожно подергивать крошечным подбородком и сопеть ей в грудь.

— Пошеи! — одобрила сиделка.

— Мать-то жива еще? — спокойно спросила кормилица, похлопывая свободной рукой закричавшего у ней за спиной ребенка.

— Пока жива.

Все молча глядели, как учится сосать новый обитатель камеры. Наверно он начал испытывать удовольствие, потому что выпростал из пеленки ножку с биркой и тихонько дергал ею. Раздалось два-три вздоха. Молоденькая арестантка утерлась рукавом и отошла в сторону.

— Свивальников-то у меня нету, — сказала кормилица.

— А вот мать помрет, и возьмешь что от нее останется носильного, — посоветовала какая-то из женщин.

— Ты погляди, — сказала кормилица сиделке.

— Погляжу, — обещала та и простилась, — оставайтесь с богом...

О Ксении Афанасьевне можно было и правда сказать, что она была пока жива. Полотенцев, войдя к ней в палату, подумал, что приехал уже поздно.

При свете убогой лампы, висевшей позади изголовья, круглый лоб Ксении Афанасьевны, остренький носик и скулы были светлоселаты, как липовый мед. Тени, закрывавшие глазницы и приподнятую губу, лежали неподвижно, в темноте чуть виднелась опавшая узенькая шея. Рот был открыт, светилась тонкая полоска верхних зубов, и оттого, что спутанные волосы широко раскинулись на подушке, весь череп, казалось, занимал очень не много места и был детским.

Полотенцев сел перед кроватью, нагнувшись и подперев кулаками подбородок. Подобно врачу, он наблюдал, как боролась за жизнь больная. Вероятно, он послушал бы ее пульс, но она держала руки под одеялом. Скоро он решил, что она не спит, — наверно она заметила, как он входил.

— Пить, — расслышал он дозвольно внятно.

Он взял со столика поильник и поднес носиком к ее губам. Она плотнула, открыла глаза, и он почувствовал, что она его видит.

— Вы узнаете меня? — спросил он.

Она не отвечала.

— Как вы себя чувствуете?

— Ничего, — сказала она, и веки ее опять закрылись.

— Но все-таки ваше положение довольно опасно. У вас теперь сын. Вы обязаны подумать о нем.

Дыхание ее сделалось громким, она вытянула руку наружу, повернула кисть ладонью вверх, уронив ее на одеяло, и рука стала похожа на длинный беспомощный черенок, выброшенный на берег.

— Кто позаботится без вас о ребенке? Только отец. Но он даже и не узнает, что у него есть сын. От кого он может узнать?

Ксения Афанасьевна попробовала приподняться.

— Нет, лежите спокойно. Вы ведь понимаете меня? — спросил Полотенцев.

Он пододвинулся ближе. Она теперь смотрела на него взглядом, в котором нарастали все юные ее меркнувшей жизни — оstonовившимися, воспаленными зрачками круто скошенных вбок больших глазных яблок.

— Я вижу, вы понимаете, о чем я говорю. Ваш муж не поблагодарит вас, если ребенок погибнет. Скажите, кто может передать Рагозину, что у него родился сын?

Он делонько сжал и потряс ее руку.

— Говорите. Иначе будет поздно. Кто может сказать Рагозину, что у него есть сын? Говорите же!

Она потянула руку и чуть-чуть оторвала от подушки голову, но не могла удержать ее. Полотенцев почти приложил ухо к ее лицу. Он слышал, как стучали у ней от озноба зубы. Она прошептала неожиданно ясно слово за словом:

— Вам надо замучить мужа, как меня. Он отшатнулся.

— Вы не в своем уме! Вам говорят о ребенке! Первого вы потеряли, хотите потерять второго?

— Сына вы тоже замучаете, — договорила она из последнего усилия.

Он встал и потребовал с возмущением:

— Еще раз: назовите, кому передать, что у вас родился сын?

Она отвернула лицо к стене. Он двинул стулом, стоел на шаг, подумав, спросил на всю палату:

— Какое у вас будет завещательное желание? Я уйду.

Ее знобило сильнее — одеяло вздрагивало на ней. Вдруг, поворачиваясь, она почти простонала:

— Пусть назовут Петром!

Полотенцев высоко вздернул плечи.

— Второго Петра Петровича желаете отказать нам в наследство? Второго Петра Петровича не будет! Будет обыкновенный тюремный Иван!

Он нетерпеливо погрозился на месте и покинула палату гневным шагом.

— Чорт знает! — сказал он помощнику тюрьмы, провожавшему его через двор к воротам. — Какой-то совершенно бесчувственный народ!

Он заехал домой и переодевался без спешности. В шпидлегах с серебряными шпорами, в сюртуке по колено, он накинул в передней серую зимнюю шинель с пелериной и бобровым воротником, когда его опять позвали к телефону. Не обращая с плеч шинслом, он вернулся в кабинет. Канцелярия тюрьмы передавала, что дежурный по больнице врач сообщил о смерти Ксении Афанасьевны Рагозиной. Он ответил одним словом: «Хорошо!», — и поехал в Собрание.

36.

Вечер начали с опозданием — в зале шла литературная часть. Половину фойе заняли выставкой вещей, которые предстояло разыграть в лотерее. Дамы-благотворительницы еще хлопотали, прихорашивая убранство полок и столов. У колес стояли девочки в завитых кудряшках и голубых платочках, пухлолицые, как херувимы Мурзилы: они должны были вынимать билетки. Изредка дамы поправляли на девочках бантики и кудряшки. Посередине выставки красовалось в золоченой раме изображение главного выигрыша — холмогорская корова. Букет хризантем возвышался перед ее носом, предназначенный для счастливицы, которому падет выигрыш. Кругом все сверкало, переливалось, искрилось — самсавары, чернильницы, татарские тувельки, бутылки шампанского, рупоры-граммофонов, будильники, манголины, мясорубки. Здесь всякий вкус отыскал бы себе приманку, и ни поклонник стихов Надсона, ни знаток кактусов не могли бы пожаловаться, что они позабыты.

По сторонам лотереи были сооружены павильоны: в саженной, чудовищно разинутой пасти тигра красавица, наряженная цирковой укротительницей, продавала крошечку, а под цыганским шатром в цветистых заплатах другая красавица, дородная и упитанная, в костюме цыганки, сидела с полупагем, который выклеивал из ящичка бумажки с предсказаниями, сча-

стью. Над шатром висела надпись: «Станешь ворожить, коли нечего на зуб положить».

Когда дамы убедились, что все готово, они приотворили дверь в зал и стали слушать концерт.

Лиза усмехнулась впереди всех, около самой щежки, и ей хорошо видна была эстрада.

Егор Павлович Цветухин, во фраке, читал «Быть или не быть», и зал следил за ним с почтительной сосредоточенностью, как будто все чиновники, офицеры, купчихи в декольте и светские барышни собрались сюда, чтобы немедленно и окончательно принять то решение вечного вопроса жизни и смерти, которое предложит актер. Цветухин читал просто, но простота его была отлично сделанной и потому — театральной, — он каждым словом, каждым жестом хотел сказать: смотрите, как прелестна, как обаятельна моя простота. Ему очень признательно аплодировали, — слава его была неоспорима, никто на нее не покушался.

Но когда после него вынесли маленький столик и кресло и появился перед публикой Александр Пастухов — водворилось то недоуменное, живое любопытство, с каким встречают неведомого, но совершенно уверенного в себе исполнителя. Видите ли, — словно говорил Пастухов, слегка небрежно и удобно усаживаясь в кресло, — удивлять вас я ничем не собираюсь, но уж раз вы меня захотели пригласить, есть у меня один недурной отрывочек из комедии, так себе — пустячок, и я вам его прочитаю, как прочитал бы вечером на даче, за рюмочкой, — вот, послушайте-ка. И он без старания, точно для самого себя, начал читать по маленьким листочкам, ни секунды не думая, что ему кто-нибудь помешает, или его голос плохо слышен, или кому-нибудь не понравится его манера себя держать, а с полным, естественным убеждением, что он делает как раз то, чего от него все с нетерпением ожидают. И его слушали, сначала чуть-чуть улыбаясь, потом — подавляя смех, наконец — не в силах удержаться и смеясь на весь зал и только вдруг пугаясь, что за хохотом ускользнет от слуха что-нибудь еще более смешное и любопытное. И когда Пастухов кончил и стал выходить на вызовы, он тоже смеялся — весело и немного свысока, внушая всем своим великомерно-снискодительным видом, что ведь — господи! — он же ни капельки не сомневался, что все это ужасно как смешно и неотразимо, хотя, конечно — сущая глупость, и по-настоящему он себя и не собирався показывать! Так что посмеяться — посмеемся, пожалуй, господа, — однако вы сами понимаете, что это вовсе не стоит такого шума!

Его триумфом закончилась литературная часть, публика стала выходить из зала, и браваурным призывом «Тореодора»,

долетевшим с хоров, была открыта лотерея. С билетов сняли печати, колеса завертелись, голубые жерувыми опустили в них пухленькие ручки, доставая скатанные бумажки, дамы начали разыскивать на полках выигрыши, с обворожительными улыбками вручая их публике.

Молодежь расступалась, давая дорогу Цветухину и Пастухову. С ними был Мефодий в старомодном фраке из костюмерной театра, мешковато-уютный, польщенный тем, что небольшая толкача взоров, притянутых его знаменитыми приятелями, перепала на него. Впроем они подошли к колесу, за которым стояла Лиза. Пошучивая, как вся публика, насчет холмогорской коровы, которую предпочтительнее было бы разыграть в виде сливочного мороженого или выдержанного рокфора, они стали покупать билеты. Мефодий выиграл пачку зубочисток и сказал, что теперь дело стало за бифштексом, то есть опять за той же коровой. Цветухину досталось пять пустышек. Он вздохнул:

— Давно вижу, что потеряла ваше расположение. Так вы мне и не ответили: понравился я вам в «Гамлете»? Бог вам судья! Но сегодня-то, по крайней мере, я был лучше этого несносного кумира толпы — Пастухова, а?

— Вы не сердитесь, — улыбалась Лиза, — хотя это совсем несравнимые вещи, но Александр Владимирович побил вашего Шекспира!

— Посторонись, — сказал Пастухов, пренебрежительно заслоняя собой Егора Павловича, — твоя звезда закатилась. Сегодня на коне — я! Будьте любезны (показал он Лизе все свои прочные зубы), вашей собственной ручкой — десять штук!

Необычайно серьезно все четверо раскатывали билетки, вынутые Лизой, пока не попался выигрыш.

— Боже, что это может быть? Я не перепису! — скороговоркой выпалил Пастухов и взялся за сердце.

Лиза долго ходила от вещи к вещи, отыскивая по ярлычкам выигранный номер, а приятели следили за ней, гадая и подсказывая в нетерпении: — кастрюля! — зонтик! — швейная машинка! И вдруг все сразу ахнули: — прайн!

Лиза несла вместительный хрустальный графин чудесных граней и просвечивающего пышного рисунка по гранатно-багровым блестящим плоскостям. Пастухов принял его священнодейственно, осмотрел любующимся взлядом, потом проникновенно заключил:

— Обидная, оскорбительная ошибка фортуны: эта вещь должна принадлежать, по великим заслугам его перед Бахусом, нашему несравненному другу!

Он преподнес графин Мефодию и поклонился.

— Стой! — остановил его Мефодий распрогавшись, но в неподдельной древоге. — Не испытывай судьбу! Видишь?

Он вынул из графина пробку и поднял ее перед очами Пастухова:

— Понимаешь ли ты, безумец, что это означает?

Пастухов уставился на пробку, захлопнул ладонью рот и покачал в испуге головой.

— Ты меня напугал! Понимаю. Понимаю.

Он взял пробку, многозначительно спрятав ее в френчый карман и, отдавая графин Мефодию, приказал:

— А это таскай ты!

— Символика! — сказал Цветухин.

— Таинственная магия! — грозно проговорил Пастухов и сделал несколько павсов гипнотизера на Цветухина и Лизу.

Они смеялись, а публика накапливалась около лотереи, отгесняя друзей в сторону, и Лизе пришлось отойти от колеса, чтобы расслышать, что ей говорил Цветухин:

— Я пролетел в трубу! Вы должны возместить мой проигрыш первым же вальсом.

Она стала уверять, что уже обещала, явно боясь, что ей нельзя поверить. Он глядел на нее с любованием, — ее возбуждение нравилось ему, ее юность еще жила в ней непронутой, едва украшенной первым женским расцветом.

— Ну хорошо, верю, верю. Ну тогда — не вальс, а хоть какую-нибудь завалиющую плясочку — обещаете?

— Заваливаю — да.

Шутливому их разговору помешал Мефодий: он незаметно потянул Цветухина за фалду и пробормотал вспопощенно:

— Идем скорей, нас представляют прокурору палаты!

Ознобишин, гордясь своим знакомством, уже подвел Пастухова к супруге прокурора, и она изливала восторг, уверяя, что никогда не слышала таких чтецов и не подозревала, что в городе живет человек, пишущий такие забавные, такие милые комедии. Пастухов слушал, чуть наклонив голову, довольный похвалой, со своей улыбкой торжествующего и убежденного совершенства.

— Вы просто всех покорили, и я вас благодарю от имени нашего общества! Спасибо, спасибо!

— Н-да, н-да, благодарю вас, — говорил прокурор, пожимая Пастухову руку, — вы, как бы сказать, альфой созвездия осветили наше скачущее собрание. И как же вам не прех, живя здесь, скрывать от нас свое вдохновение, свой дар?

— Видите ли, ваше превосходительство, — сказал Пастухов с обаятельной непринужденностью давнишнего знакомого, — я никогда не думал, что могу вас заинтересовать в этом своем качестве.

— Но позвольте, позвольте! Неужели вы полагаете, что мы уж так никогда не берем книги в руки, не заглядываем в театр, не интересуемся... как бы сказать, явлениями...

— Нет, нет, — поторопился Пастухов, — я только полагаю, что ваш интерес к некоторым мнимым, подозреваемым моим качествам мешал вам увидеть во мне что-нибудь другое.

— Подозреваемым? Но мы всегда подозревали в вас именно талант!

— Однако высокое учреждение, которое вы возглавляете, не допускало меня убедить вас в этом, да?

— Вас ко мне не допускали? Ах, да, да, да! — обрадованно спохватился и будто сразу все припомнил прокурор. — Вы говорите об этой истории?! Ну, вы заставляете меня открыть все наши карты! Извольте! Мы вас нарочно никому не выпускали, прежде чем вы не порадуете нас своим блистательным публичным выступлением!

Пастухов скользя ладонью по лицу, смывая выражение обаятельного лукавства, и, захохотав, предстал перерожденной, веселой душой общества, почти рубахой-парнем.

— Подумайте, подумайте! — восклицала прокурорша, перебивая разговор мужа с Пастуховым. — Вашему другу достался графин без пробки!

Мефодий с Цветухиним нерешительно ждали, как повернет дело Пастухов, когда довольно-улыбающийся, уверенный в каждом движении Александр Владимирович вытащил из фрака пробку и потряс ею перед лицом превосходительной четы.

— Я спрятав пробку, — на актеров нельзя положиться, они мечтатели и страшные растери. А пробка мне нужна, проверить один в высшей степени научный опыт.

— Как, вы занимаетесь и наукой? — сказала прокурорша.

— Вы любите горох, ваше превосходительство? — спросил Пастухов.

— Горох? — удивился ужасно шокированный прокурор, впрочем — с вежливой миной и любопытством.

— Французы едят гороховый суп с похмеля. Как целебное средство. Не слышали? Очень советую. И вот, когда будете варить, для ускорения положите в горох хрустальную пробку. Это мне сказал большой гурман, и я теперь сам проверю.

— Боже мой, как интересно! — смеясь со всеми, говорила прокурорша, пораженная необычайной шуткой: при ней никто никогда не говорил, что прокурор может быть с похмеля.

Продолжая крутить пробку в пальцах, Пастухов немного пододвинулся к прокурору и сказал почти доверительно:

— Значит теперь, ваше превосходительство, когда осуществлен коварный план и меня додержали до нынешнего вечера, я

могу надеяться, что во мне больше нет нужды у вас в городе?

— Как — нет нужды! Да мы вас только что узнали! — в приступе шеудержимого радушия запротестовал прокурор и едва не обнял Пастухова. — Как раз сейчас появилась настоящая потребность вас удерживать! Мы вас ни за что не отпустим, пока вы не пожалеете — почитать у нас в узком кругу!

— Абсолютно в узком, интимном кругу, — поддакивала прокурорша, — и вы сейчас же, сейчас нам общаете!

Казалось, все было отлично — все любезнейше улыбались, и расшаркивались, и кланялись, но Пастухов не выпускал из рук пробку и решил двигаться к цели, презрев приличия.

— Все же, ваше превосходительство, если говорить не о журавле в небе, а о том воробье, который зажат в кулак...

— Но какой же такой воробей? — поднимал брови прокурор.

— Ах, что — воробей! — говорил Пастухов. — Я чувствую себя тараканом в спичечной коробке!

— Воробей! Таракан! После такого фурора! Однако вы избалованы! И позвольте... если вы опять насчет...

— Да, ваше превосходительство, я опять насчет, — продолжал Пастухов.

— Ах, опять насчет вашей неприятности? Но, господи боже, завтра я дам распоряжение и... пожалуйста, пожалуйста! поднимайтесь в поднебесье журавлем или там ясным соколом и летите куда вам угодно!.. Голубчик Ознобишин, прошу вас, скажите завтра, чтобы мне дали это дело... ну, это недоразумение с господином Пастуховым.

— И с Цветухиным, — вставил Пастухов.

— И с господином Цветухиным. Пожалуйста. И потом — минуточка — что это вы там за лысина, вон у лотереи, это — не подполковник? Попробуйте его, голубчик, чтобы подошел...

— Вот — вздохнул с великим освобождением Пастухов, — вот теперь готов я не только читать на эстраде, но — если угодно — нарядиться испанкой и танцевать с кастаньетами!

— А мы вас и заставим, и заставим! — посмеивался прокурор, откланиваясь и следуя за своей дамой.

Пастухов стоял будто задымленный победой в славной кампании, — ноздри его шевелились, губы были жестко приоткрыты, словно он держал во рту невидимую добычу. Оба друга созерцали его с благоговеньем.

— Прав я? — жадно спросил Мефодий.

— Ты — пророк! — великодушно пожаловал Пастухов и торжественно воткнул пробку в горлышко графина. — Суп сварен. Она мне больше не нужна.

Он взял друзей под руки.

— Левое плечо вперед. В буфет марш!..

Маршировать было, конечно, неммыслимо, — надо было пробираться, протискиваться сквозь гудящие рои публики. В буфет тянулись все, кто выиграл в лотерею, чтобы «спрыснуть» выигрыш, и кто проиграл — выпить с горя, и кто совсем не играл, а предпочитал тратить деньги, не омрачая удовольствия превратностями судьбы.

Виктор Семенович Шубников принадлежал к людям, действовавшим наверняка. Окруженный закадычными товарищами, он провел за столиком все время, пока в зале читали артисты, и не собирався менять место. Ему только хотелось взглянуть на Лизу, — какова она в новой роли, рядом с дамами общества. И, выбравшись из буфета, он постоял в отдалении от лотереи, укрываясь между людьми и наблюдая за женой. Да, он мог сказать себе, что решительно счастлив: платье Лизы было богаче всех, украшения на ней — несравненны по блеску, прическа ее — много выше других, может быть — самая высокая на балу. Около ее колеса толпилось больше всего публики, она улыбалась очаровательнее всех, она двигалась легче и плавнее других дам, от прикосновения ее рук вещи будто дорожали, — нет, она не даром носила фамилию Шубникова!

— Я вижу, ты скоро расторгнешься?

— Сидение в магазине пошло впрок, — весело ответила она. — Ты выпил?

— В кругу друзей, в кругу друзей! Мы ждем тебя.

— Не могу. Видишь, что творится, — сказала она и так же весело, мимоходом прибавила: — ты ничего не имеешь против? — меня пригласил Цветухин танцевать.

Ему даже понравилась эта неожиданность, — покраснелые растворило все его чувства, успех жены казался ему собственным успехом.

— Если ты меня будешь спрашивать, я всегда тебе разрешу!

Она не отозвалась, а только еще живее захлопотала, сличая выигравшие билеты с ярлычками вещей: хлопот было, и правда, чрезвычайного много.

Витенька возвратился в буфет с ощущением зачарованного поклонника. По пути он гадал у цыганки. Попугай вытянул ему из ящичка полезное правило жизни, гармонировавшее с его убеждением: «добивайся настойчиво и вскоре достигнешь своего. Помни, что тебе завидуют».

Он увидел Цветухина с Пастуховым, которые искали свободное место. Проходя, он раскланялся с Егором Павловичем и предложил разделить компанию за своим столом.

— Вы, поди, тогда у Очкина подумали, что я немолдим. Но, знаете, было неважное настроение! А нынче симпатичный вечер,

не правда ли? Моя жена говорит, вы с ней танцуете?

— Вальс она обещала, наверно, вам? — спросил Цветухин.

— Я переуступаю! — от всей щедроты сердца объявил Витюша.

Он хотел поздороваться с Пастуховым и был изумлен, что тот его просто не приметил, как будто Виктор Семенович своей персоной входил в состав электрического освещения, не больше. Это было настолько разительно, что Егор Павлович опешил не меньше Витюши и попытался замять обидную неловкость, и даже дернул друга за рукав, но из всех стараний ничего не получилось, — Витюша отошел ни с чем.

Александр Владимирович с необычайной даже для него пристальностью глядел в угол, где поблескивал затылок и вспыхивали очки Полотенцева. Подполковник разговаривал с прокурором. Пастухов следил за тончайшими изменениями лица его превосходительства, за оттенками и вариациями его жестов, словно читая издалека все помыслы прокурора, и вряд ли он узнал бы больше из этой недолгой значительной беседы, если бы слушал ее, стоя рядом.

— Господь с вами, — говорил прокурор с поощрительной усмешечкой, — вы до смерти истомили наших служителей муз! Смотрите, какие дарования, а? Гордость и слава, а?

— Конечно, ваше превосходительство, — соглашался подполковник, — но мне продолжает казаться, они служат не только музам, но отчасти некоторому ложному направлению.

— Казаться! — переговаривал прокурор. — Этого маловато, согласитесь. Дело-то ведь, как мне докладывали, никакого? Нет, нет, давайте-ка отпустим их души на покаяние!

— В том и беда, ваше превосходительство, что они не склонны принести покаяние.

— Ну а если, однако, не в чем, а?

— У каждого есть что-нибудь такое, в чем не мешаю покаяться.

— Что-нибудь такое! — снова переговаривал прокурор и уже с нетерпением.

— И потом ведь это им на пользу, ваше превосходительство.

— Полагаю, не во вред. И может быть по справедливости вы правы. Но по закону — нет. Покорно прошу подобрать материал, и я прекращу производство.

— Все дело, ваше превосходительство, приходит к концу: нынче умерла Рагозина.

— От болезни? — утверждающе и остро спросил прокурор.

— От родов.

— И что же?

— Не отрицала, что муж был главарем.

— И может быть еще чего-нибудь не отрицала? — полюбопытствовал прокурор,

продолжая настороженно исследовать очки подполковника.

— Не отрицала, чего, по очевидности дела, не следовало отрицать, — несколько загадочно ответил Полотенцев и потер свою математическую шишку.

— Ну-с, меня ждут партнеры, — закончил прокурор. — Извините, помешал развлекаться. Но все из-за артистов. Какие таланты, а? Вытянули что-нибудь в лотерее, нет? Не везет? Что вы! Вам всегда везет! Корову желаю вам, корову!

Он удалился в карточный зал, а Полотенцев пошел к выходу, совсем близко миновав Пастухова и не поклонившись: впервые, было не в его обычае считать знакомыми тех, кого он узнавал по служебной обязанности, во-вторых, на поклон жандарма могли и не ответить.

Пастухов пропустил подполковника, с напряженным увлечением раскуривая папиросу, и потом массивные его плечи, живот и грудь стали чаще и чаще подергиваться от беззвучного смеха. Он обнял Цветухина, озаренный довольством и беззаботностью, и повел его к столу, за которым уже поместился Мефодий. Они приказали чуть-чуть подогреть бордо и наполнить им выигранный графин. Они болтали, на разные лады возвращаясь к тому, что их одинаково занимало в эту минуту: после встречи прокурора с подполковником, которую Пастухов уверенно истолковал в свою пользу, недавние терзания оборачивались курioзным анекдотом, и оставалось только выпить.

Танцы уже начались, пение меди доносилось промккими вздохами, Цветухин все порывался уйти, но графин был емкий, вино тяжелило, приятели выдумывали тост за тостом, пока, наконец, Александр Владимирович не провозгласил, как отпущение грехов:

— Здоровье той, что подарила нас талисманом. За бедную Лизу (он сощурился на Цветухина), за Бедную Лизу и за Эраста!

Егор Павлович выпил стоя, послушно приняв новое крещение, и, уходя, соорудил мину рокового соблазителя.

Он был на той приступочке, на которой вьющийся к небу хмель делает свой первый завиток и откуда все в мире начинает казаться эфирно-легким и доступным. Ему хотелось быть стройнее, чем он был, шагать изящнее своей походки, глядеть горячее, улыбаться ярче, говорить краше. Ему доставляло усладу, что идти было тесно, что он мягко задевал чужие локти, изысканно извинялся и благосклонно извинялся.

Лиза представилась ему покорительной и сразу подняла его ступенькой выше, где хмель изгибался вторым завитком — еще не дерзким, но уже очень смелым. Егор Павлович словно не в первый раз держал Лизу об-руку, прокладывая ей путь среди разодетой толпы. вводил ее в блистающий

зал, ставил в черно-белый строй пар, подчинял и подчинялся вместе с нею повелевающей музыкальной забаве.

Завалающая плясочка, им, конечно, вспомнятая, оказалась па-де-катром. Они отворачивались друг от друга, обращались друг к другу лицом, кружились и опять отворачивались, и эта смена движений на секунду точно разлучала их, чтобы потом на секунду соединить, и они то глядели друг другу в глаза и что-то начинали говорить, то обрывали речь и придумывали — что сказать, когда начнут кружиться, и все это повторялось, повторялось, повторялось и становилось лучше и лучше, хотя ритм ничуть не менялся, а только учащалось дыхание и хотелось двигаться дальше и дальше. И хотя они были оценены сзади и спереди поездом таких же, как они, пар, у них было чувство, что они — единственная пара и музыка обрушивается с хоров свои промы на них одних.

Слова, которыми они обменивались, казались сознания Лизы с такой мимолетной легкостью, будто пролетала, садилась на верхушку тростинки и вновь летела прочь прозрачная стрекоза. В памяти осталось одно движение, след рассеянного воздуха, вспышка света, ничто.

Но вдруг речь Цветухина начала мешать пустому полету мыслей, задерживать его, отягощать. Оркестр распался на отдельные инструменты, люстры — на лампочки, танец потребовал внимания.

— Что? Что вы сказали? — спросила Лиза на последнем повороте. Они отвернулись друг от друга, потом сделала два шага, глядя в глаза, потом она положила ему на плечо руку, и он повторил ясно:

— Вы уже убегали от мужа?

К счастью, без остановки шли повороты — третий, четвертый — и уже нужно было опять становиться спиной к Цветухину и можно было подумать.

— Кто вам сказал?

— Мне просто кажется — непременно убежите.

Какой трудный, однако, этот танец, как неуловимо связаны его глухие части, как быстро устаешь!

— Вам хочется, чтобы я убежала?

— Мне хочется, чтобы вы были счастливы.

Кто-то толкнул Лизу, она замешкала, звенья поезда позади нее сжались, ей наступили на платье, она взяла Цветухина под руку:

— Я устала.

Он вывел ее из зала, она пошла к лотерее, он придержал ее. Разгоряченный, с влажным поблескивающим лицом, он коротко дышал, часто прикладывая сложенный платок к подбородку, вискам и ще.

— Мне надо работать, — улыбнулась она, показывая на вертящееся колесо.

Он спросил настойчиво:

— Счастливы ли вы?

— Да. Конечно, — ответила она строго и потом, взглянув на него с прямою чело- века, готового отстаивать себя дорогой цен- ной, сказала еще раз. — Да, конечно, сча- стлива. И вы не должны меня об этом спрашивать!

Она поклонилась и уже не видела, как он на минуту остолебенел, держа платок в остановившейся руке.

Она провела добрый час за чтением би- летиков и ярлыков, путая номера, ошибаясь в выдаче вещей, пока одна из дам не сказала ей шуливо и сострадательно, что она утомилась и пора отдохнуть.

Она пошла в буфет. Вокруг двух сдви- нутых вместе столов шумели, объединив- шись, компании Витюши и Цветухина. Хохотали над рассказами Пастухова. Он сидел как будто разросшись в своем крес- ле, и по глазам его, чуть склеенным от хмелька, было видно, что он приятно по- тешался незыскательностью смешливого общества. Все поднимались, предлагая место Лизе.

— Какие люди, какие люди! — пригова- ривал Витюша. — Ей-богу, ты не поме- шаешь: все очень прилично.

— Совершенно стерильно! — уверял сильнее всех подвыпивший Мефодий.

Но Лиза не хотела оставаться: ей было не по себе, кружилась голова, и Витюша внезапно проникся полным сочувствием и усердно закивал, давая понять, что ухва- тил какую-то важную мысль.

Он вытянул из кармана сверток займо- вых купонов и объявил, что платит за всех. Но со счетом у него получалось пло- хо. Приятели взялись помогать и тоже сбились. Пастухов отобрал у всех купоны, скомкав ворохом, и передал Лизе.

— Единственная трезвая душа — протя- ните нам, пьяненьким, руку помощи!

Она попробовала серьезно считать, но сразу запуталась, — одни купоны были в рублях с копейками, другие в неполных рублях без каких-то копеек, а главное — Цветухин смотрел на нее своими черными горящими глазами, не отрываясь. Она ка- призно призналась, что ей скучно разби- раться во всех этих процентах. Тогда Цветухин сказал:

— Помните слово: не выйдет из вас купчихи, коли не любите считать деньги.

— Эх! — воскликнул Витюша, забребая купоны назад, в карман. — Зачем богатой считать? За богатую другой кто-нибудь сосчитает. Человек! Скажи буфетчику, чтобы прислал счет ко мне домой. Я — Шубников!

Он подал руку Лизе.

— Нынче меня уведит жена. Я согласен. Согласен.

Он шел не очень твердо и все время на- шептывал:

— Я тебя сразу понял. — маленький!

Шубников хочет бай-бай. Да? Угадал? Спатеньки хочет наш маленький, да?

На морозце он еще больше размяк, летит его стал неразборчив, и дома, с грехом пополам раздевшись, он тотчас захрапел.

37.

Лиза долго не могла уснуть. Странно повторялись перед ней залы Собрания. Возникнув, они застывали, и она могла подробно разглядывать, в переливе света, каждое лицо из толпы, платья женщины, букеты цветов и те вещи, которые она раздавала в лотерею и которые потом, как нелепую обузу, весь вечер носила в руках счастливицы. Но всякий раз, когда перед ее взором останавливалось смуглое, влажное лицо Цветухина, она старалась забыть его и перескочить на другое воспоминание, и задержаться на нем, чтобы как можно дольше не приходило на память смуглое лицо. В этой борьбе начиналась изнуряющая путаница, и Лизе казалось, что она никогда не заснет, а всю ночь будет мучиться бессонницей и пробиваться куда-то сквозь напромождения мешающих забыться картин и вещей. Она бежала от них, но ее бег был очень слаб, ей хотелось вскочить на лошадей, и она даже видела лошадей, на которых можно было бы убежать. Лошади были разные, и среди них мелко переваливался с бока набок ипрений иноходец Виктора Семеновича. Лиза думала вскочить на него, но тут вырвался откуда-то вороной рысак, накрытый большой синей селкой, и Лиза успела ухватиться за сетку и очутилась в пролетке. Рысак мчал по пустым ночным улицам, сквозя тьму, и на весь город раздавался звон его подков. Дул ветер, и Лиза дрожала от холода — на ней была одна сорочка в кружевах и на голове — ночной чепчик, тоже весь в кружевах и с бантом. В совершенной темноте пролетка вдруг остановилась перед опромным черным подъездом, и Лизу кто-то с обоях боков взял под локти и помог сойти. Она открыла тяжелую дверь подъезда, — это был театр. Она двигалась между пустых рядов партера, к сцене. В бесконечной высоте на люстре горела одна пыльная желтая лампочка, чуть-чуть озаряя немой зал. Она ступала боком неслышно, страшно медленно, в своей кружевной сорочке и чепчике, как — перед самой смертью — Пиковая дама, которую она видела в опере. Она перешла глубокую яму оркестра по узкой дощечке и перешагнула через рампу. Занавес был поднят. Вдруг под ногами вспыхнуло множество огня и ослепило ее. Она стала измерять сцену шагами. Пол был шершавый, занозистый, снизу через щели дул холод. В длину она насчитала двадцать семь шагов, в глубину — семнадцать. Может быть, в глубину было

больше, но ей что-то темное мешало идти глубже, и она не знала — что там, за темным. Она повернулась. Холод все дул, длинный подол сорочки бил ее по ногам. Она стала считать лампочки, но они разгорались ярче, у нее закололо в глазах, она зажала лицо ладонями, и тут чей-то пронзительный голос закричал отчаянно сзади, из темного, и Лиза очнулась.

Она дрожала в испуге, но у ней было странно ясное ощущение, что она узнала во сне что-то необычайно новое и сама будто обновилась. Витенька храпел безмятежно. Лиза провела рукой по своему телу — пот проступил у ней на ключицах. Она скинула сорочку, бросила ее в кресло, надела халатик и подошла к окну.

На улице, уже по-утреннему людной, лежал тонкий сухой снежок. Черные следы колес расходились по мостовой, как рельсы. Запорошенные крыши были незапятнанно-белы, и дома как будто приподнялись. Небо было сплошь серо. Дымки из труб расшивали по нему синие шары, которые росли, голубели и сливались с небом. Саней еще не было.

Лиза прочла про себя: «проснувшись рано, в окно увидела Татьяна...» — и вышла в столовую.

Почти в ту же минуту отворилась другая дверь. Горничная-старуха, шевеля бровями, таинственно манила к себе пальцем Лизу, в то же время подходя к ней на цыпочках.

— Девочка пришла. Девочка вас спрашивает.

— На кухне?

— Да. Вы велели, говорит, притти. Вы, говорит, дожидаете.

Лиза быстро оглянулась на спальню и с неожиданной для себя доверчивостью шепнула старухе, чтобы та посмотрела.

Выбежав в кухню, она увидела Аночку, притулившуюся у дверного косяка, в той же материнской еще не перешитой жакетке, в какой она была прошлый раз, и в шерстяном поношенном платке.

— Здравствуй, — тихо сказала Лиза, — ну, что ты?

— Я была вчера у Веры Никандровны.

— Ну что же, что?

— Она обрадовалась.

— Тебе обрадовалась?

— Обрадовалась, что вы велели сходить.

— Ну?

— Она вот еще меньше живет, как вот отсюда до печки.

— Что же она, о чем-нибудь говорила?

— Мы целые после-обеда все говорили. Она теперь девочек учит, а не мальчиков.

— А о чем я тебя просила, — говорили?

— Ага, говорили. Она все спрашивала, спрашивала, а я все как есть рассказывала, про то, как мама с папой в лавку к вам ходили, и как потом вы...

— Нет, нет. А про Кирилла?

— И про него тоже.

— Ну что, что?

— Она письмо дала.

— Мне письмо? — еще тише, но с неудержимым порывом спросила Лиза. Она уже стояла вплотную к Аночке и не упускала глазом ни одного ее движения. Аночка растегнула жакетку и, взявшись за полу, поглядела на Лизу с ясной и хитрой улыбкой:

— Вера Никандровна увидела — у меня подкладка отпорота, спрятала туда письмо и потом сама застобала.

Она подковыгнула подкладку, всунула под нее пальчик, дернула, с треском разорвала шов и вытаскала маленький конверт с лиловым казтиком по краям. На нем было написано одно слово — Л и з а, — но это слово разом объяснило все: письмо было от Кирилла.

— Ты подожди... или нет, ступай, ступай! — задыхаясь, проговорила Лиза и толкнула ногой дверь. — Ты потом приходи, после!

— Когда-нибудь или когда? — огорчившись, но без обиды спросила Аночка.

— Когда хочешь, или все равно, погоди, — ничего не соображая, сказала Лиза, подвигаясь к окну и ногтями кое-как обшипывая край конверта.

Листок бумаги был исписан кругом не очень мелко, — читать было нетрудно. Лиза казалась, она не ухватывает всех слов, а только читает начало и конец фраз, но она не пропустила ни одной буквы и понимала гораздо больше, чем было выражено буквами, и жадно спешила угадать мысль, которая скрывалась за бумагой и должна была быть самой главной...

Кирилл писал, что вот, наконец, он может послать письмо матери и ей и что он так давно ждал этого и столько раз в голове написал ей это письмо, что теперь ему мешают припоминания — о чем он хотел написать, и, может быть, он не напишет, о чем больше всего надо. С тех пор как он видел ее последний раз, так неожиданно много переменилось в нем самом, что он не совсем разбирает, от чьего имени пишет — от того ли Кирилла, каким она его знала, или от нового, каким он себя сейчас чувствует.

Тут Лиза перехватила дыхание и заставила себя читать медленнее.

«Я теперь совсем в другой жизни, непохожей на прежнюю ни капельки. Училища моего и не существовало будто наяву, а только во сне. Я — в деревне, каких на Волге не найдешь, всего в одиннадцать дворов. До ближнего села семь часов ходьбы лесом. Народу мало, меньше, чем у нас в классе, но он необыкновенный. Начал теперь видеть, как живут, и знаешь, Лиза, я был раньше ребенком. Ты меня может быть сейчас не узнала бы.

Живу у старухи с внучатами, которая по вечерам поет «Уж я золото хороню, хороню». Я спросил ее, оказалось, она в жиз-

ни не видала золота. Здесь даже серебряные обручальные кольца в редкость, у всех медные. Здесь уже снег, как выпал, так сразу лег. Началась великая русская зима. У вас, наверно, еще не холодно? Сказки моя старуха рассказывает такие, каких у нас не слышали. Без сказок наверно нельзя бы прожить.

Я пишу то, что совсем неважно, но я думаю, так ты лучше представишь, где я буду теперь очень долго. Нам с тобой все это бесконечное время надо будет не видаться, и хотя мне очень тяжело, я решил и знаю, что могу перенести. Но вот о чем я еще решил тебе сразу написать. Дорогая Лиза! Все это так будет тянуться, что тебе может стать невыносимо. Тогда ты знай, что я пойму, если ты не захочешь ждать, когда кончится мой срок, то есть три года. Это я тебе говорю честно, потому что достаточно обдумал. Я не буду считать это обидой, даю слово. Для меня дорожке твоя свобода и независимость.

И еще прошу тебя, напиши мне и пожалуйста не сердись на меня, если я ошибаюсь. Верно я заметил твою склонность к Цветухину? Если да, то я не могу ничего иметь против, а если нет, то я буду только больше счастлив, чем прежде, и буду надеяться, что мы все-таки будем вместе. Это я все очень передумал.

Это пока все о тебе. Ты сама должна написать мне о себе больше. Я хочу все знать. Я о себе написал очень много маме и просил, если ты захочешь, чтобы она тебе прочитала.

Да, вот еще, между прочим. Когда меня везли сюда, на одной станции мне купили, вместо табаку, потому что я не курю, сушеных яблок. Они были в клочке газеты. Так я узнал, что умер Толстой. Напиши, как ты перенесла эту смерть и как вообще перенесла. Я много думал и пришел к выводу, что он находится все-таки в числе моих Великих людей. Помню наш разговор и вообще помню всю, всю тебя! Маме я послал список, какие мне нужны книги. Пиши. Кирилл».

Лиза опустила руку с письмом. Лицо ее было все залито краской, потемневшие мокрые глаза горели, она смотрела, не мигая.

— Мне что же — итти? — боязливо спросила Аночка.

Лиза молчала. Вся жизнь сосредоточилась для нее на такой глубине души, которой она прежде у себя не подозревала, и ей казалось, что теперь ей ничего не надо, кроме этой бурной, потрясавшей ее жизни души.

Но когда в кухню заглянула перетревоженная старуха, Лиза в спрaxe спрятала письмо на пруду и шопотом спросила:

— Что, проснулся?

— Не знаю, матушка, стихли что-то Виктор Семеныч, — тоже шопотом ответила из-за двери старуха.

Тогда Лиза словно впервые заметила Аночку и замахала на нее обеими руками:

— Ты что же стоишь? Ступай, придешь другой раз!

— А Вере Никандровне сказать чего или вы сами? — спросила Аночка, вобрав голову в плечи и съезжаясь, изо всей силы показывая, что отлично понимает, в какую она посвящена тайну.

— Я сама! Я все сама! — опять взмахнула руками Лиза и побежала в комнаты.

Она подкралась к спальне и прислушалась. Витенька храпел, но потише. Лиза приоткрыла одну створку двери. В спальне было полутемно. Муж лежал, раскинувшись, лицом вверх. На кресле, в стороне, белела брошенная кружевная сорочка: точно мертвая Пиковая дама — вспомнила Лиза свой сон и, вспомнив, уже не могла не повторить памятью все впечатления, с какими ночью засыпала, и опять увидела смуглое лицо Цветухина, его смоляной взгляд, и захотела перечитать то место письма, где Кирилл о нем пишет.

Она тихонько села у окна и незаметно, урывками, вновь пересмотрела все письмо, стараясь разобраться в нем все еще не успокоившимся умом. Она силилась как можно стройнее ответить себе — виновата ли она и должна ли она себя осудить, но долго не могла сложить какой-нибудь ответ и толком не понимала — о чем она себя спрашивает. Она смотрела за окно на снег, и перепутанные фразы беспорядочно возвращались к ней, выражая лучше всех ее вопросов ту самую жизнь души, которая поглотила ее после первого чтения письма: началась великая русская зима — «проснувшись рано, в окно увидела Татьяна» — мы все-таки будем вместе — он все-таки находится в числе Великих людей — все-таки из вас никогда не выйдет купчихи — все-таки, все-таки Пиковая дама!

— Боже мой, чем же я виновата! — прошептала Лиза и беспомощно, по-детски, легла щекой на подоконник.

Понемногу она стала овладевать своими мыслями и с мучительной горечью понимать, что подчиняясь своему долгу сначала перед отцом, потом перед мужем, боясь нарушить этот внушенный ей с детства, непроступаемый общеизвестный долг, она пошла против того долга перед самой собою, который никому не был известен, но был несравнимо больше и важнее всего. И хотя теперь Кирилл освобождал ее от этого долга — великодушно и как только мог мужественно — она чувствовала себя нарушительницей любви, потому что любовь ее не переставала в ней жить сейчас, как прежде.

Ей жгуче хотелось смягчить этот приговор над собою, и она знала, что он смягчается или, может быть, даже рушится пе-

ред лицом нового, небывалого в ее жизни и высочайшего долга — перед тем, что она ожидала ребенка, — но ей не становилось легче, а только всеми ощущениями, словно обнаженными мукой, она чувствовала, что уже никакой силой ничего переменить нельзя.

У ней лились слезы, неиссякаемые и страстные, она не вытирала их и продолжала беззащитно лежать лицом на мокром подоконнике, не двигаясь, прижимая к груди смятое письмо.

38.

С первыми санями Александр Владимирович Пастухов покидал родной город. Вещи были отправлены в Петербург раньше, и он ехал налегке — с одним чемоданом и портфелем.

Извозчик вез лихо, слышно было уханье лошадиной селезенки да стук еще не крепких снежных комьев по передку. Пастухов раскраснелся, ветер, точно просеянным песком, поцарапывал его полные щеки. В высокой бобровой шапке, но с растегнутым воротником, он смотрел вокруг с облегчением — приобретенное чувство свободы воодушевляло его живостью и новизной. Всю длинную улицу, которая натянутой белой лентой веда к вокзалу, он успевал оглядывать обе стороны домов, почти сплошь знакомых ему, и прощался с ними последней немногим залубневшей от ветра счастливой улыбкой. Бог с ним, с отчим-домом, — думал он, — прощай навсегда или может быть — до лучших времен. Но неволью он находил в прошлом что-то неуловимо-приятное и, радуясь отъезду, чуть-чуть жалея, что пережитое уже не возвратится.

Проезжая тюрьму, он отвернулся и глядел на другую сторону все время, пока мимо проползал бесконечный острожный забор. Он сам иногда дивился этому свойству своей природы — оберегать себя от неприятного: глаза его не любили смотреть на то, что омрачал.

Университет наполовину был в строительных лесах, покрытых длинными полотнами снега. У казарм солдаты без мундиров, в одних рубашках и бескозырьках, звонко чистили скребками тротуары. Перед вокзалом извозчики беззвучно отъезжали от подъезда и выстраивали поодаль в ряд своих лошадей, масти которых на чистом снегу стали резче различаться друг от друга.

Пастухов не взял носильщика и медленно прошел с багажом в зал первого класса. Здесь было не очень много народа, — офицеры пили крепкий чай за длинным столом с пальмами, купец, обжигаясь, ел щи, дамы в ротондах взволнованно разговаривали с носильщиками, большая семья расселась в кружок перед раскрытой кор-

зинкой, и нянька, ломая на куски тульский пряник, надеяла им детей. Все было в зимнем, и теплота, пропитанная запахом обеда и папирос, еще больше давала ощущать наступившую зиму.

Цветухин и Мефодий шли навстречу Пастухову, покачивая головами, как будто говоря без слов, что вот ты и покидаешь нас, изменщик, а мы должны оставаться и завидовать твоему счастью. Они взяли у него из рук чемодан и портплед и все трое уселись за небольшим столом недалеко от огромной, разукрашенной фигурами стойки буфета. Они глядели друг на друга, улыбаясь, каждый сразу думая о себе и о том, что мог думать о нем другой. Потом Пастухов утер холодное от морозца лицо и сказал довольно:

— Хороша погодка. Что же? Расстанную?

Цветухин поднял голову к часам над буфетом:

— Минут сорок еще осталось.

Они велели подать нежинской рябиновой с пирожками и закурили.

Прошел мимо жандарм в шинели до пола, звеня шпорами и волоча за собою струю сукобно-керосинового запаха. Пастухов пофыркал носом, озорно перекрестил себя чуть повыше живота.

— Пронеси господи!

Все трое засмеялись и разобрали налитые официантом рюмки.

— В таких случаях, — заговорил Пастухов, выпив, — принято оглядываться назад и, что называется, извлекать уроки. Какие вы чудесные мужики! Жалко прощаться. Знаете, ведь я прожил с вами время, достаточное, чтобы родиться человеку. Вместе прошли по самому краешку пропасти и не свалились. Можно сказать — убедились, что чудеса бывают. Но понимаем ли мы себя больше, чем понимали до этого чуда?

— Понимать — мало, — сказал Мефодий.

— Умница, — одобрил Пастухов. — Понимать — мало, но понимать надо. Иногда, в эти месяцы, я слышал дуновение черных крыл за своим затылком. Я спрашивал себя: за что же меня хотят столкнуть в яму? И мог ответить только одним словом: случайность. Потом беда миновала. Спину мою, как в детстве, овеивает крылами бабушкин ангел-хранитель. Я спрашиваю себя — за что такая милость? И опять отвечаю: случайность. И вот я смотрю на нас троих и думаю: внутри у нас бродят какие-то непонятные нам реактивы. Соединились одни — и получились у тебя, скажем, Егор, твои летающие бумажки или твоя скрипка. Соединились бы другие — и ты стал бы раздавать на берегу прокламации. Случайность.

— Выходит, я и актер по случайности? — спросил Егор Павлович довольно мрачно.

— В самом деле! — уязвленно поддержал Мефодий.

— Не в том дело, что ты — актер, я — драматург, а вот он — певчий.

— Почему вдруг певчий? — обиделся Мефодий.

— Ну не певчий, а семинарист. Это не важно. Важно — ради чего мы поем на все лады нашими козлетонами?

— Ну? — стропливо подогнал Мефодий.

— То-то, что — ну! Довольно разыгрывать оскорбленного. Налей лучше.

Они выпили и, прожевывая пирожки, опять молча полюбовались друг другом, понимая, что в эту минуту их не может разьединить никакая размова.

— У всех у нас, — продолжал Пастухов, — выпадают дни, когда с утра до вечера ищешь — что бы такое поделать? И то за стихи возьмешься, то к приятелю сходишь, то с какой-нибудь барынькой поваландаешься. Глядишь — пора на боковую. Иногда я боюсь, что так и составишься. А где-нибудь неподалеку от нас кто-нибудь делает наше будущее. Сквозь дикие дебри, весь изодравшись, идет к цели.

Он приостановился, глянул в окно, добавил:

— Какой-нибудь испорченный мальчик.

— Совесть — когтистый зверь! — улыбнулся Цветухин.

Он тоже повернул лицо к окну.

Начался легкий снегопад из тех, какие бывают в тихий день, когда редкие снежинки будто раздумывают — упасть или не упасть, и почти останавливаются в прозрачном воздухе, вися, словно потеряв на секунду вес, а затем неуверенно опускаются на землю, уступая место таким же прихотливым, таким же нежным.

— Я об этом думал, — неторопливо сказал Цветухин. — Мне казалось, что мы переносили это наше глупое дело по обвинению и прочее так тяжело, знаешь, почему? Если бы нас привлекали не по ошибке, а по-делом, за настоящее участие в деле, может нам было бы легче, а?

— Как верно! — изумился Мефодий.

— Ошибка-то была, может, в том, что мы не занимались тем, в чем нас обвиняли?

Пастухов посмотрел на Егора Павловича испытующе, потом внезапно захохотал.

— Ну, это ты вошел в роль, актер! Переиграл! И вообще, знаешь? — ты мне не нравишься. Это про тебя Толстой сказал, что у человека, побывавшего под судом, особенно благородное выражение лица!

Смеясь, они еще налили, и Пастухов поднял рюмку выше, чем прежде.

— Мы слишком много, друзья, учавствуем в жизни сознанием. Я хочу выпить за то, чтобы поменьше участвовать в ней сознательно и побольше физически!

Мефодий первый опрокинул за это пожелание, но, крикнув после выпитого, спросил глубокомысленно:

— Это в каком же, однако, смысле?

— Это в том, семинарист, смысле, что

все мы — байбаки, понял? Байбаки! Насколько было бы все благороднее, если бы эти месяцы мы находились в кругу хороших женщин. Ведь вот я по лицу твоему постному, Егор, вижу, как тебе недостает возвышающего, прекрасного созданья!

— Почему же ты полагаешь — недостает? — что-то слишком всерьез спросил Цветухин.

— Именно, — сказал Мефодий, — зачем же так опрометчиво полагать?

Пастухов оставил невыпитую рюмку. Взгляд Цветухина показался ему растерянным, даже напуганным до какой-то суеверности.

— Что-нибудь случилось?

— Именно, случилось, — подтвердил Мефодий со вздохом.

— Вернулась Агния Львовна, — быстро сказал Цветухин и неловко, будто извиняясь, улынулся.

— Что же ты молчишь? — привскочил и тотчас дружно сел Пастухов. — Как это возможно?

— Не хотелось портить настроения, — без охоты проговорил Цветухин, снова отворачиваясь к окну.

— И почему же невозможно? — продолжал ему в тон Мефодий. — Надо знать характерную актрису Цереевщицкову. Явилась с чемоданами, коробками из-под шляп, с копченым рыбцом, с медом, с увядшими цветами. Свадила все в кучу, поплакала, поцеловала и уже развесила на стенке старые афиши, и уже пробует свое контральто, и уже требует, чтобы Егор устроил ее в театре, и уже выгоняет меня из номера. Все, как в первом акте комедии.

— К черту! — негромко оборвал Цветухин и занес руку, чтобы стукнуть по столу, но остановился, с проникновением взяв бутылку и поглядел на Пастухова подобранными глазами. — Это разговор длинный, не вокзальный. Скажи, Александр, последний хороший тост и — конец. Второй звонок.

— Да, второй звонок, — произнес Пастухов так медленно, будто старался и не мог понять, что означают эти слова. — Я предлагаю тост под второй звонок: выпьем за ту женщину, которую ищем мы, а не за ту, которая ищет нас!

— Жесткий тост, — оговаривался Мефодий. — Эту женщину, за которую ты пьешь, ты лишаешь великого удовольствия: искать нас!

Они наспех рассчитались с официантом и в суете, вдруг охватившей вокзал, вышли на платформу. Внеся вещи в купе и посмотрев, удобно ли будет ехать, они все строем оставили вагон.

Под навесом перронз детали, как заблудившиеся, снежинки, испещряя своими недолговечными метками озабоченные лица. Бегом провезли последнюю вагонетку почты с обычными выкриками — па-

азволь! Вышли и потянулись в оба конца жандармы.

— Мало мы посидели, — сказал Мефодий.

— Даже не выпили за искусство, — прустно прибавил Егор Павлович.

— Что ж искусство? — сказал Пастухов, — В искусстве никогда всего не решишь, как в любви никогда всего не скажешь. Искусство без недоразумения — это все равно, что пир без пьяных.

— Запиши, запиши себе в красную книжечку! — воскликнул Мефодий.

— Мне часто кажется, что моя книжечка — бесцельные знания. Я сейчас верю, что самое главное — это цель.

— А я сейчас ни во что не верю, — опять словно извиняясь, сказал Цветухин. — Кажется, не верю, что земля вертится вокруг солнца.

— Да, Агния Львовна нас ушибла, — с сочувствием мотнул головой Мефодий. — Но, милый Егор, в конце концов и не важно — верит человек, что земля вертится, или нет; на состоянии земли это не отражается, на человеке тоже.

Пастухов в восторге поцеловал Мефодия:

— Сократ! — дохнул он прямо в его пербитый нос.

— Глупый человек чаще говорит умное, чем умный — глупое, — ответил Мефодий очень польщенно. — Потому умные скучнее глупых. Однообразнее.

Пастухов обнял Цветухина.

— Видишь, Егор, не будь гораздо умней! Не скучай!

Он успел еще раз поцеловать обоих друзей и — счастливый — вскочил на подножку. Все сняли шапки.

— Берегите друг друга, мужики! — крикнул Пастухов из тамбура.

— Мы — нераздельные! — проголосил в ответ Мефодий. — Мы в один день именинники — Егорий да Мефодий!

— Не забывай! — поднял обе руки Цветухин.

— Не забывайте и вы, мужики, — взмахнул своей тяжелой шапкой Пастухов.

Мефодий утерся платком и накрыл голову. Паровоз уже упрятывал в мохнатую белую шубу вагон за вагоном. Пастухов исчез в ней. Мефодий вынул из рук Егора Павловича шапку, надел ее на его черную, в снежинках, шевелюру, легонько повернул его и повел.

Они сторговались с извозчиком — до театра. Мефодий прижал к себе Егора Павловича, заботливо охватив его спину. По дороге он беспокойно покашивался, надеясь вычитать во взгляде друга хотя бы маленькую перемену самочувствия. Но Цветухин думал об одном.

— Интересно сказал Пастухов про искусство, — решился заговорить Мефодий.

Егор Павлович не отвечал.

Они ехали сторонними, закудалыми

улицами, поднимая с дорог стайки галок и воробьев. Собачонки, выскакивая из калиток, привязывались за санками и, облаяв их, без ярости, по чувству приятного долга, весело убегали назад. Тесовые домишки загоревшихся на снегу разноцветных красок быстро накапывались спереди и пролетали мимо, точно увертываясь в испуге от свистящего бега рысака.

— Что ты сказал? — неожиданно спросил Цветухин.

— Я.. это.. — не нашелся сразу Мефодий, — насчет Пастухова. Здорово он об искусстве.

Цветухин опять замолчал, уткнув рот в воротник, и только уже на виду Театральной площади, встряхнувшись, вдруг сказал, будто продолжая разговор:

— Это у Александра старая мысль. Он как-то мне толковал про колокольню Ивана Великого и спичечный коробок. Конечно, говорит, без спичечного коробка не обойтись, а от Ивана Великого никакого проку — печку им не растопишь и от него не прикуришь. Но вот посмотрит любой человек в мире на Ивана Великого и сразу скажет — это Москва, это Россия. А коробок потрясет — не шебуршат ли в нем спички? — и если нет — выкинет.

Он отстегнула меховую полость, вылез из саней и, входя в подъезд театра, решительно договорил:

— Будем строить нашу колокольню.

Но тут же вздохнул:

— Жалко, Александр уехал как раз теперь. Он был бы мне большой подмогой.

— А я? — почти кинулся к нему Мефодий. — А мы с тобой? Неужто вдвоем мы не осилим твою беду?

Цветухин сжал ему локоть.

— Спасибо тебе, бурсак!

Они прошли за кулисы, обнявшись.

На сцене шла репетиция — вводили новую актрису в «Анну Каренину». Режиссер, тоже новый человек, нервный, пылкий, решивший взять быка за рога, недовольно покрикивал. Занавес был поднят, зал чернел остуженной за первые морозы, сторожкой и немного загадочной своей пустотой. Что-то не клеилось, актеры повторяли и еще хуже портили выходы.

Вдруг режиссер обернулся к залу и крикнул:

— Кто это там?

Все прислушались, всматриваясь в темноту.

— Я сказал, чтобы в зале никого не было! — опять закричал режиссер и опять послужал.

— Да вам почудилось, — лениво сказал трагик.

— Вы думаете, я — пьяный? Я слышал в зале кашель!

Опять все затихли, и тотчас из рядов доносится слабенький, видно изо всех сил придушенный кашель.

— Я не позволю с собой шутить во вре-

мя работы! — взвопил режиссер и бросился вон со сцены.

Сразу с обеих сторон в зале появилось несколько актеров из тех, что помоложе или поживее, и все они двинулись между кресел навстречу друг другу.

— Вон, вон! — разнесся гулкий голос.

— Да никого нет, чепуха!

— Вон прячется!

— Да, да, да, смотрите — в четвертом ряду!

— В пятом, в пятом! Под креслом, видите?

— Дайте свет! Свет в зал!

Все уже разглядели белое пятно в самой середине ряда и — обрадованные неожиданным развлечением — с возгласами и шумом, стали сходитьсь в кольцо.

— Ага-а! — прогудел кто-то утробным басом.

— Ага-а! — ответили ему на разные голоса.

— Ага-а! По-ла-лась! — пропремели все ужасающим хором.

Потом громкий хохот взмыл в отзывчивую высоту зала, и толпа повлекла к выходу пойманную жертву.

— По-ла-лась! — кричала и вопила, забавляясь, веселая орава, не размыкая плотного кольца, а так и втискиваясь в узенькую дверь, которая вела из зала на сцену.

— Не вижу ничего смешного, господа! — ершился режиссер, пытаясь раздвинуть кольцо и заглянуть — что оно скрывает.

— Что там такое? Что?

Тогда актеры разом стихли, расступились, и перед ним возникла девочка, крепко зажавшая ладошками лицо, с белесой косичкой, в платье по колено, с свалившимся на одной ноге красным шерстяным чулком.

— Кто это? — воззвал оскандаленный режиссер.

— Да ведь это Аночка! — растроганно сказала старая актриса.

— Это наша Аночка! — заговорили и завосклили актеры. — Аночка, наша побегушка! Курьер-доброволец!

— Все равно, кто бы ты ни была, — произнес нетерпимо режиссер, — тебе не дано право нарушать порядок. Театр это не игрушка. Запомни.

Он хлопнул в ладоши и отвернулся:

— Начали, господа, начали!

— Вот теперь у нас тошус! — одобрительно протянул трагик, отправляясь с другими актерами на сцену.

Цветухин подошел к Аночке. Она все еще не в силах была оторвать от лица руки и стояла недвижимо. Плечики ее изредка вздергивались.

— Да ты никак плачешь? — спросил Егор Павлович, нагибаясь и обнимая эти ее остренькие, дергавшиеся плечики. — Ну что же ты, озорная, ведь это на тебя не похоже. О чем ты, а?

Он отвел ее в сторону и, присев на чугунную ступень лестницы, поставил у себя между колен.

— Что ты, а?

Взяв ее руки, он тихо развел их. Лицо ее не отличалось от белобрых волос, даже губы побелели, точно она окунулась в студеной воду.

— Ну, что с тобой?

— Испугалась. — безголосо пролепетала она.

Он улыбнулся, глядя в ее тяжелые, большие глаза, промытые плачем до глубокой, звержающей синевы. Он погладил и похлопал ее по спине.

— Ах, ты, сирена!

— Я не сирена, — отозвалась она сразу.

— Разве помнишь?

— Помню.

— То-то, что помнишь, — усмехаясь, качивал он головой и, немного подумав, добавил: — я тоже помню.

Он посмотрел прочь словно недовольным, взскачьным, осуждающим взором.

— Послушай. — спросил он, сильнее сжимая Аночку коленями, — скажи-ка мне одну вещь. Зачем ты вертишься тут у нас?

Она не ответила.

— Ну, что же ты, словно воды в рот набрала, говори.

Она уткнула подбородок в грудь.

— Тебе учиться надо, а не лазить тут, как мышонку. Ну, что молчишь?

— Я может у Веры Никандровны жить буду, она меня учить будет, — буркнула себе в грудь Аночка.

— И сюда бегать перестанешь, да? Ну, что опять замолчала? Может мне за тебя сказать, а? Сказать? Ну ладно, я скажу. Уж не актрисой ли ты хочешь быть, а? Угадал?

Он подsunул палец под ее подбородок и с силой приподнял упирившуюся голову.

Все лицо Аночки покрывал темный румянец, она смотрела на Егора Павловича с отчаянным испуге. Вдруг, наклонившись

к нему, точно падая, она почти прикоснулась к его щеке, но отпрянула, вырвалась из его колен и, перескакивая через раскиданную вокруг бутафорию, без оглядки побежала.

Она схватила на бегу свою одежду, кое-как набросила ее на плечи и выскочила на улицу. Обежав весь театр, она оглянулась, словно надо было увериться, что ее никто не догоняет. Она оделась, обвязала голову платком, подтянула свалившийся чулок. Успокоившись, еще раз осмотрелась и тут как будто впервые увидела этот огромный, голубовато-серый дом, в который она бегала, сама не зная — ради чего.

Дом высился один посередине белой нетронутно-чистой площади, со своими большими глухо-закрытыми дверями, висевшими подряд, как ни в каком другом доме. Широкий балкон прикрывал эти необыкновенные двери, поддерживаемый чугунными столбами, и на каждый столб были надеты, точно согнутые в локтях руки, парные фонари. Высоко над балконом начинались крыши — узенькая, над ней пошире, потом еще шире — много разных крыш, — одни похожие на козырьки, другие вроде поясков, а самая верхняя — как громадный зонт. Все они были ровно засыпаны снегом, и от этого весь дом казался ясным-ясным, как нарисованный на ялянцева бумаге. Это был, наверно, самый большой дом из всех, которые видела Аночка.

Она пошла прямо через площадь, по снежному полю, высоко поднимая колени, оставляя следы больших — с маминной ноги — башмаков, и, дойдя до середины поля, оглянулась еще раз и посмотрела на дом издали и решила окончательно, что это самый большой дом. Потом она еще немножко подумала и еще решила, что этот дом самый красивый.

Больше она не оглядывалась, а, перейдя площадь, пошла таким шагом, каким идут взрослые люди, знающие, что их ожидают неотложные дела и обязанности.

1943—45 гг.

(Конец первого романа трилогии.)

СТИХИ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

1

О них когда-то гуревал поэт:
Они друг друга долго ожидали,
А, встретившись, друг друга не узнали,
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя.
Я знал ее, как можно знать себя,
Я знал ее в крови, в грязи, в печали.
И день настал, закончилась война.
И шел домой, навстречу шла она,
И мы друг друга не узнали.

2

Когда она пришла в наш город,
Мы растерялись: столько ждаты,
Ловить душою каждый шорох
И этих залпов не узнать.
И было столько боли прежней,
Больших страстей такой клубок,
Что даже крохотный подснежник
В то утро расцвести не смог.
И только — видел я — ребенок
В ладоши хлопал и кричал,
Как будто он, невинный, понял,
Какую гостью увидал.

3

Она была в линялой гимнастерке,
И ноги были до крови натерты.
Она пришла и постучала в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном.
И я пришла. Меня зовут Победа».
Был черный хлеб белее белых дней,
И слезы были соли солоней.
Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины торжественно молчали.

4

Светлое поле. Вечер был светел.
В поле лежали мертвые дети.
Ветер метался, сердца бездомней.
Ветер улегся, ветер не помнит.
Камни забыли, как их дробили,

Камни не знают, кто здесь в могиле*
Нет, не бессмертье, не мрамор, не ~~камень~~,
Дай мне другое — трудную память,
Чтоб, умирая, снова увидеть
Светлое поле в смертной обиде.

5

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнуть из жизни*
А жил я там, где сер и сед,
Подобный каменному бору,
И голубой и в пепле лет
Шумит, поет великий город.
Там даже счастье ничо чем,
От слова там легко и больно,
И там с шарманкой под окном
И плачет и смеется вольность.
Прости, что жил я в том лесу,
Что пережил я все и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

6

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом.
И помню я больную женщину.
Не знаю, кто кого любил,
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще попрежнему стоит.

7

Слов мы боимся, и все же прощай.
Если судьба нас сведет незначай,
Может не сразу узнаю я кто
Серый прохожий в дорожном пальто.
Сердце подскажет, что ты это тот —
Сорок второй и единственный год
Ржев догорал. Мы стояли с тобой,
Смерть примеряли. И начался бой.
Странно устроен любой человек,

Страстно клянется, что любит навек.
И забывает когда и кому...
Но не изменит и он одному:
В час, когда Ржев догорал вдалеке,
Слову скушому и теплой руке.

8

Мне было многое знакомо
И стало сердцу дорогим,
Но не было на свете дома,
Который я назвал моим.
И только в час, глухой и злобный,
Когда горела вся земля,
Я дверь одну ревниво обнял,
Как будто эта дверь — моя.
И дым глаза мне злобно выел,
Но я не опустил руки,
Чтоб дети, не мои — чужие,
Играли утром у реки.

9

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь мою прожил, и снова война,
Я все же запомнил из жизни той громкой
Не зорю горниста, не грохот, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.

И годы и годы мерещатся мне
Все те же две тени на белой стене.

10

Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы,
Простора площадей, разросшейся листвы
И кроме статуй, и мостов, и снов державы,
И кроме незакрывшейся, как рана, славы,
Которая проходит ночью по проспектам,
Почти незримая из серебра и пепла, —
Есть в Ленинграде жесткие глаза и та,
Для пришлого загадочная, немота,
Тот сжатый горько рот, те обручи на
сердце,
Что, может быть, одни спасли его от
смерти.
И если ты — гранит, учись у глаз горячий.
Они сухи, сухи, когда и камни плачут.

11

За что он погиб? Он тебе не ответит.
А если услышишь, подумаешь — ветер.
За то, что здесь ярче густая трава,
За то, что ты плачешь и, значит, жива,
За то, что есть деревья грустного шелеста,
За то, что есть смутная русская прелесть,
За то, что четыре угла у земли,
И сколько ни шли бы, куда бы ни шли,
Есть, может быть, лучше, красивей, богаче,
Но нет вот такой, на которой ты плачешь.

1945.

СМЕХ И СЛЕЗЫ

(Веселое сновидение в трех действиях, семи картинах, пяти интермедиях с прологом)

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ

★

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

в прологе:

Андрюша Попов — обыкновенный советский мальчик	Клава — обыкновенная подруга
Люба — обыкновенная советская девочка	Дедушка — обыкновенный старичок
	Доктор — обыкновенный доктор

в карточном королевстве:

Сильвио — карточный король червовой масти.	Шут
Тарталья — его сын, валет червовой масти	Шестерка
Панталоне — министр с портфелем, валет бубновой масти	Семерка
Бригелла — министр без портфеля, валет пиковой масти	Двойка
Клариче — дама трефовой масти	Начальник королевской стражи
Моргана — колдунья, дама пиковой масти	Радость
Универ — маг и волшебник	Печаль
	Пес
	Живые ворота
	Финал
	Фокусник, карты всех мастей, шахматы и домино.

ПРОЛОГ

Обыкновенная комната. Андрюша лежит больной в кровати. На тумбочке лекарства. У постели больного — доктор, дедушка и Люба. На кровати, на тумбочке, на стуле разбросаны игры: карты, шахматы, домино. В углу стол. На столе счеты, бумага. Над андрюшиной кроватью на стене висит горн.

Андрюша (расстроено). А завтра? Я могу встать, доктор, завтра?

Доктор. Нет, молодой человек, вам придется полежать.

Андрюша. Но ведь я же совершенно здоров!

Доктор. Разрешите мне, молодой человек, знать, здоровы вы или нет! У вас температура 37 и 8.

Андрюша. Доктор...

Дедушка. Раз доктор сказал «нельзя» — значит нельзя!

Андрюша. Залечили вы меня совсем. Вот возьму и выброшу в окошко все эти склянки и банки!

Дедушка. Я тебе выброшу! (Доктору) Горе мне с ним!

Доктор. Тогда мы вас положим в больницу, молодой человек! (Дедушке) Делайте все, как я сказал. Страшного ничего нет. Завтра я к вам загляну к концу дня. До свидания.

Дедушка. Я вас провожу, а то у нас темно на лестнице.

Люба. До свидания.

Андрюша (мрачно). Прощайте.

(Доктор и дедушка уходят.)

Андрюша (вздыхнув). Наконец-то выкатился... «37 и 8»... Опять я завтра в театр не попаду...

Люба. Твой папа тебе в любой момент может устроить билет в театр. Он ведь в театре работает.

Андрюша. Что значит «в любой момент»? Завтра у них идет премьера — «Любовь к трем апельсинам». Сказка Гоцци! Ты знаешь, какая это сказка? Я была на репетиции. А потом мы с папой пошли на сцену и смотрели настоящие декорации. Знаешь, как это было интересно. (Грустно) А теперь я должен лежать в кровати...

Люба. Ты ведь болен.

Андрюша. Это ты наколдовала, чтобы я заболел. Все на меня нагсваривала: «заболеешь, заболеешь, если будешь снег есть». Вот я и свалился.

Люба. Не нужно было снег есть.

Андрюша. Я же его с сахаром ел. Получалось мороженое. А разве мороженое нельзя есть?

(Входит Клава.)

Клава (грустно). Здравствуй, Люба. Здравствуй, Андрюша.

Люба. Здравствуй, Клава.

Андрюша. Здравствуй. Чего тебе?

Люба. Опять нос повесила?

Клава. У меня сегодня с утра ужасно грустное настроение.

Андрюша. Двойку схватила?

Клава (грустно). Нет, это я вчера. А сегодня я видела очень печальный сон.

Люба. Опять печальный.

Андрюша. Ну что же тебе во сне показывали?

Клава (грустно). Мышей. Много-много мышей...

Люба. Ну и что?

Клава. Бабушка сказала, что это дурной сон.

Андрюша. А ты разве снам веришь?

Клава. Конечно нет. Но все-таки я так нервничала, так нервничала, закричала и ушла с кровати.

Андрюша. Так тебе и надо. Нечего всякие гадости во сне смотреть.

Клава (грустно). У меня такое предчувствие, что что-то должно случиться.

Андрюша. Уже случилось. Я завтра не пойду в театр.

Клава. Как это ужасно. Мне тебя очень жаль.

Люба (резко). Клава, перестань...

Клава. Как ты себя чувствуешь? Помоему, тебе стало хуже. Ты такой красивый.

Люба. Клава, перестань.

Клава (не слушая Любу). У тебя, наверное, воспаление легких. Или... корь. Или... свинка.

Андрюша (мрачно). Холера.

Люба (Клаве). Здесь без тебя докторов хватает. Вечно ты на всех тоску наводишь.

Клава (обиженно). Я могу уйти. (Уходит.)

(Входит доктор.)

Андрюша (изумленно). Вы же сказали, что придете завтра к концу дня!

Доктор. Опять свой портфель забыл. Второй раз сегодня забываю. А без него я как без рук.

Люба (подавая портфель). А что у вас в портфеле, доктор?

Доктор. О! У меня в портфеле очень важные вещи!

Андрюша. Какие?

Доктор. Это врачебная тайна.

Люба. Мы никому не скажем.

Доктор (тайно). В нем (похлопывает по портфелю) лежит волшебная книга Недугов и Исцелений. Стоит мне только заглянуть в эту книгу, и я уже знаю, какое чудесное лекарство нужно дать больному для того, чтобы он поправился.

Андрюша. Покажите нам эту книгу, доктор.

Доктор. Нет, нет, это невозможно. Только не сегодня. Может быть завтра к концу дня. Сегодня я очень спешу. Меня ждут больные. Еще раз до свиданья! (Уходит.)

Андрюша. Все наврал про книгу...

Люба. Ты думаешь?

Андрюша. Уверен. (После паузы.) Он думает, что имеет дело с дошколятами. (Берет горн, трубит.)

Люба (отнимая горн). Тебе вредно, у тебя от горна еще больше поднимется температура.

Андрюша (недовольно). Я сам знаю, что мне вредно и что не вредно...

(Входит дедушка с чашкой в руке и направляется к Андрюше.)

Дедушка. Опять бунтуешь. Вот выпей-ка, герой! А я тебе поднесу.

Андрюша. Что это?

Дедушка. Твое дело телячье — пей да помалкивай. Не бойся, не отравлю.

Андрюша. Я ведь опять потеть буду.

Дедушка. Вся хворь потом-то и выйдет.

(Андрюша с отвращением пьет, потом ложится. Люба поправляет на нем одеяло. С одеяла на пол сыплются игральные карты. Люба собирает их.)

Дедушка. Опять картами баловались?

Андрюша (зевает). Мы не баловались. Мы карточные домики строили.

Дедушка. Попадет вам от бабки. (Любе.) Давай-ка их сюда, от греха подальше. Одну колоду уже разорили.

Андрюша. Мы ее не разоряли.

Дедушка. А куда же четыре карты делись? Святым духом исчезли? Села бабка гадать, а карт нехватает, короля червей, дамы трюф, да двух валетов не досчиталась: пик да бубен.

Андрюша. Это их, наверное, Тузик куда-нибудь затасил.

Дедушка. Вы все рады на Тузика свалить.

Андрюша (зевает). Мы ту колоду не трогали.

(Дедушка подходит к столу, садится за счефы.)

Дедушка (обрасывая со счетов). Ну, вот, теперь опять считай все сначала. Трогали — не трогали... (Начинает считать.) Пятнадцать тысяч двести семнадцать и сто сорок три... (Кладет на счетах.) Люба, накрой ты его одеялом!

Андрюша. Мне жарко.

Дедушка. Пар костей не ломит. Оно и надо, чтобы жарко было. (Считает.) Одна тысяча двести восемьдесят семь... и... триста двадцать...

Андрюша. Замучили вы меня совсем. Уложили здорового человека в постель, назвали докторов, напоили какой-то гадостью и теперь даже подышать не дают...

(Люба накрывает Андрюшу.)

Дедушка (не оборачиваясь). Был у нас один такой здоровый. Тоже лекарей не признавал. Однажды в проруби зимой выкупался, тут его и скрючило. А доктор у нас был земский, как сейчас помню, Степан Петрович Малина. Хороший такой человек. Лекарств не жалел. Всегда вдоволь прописывал. Так он этого доктора к себе на версту не допускал. «Что вы, говорит, меня мучаете. Я и без него помру!»

Люба. Ну и что же?

Дедушка. Ну и помер. (Считает.) Тринадцать тысяч сто семь... двести пятнадцать... сорок восемь и пять десятых...

(Андрюша тем временем засыпает.)

Люба (рассмеялась). Андрюша, слышал... Андрюш... (Дедушке) Заснул.

Дедушка. Пускай спит. Сон милее отца и матери. Сном все пройдет.

Люба. Жаль все-таки, что он заболел. Ему так хотелось пойти в театр.

Дедушка. У него без театра в голове бог знает что творится. Все стихи какие-то сочиняет. Пойдем-ка, друг, отсюда, а я свет погашу.

(Встает. Гасит свет и уходит с Любой. Пауза. Тишина. Затем начинается звучать тихая, минорная музыка. В углу сцены освещенные лучом прожектора появляются четыре карты: король червей — Сильвио, валет бубен — Панталоне, дама треф — Клариче и валет пик — Бригелла.)

Клариче.

Мы здесь одни.

Панталоне.

Колода на запоре.

Бригелла.

Тут все свои.

Панталоне.

Здесь посторонних нет.

Сильвио.

Друзья мои! В отчаянье и горе

Я пригласил сюда вас на совет.

Мой бедный сын Тарталья тяжело

болен,

Он столько лет с постели не встает...

(Плачет.)

Андрюша (садится в кровати). Бабушкины карты! Вот вы где. (Вскакивает, идет к картам. Карты окружают и захлопывают Андрюшу. Темнота.)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Карточное королевство. Один из покоев дворца. Звучит грустная музыка. Сцена пуста. На диване лежит портфель. Голос за сценой. Где мой портфель? Где мой портфель? — Появляются Панталоне и две служанки: Шестерка и Семерка.

Панталоне (взволнованно). Где мой портфель? (Жалобно.) Где мой миленький старенький портфельчик? Где же я его оставил?

Шестерка. Вот он, ваша бубновая светлость. На диване.

Панталоне. Давайте его зкорей сюда! (Хватает портфель, вынимает из него толстую книгу и нервно листает страницы.) Заболел... Заболел... Вот: околел... околел... окривел... ел... сел... бел... мел. Вот эта, кажется, подходящая! (Убегает с книгой и портфелем.)

Семерка. У короля опять застряла рифма в горле. С тех пор, как принц Тарталья заболел, это с ним случается все чаще и чаще.

Шестерка. Когда же, наконец, вылетит принца?

Семерка. Лучше спроси, когда его вконец залечат. Королевская гостиница

забита приезжими лекарями. Мимо дворца невозможно пройти, так противно пахнет всякими лекарствами. Воздух отравлен запахом микстур и мазей.

Шестерка. А слух — этой противной грустной музыкой.

Семерка. И когда только все это кончится! (Задумалась.) Помнишь, какими прекрасными духами душились раньше наши дамы. А теперь от них пахнет нашатырным спиртом и нафталином.

Шестерка. Столько лет не смеет смеяться и шутить, плясать и веселиться. Мне кажется, я сойду с ума с тоски. А ведь я была такой веселой Шестеркой!

Семерка. Как было светло и весело во дворце. Во всех вазах стояли живые цветы. А теперь стоят только бумажные.

Шестерка. С утра до вечера гремели духовые оркестры. Помнишь, как красиво

били барабаны. А теперь разрешено играть только флейтам и скрипкам.

Семерка. Это ужасно.

Шестерка. Мне так хочется потанцевать.

Семерка. Ты с ума сошла!

Шестерка. Мне так хочется потанцевать. (Неуверенно делает несколько шагов, напевая про себя какой-то веселый мотив.)

Семерка. Ты знаешь, что тебе будет за это?

Шестерка (танцует и напевает).

Мне все равно, мне все равно...

Семерка. Прекрати сейчас же! Ты губишь себя! Перестань танцевать! Я умоляю тебя! Умоляю!

(В дверях появляется Бригелла.)

Шестерка (продолжая).

Мне все равно, мне все равно,

Не танцевала я давно!

(Замечает Бригеллу и в ужасе застывает.

Бригелла медленно подходит к ней.)

Бригелла. Чудесно. Превосходно. В то время, когда король плачет от горя, а наследный принц борется со своим недугом, когда все кругом повергнуто в печаль, в королевских покоях слуги осмеливаются петь и танцевать. Ты низкая Шестерка! Как посмеда ты танцевать, несчастная Пятерка! (Срывает с одежды Шестерки один знак масти.) Как ты посмеда напевать, негодная Четверка! (Срывает еще один знак масти.)

Шестерка (став Четверкой). Не губите меня! Оставьте меня хоть Четверкой! (Становится на колени.)

Бригелла. Ты будешь Тройкой! Прочь с глаз моих!

(Служанки убегают. Появляется Клариче.)
Клариче (тихо). Как здоровье принца?

Бригелла. Пока без изменений.

Клариче. Я устала ждать. Когда же это кончится?

Бригелла. Принцесса! Я делаю все возможное. Принц Тарталья тает на глазах.

Клариче (раздраженно). Десять лет, десять долгих лет я жду пока вы уморите наследника!

Бригелла. Вы ждали десять лет, подождите еще немного.

Клариче. Сколько? Сколько времени прикажете еще ждать? Неделя? Месяц? Год? Два? Три? Четыре? Пять? Шесть? Семь? Сколько?

Бригелла. Профессор черной магии, которого я вызвал к принцу из крапленой колоды, прописал ему сегодня такие лекарства и такой режим, что он вряд ли протянет более месяца.

Клариче. Я обещала вам портфель первого министра при моем дворе! Вы не стоите этого!

Бригелла. Немного терпения, и ваша заветная мечта сбудется. Я сам жду не

дождусь того момента, когда смогу, наконец, сбросить со своего плаща этот ненавистный мне герб черовой масти и назвать вас своей королевой. Сколько лет я вынужден скрываться под ним. Сколько лет не иметь возможности носить герб родной черной масти пик.

Клариче. Молчите! Вас могут услышать! Сегодня ночью я опять плохо спала. Меня мучили дурные сновидения.

Бригелла. Не волнуйтесь, прекрасная Клариче! В самом недалеком будущем вы будете спать спокойным сном королевы.

Клариче. Не следует, однако, забывать, что мой дядя, король Сильвио, весьма еще бодрый старик.

Бригелла. Король не переживет безвременной кончины любимого сына и быстро последует за ним.

Клариче. Тс-с-с... Сюда идут... Мы с вами не встречались... (Убегает.)

(За сценой слышны рыдания и всхлипывания.)

Панталоне (за сценой).

Зачем рыдать. Зачем стонать.

Слезам принца не поднимать!.

(Появляются Сильвио и Панталоне.)

Сильвио (в отчаянии).

Что делать нам? Как нам его спасти?

Как вылечить? Как облегчить страдания?

Он похудел, он перестал расти.

О слабое, несчастное создание!

Мой милый сын! О, как ты тяжело болен!

Ты десять лет с постели не встаешь. Грустишь, тоскуешь, жизню

недоволен,

Так дурно спишь, так мало ешь и пьешь,

Тебе не помогают процедуры,

Настойки из целебных корешков.

Напрасно выпил ты сто два ведра микстуры

И проглотил сто тысяч порошков!

(Плачет.)

(Появляется Клариче. Она манерно раскланивается с Бригеллой и Панталоне.)

Король делает глубокий поклон.)

Клариче.

Бедняжка принц! Он тает с каждым днем.

Я дни и ночи думаю о нем...

Сильвио (Бригелле).

Я слышал, был консилиум вчера.

Что нового сказали доктора?

Бригелла.

Всезнающий профессор медик Блеф...

Панталоне.

Какой он масти?

Бригелла.

Медик? Масти трэф.

Сильвио.

Вы можете, Бригелла, продолжать!.

Бригелла (продолжает).

Сказал, что принцу следует лежать.
 Лежать в тепле от грелок и свечей,
 Но только не от солнечных лучей!
 Должны висеть портьеры на окне,
 Он должен слушать только о войне,
 Рассказы о несчастьях, о беде,
 Об ужасах, о Синей Бороде —
 Он должен плакать. Плакать день и
 ночь.

Клариче.

Такой режим не может не помочь!

Панталоне.

Да он и так почти все время плачет,
 И я хотел бы знать, что это значит?

Бригелла.

Чем больше слез, тем больше
 облегченья.

В слезах и заключается лечение.

Принц должен выплакать наружу
 все бактерии,

И лишь тогда к нему вернутся силы.

Панталоне.

Как плачет принц, мы видим десять
 лет,

А облегченья что-то нет и нет!

Сильвио.

Любезный Панталоне, ваше мнение?

Не следует ли изменить лечение?

Вы что-то собирались предложить!

Вы что-то нам хотели...

(Беспомощно глотает воздух и не может
 кончить фразы).

Панталоне (быстро вынимает из
 портфеля книгу и начинает искать риф-
 му).

Предложить...

Предложить... Вот: окружить...

положить...

Освежить...

(Сильвио отрицательно качает головой).

Жить... дружить... пить... быть...

не быть...

Дорожить... доложить...

Сильвио (облегченно подхватывает).

Доложить.

Вы что-то собирались доложить!

Панталоне.

Мне кажется, среди лечений всеж

Отсутствует одно — здоровый смех!

Когда-то принц был весел и здоров.

Он мог, как все, шутить и

веселиться.

И нам не нужно было докторов

Выисывать к нему из-за границы.

Я видел, как смеялся принц во сне,

Проснувшись утром, он заплакал

снова.

И весь в слезах, он сам признался

мне;

Он мне сказал: «Как хочется

смешного!».

Я утверждаю: принцу нужен смех!

И мой рецепт испробовать не грех.

Сильвио.

Я так устал, что я на все согласен!

Клариче (переглянувшись с Бригел-
 лой).

Не будет ли для принца смех
 опасен?

Бригелла.

Он вызовет икоту, и тогда

Возможна всякая беда!

Панталоне.

С тех пор, как существует свет,

От смеха не случилось бед!

Сильвио.

О чем вы спорите? Довольно

пререканий!

Вы мне верны, и цель у нас одна:

Здоровый сын — венец моих

желаний!

Я слаб и стар — замена мне нужна!

Кому доверю я вступить в права

наследства?

Сейчас готов я на любое средство!

Пусть будет совесть у меня чиста.

Где Шут гороховый? Позвать сюда

Шута!

(Панталоне звонит в колокольчик, входит
 Семерка.)

Панталоне. Позвать сюда Шута!

(Семерка выходит).

Клариче.

Смех все же вреден. Надобно при-
 знаться,

Мне больно даже улыбаться...

(Входит грустный Шут.)

Сильвио.

Встань, старый Шут, передо мною!

Как раньше, честно послужи

И выкинь что-нибудь смешное —

Свое искусство покажи!

(Грустный Шут мучительно соображает,
 гримаса перекашивает его лицо, и он по-
 казывает королю, а затем всем окружаю-
 щим указательный палец. Никто не
 смеется.)

Панталоне. Нет, это не смешно. Ни
 капельки не смешно. Даже улыбаться не
 смешно. Даже улыбаться не хочется. А ну,
 покажи еще раз.

(Шут повторяет свою грустную шутку.)

Сильвио.

А чем еще ты мог бы удивить?

Шут.

За десять лет я все успел забыть!

(Вдруг поет на мотив «Шаланды»)

Жил-был вает червовой масти,

Веселый карточный вает,

И вдруг случилось с ним несчастье —

Он заболел на много лет.

Давно бы кончились мученья,

И встал бы на ноги больной,

Но кто-то портил все лечение

И кто-то был всему виной!..

Я вам не скажу за всю колоду,

Вся колода очень велика-а-а-

(Заплакал.)

(Король и Панталоне, всхлипывая, достают платки. За спиной шум, голоса, взрыв смеха.)

Сильвио (плачет).

Что там за шум? Что там могло случиться?

Кто нам мешает веселиться?

Панталоне.

Я слышал смех! Я слышал громкий смех!

(Бригелла яростно звонит в колокольчик. Входит Семерка.)

Бригелла.

Что там за шум? Узнайте, что за кохот.

(Семерка уходит.)

Шут.

Мне кажется, я тоже слышал смех.

Сильвио (Шуту).

Но, к сожалению, не от твоих потек!

Шут.

Я все успел забыть за десять грустных лет.

У старого Шута давно работы нет. (Входит начальник королевской стражи.)

Бригелла.

Отвечьте королю тотчас.

Что там произошло у вас?

Начальник стражи.

Какая-то фигура странной масти, Не признавая королевской власти, Смешит толпу, и я боюсь, Что сам я тоже рассмеюсь!

Прилипчив смех. Три карточных квартала

Хохочут так, как некогда бывало! (Слышен новый взрыв смеха.)

Сильвио.

Час от часу не легче. Вот беда!

Схватить ее и привести сюда!

(Начальник стражи уходит.)

Бригелла. (Шуту, тихо). Ступай отсюда. Жди меня в приемной.

(Шут уходит.)

Клариче (Панталоне). Как могла посторонняя фигура проникнуть к нам, если вы заперли колоду на замок? (С намеком). Странно. Очень странно!

(Стража вводит Андриюшу.)

Сильвио.

Кто ты такой? Как ты сюда проник?

Как смог ты рассмешить три карточных квартала?

Андриюша. Я самый обыкновенный советский мальчик — ученик четвертого класса «Б» 117-й мужской школы. А вас я знаю. Вы карточный король червей, из новой атласной колоды. Моя бабушка искала вас. Куда вы пропали?

Сильвио (раздраженно).

Кто ты такой? Как ты сюда проник?

Как смел ты рассмешить три карточных квартала?

Андриюша (Панталоне). Я уже сказал, кто я такой. Неужели не понятно?

Панталоне. Его червовое величество

король Сильвио VII вас не понимает. Как вы попали сюда? Как вас зовут?

Андриюша. Зовут меня Андриюша Попов. Мой папа работает в театре. Я был болен. Я немножко простудился. Потом у меня был доктор. Потом бабушка дал мне что-то выпить, а потом я заснул и увидел вас. Вы стояли четвером (показывает) Вы.. Вы.. Вы.. и вы тоже. Наверное, это был сон. А потом я сразу попал в какое-то скучное место, где все ходили, как сонные мухи. Никто даже не улыбался на улице. Мне стало скучно, и тогда я рассказал им одну смешную историю. Все стали смеяться, а меня вдруг почему-то схватили и притащили сюда. Вот и все. Наверное, я еще сплю и вижу все это во сне. Понятно?

Панталоне. Вполне. Одну минуточку, сейчас я постараюсь перевести вашу речь королю.

Сильвио (в нетерпении).

Кто он такой? Как он сюда проник?

Панталоне.

Он — человек. Он — мальчик, ученик.

Андриюша (подсказывает). 117-й мужской школы. Андриюша Попов.

Панталоне (отмахиваясь от Андриюши).

Знаю, знаю... Был болен он.

Заснув, увидел сон.

Во сне попал к нам в королевство он.

Печальные увигев всюду лица,

Он захотел повеселиться!

И, рассказав какой-то анекдот,

Он рассмешил наш карточный народ.

Мне кажется, что знает он едва ли

О нашем горе и печали...

Сильвио.

Раз чужеземец рассмешил народ,

Быть может он и сына мне спасет.

Панталоне.

Нам принца возвратит, а вам
родного сына!

Бригелла.

Я знаю, будет против медицина!

Клариче.

Как можно допускать к больному шарлатана

По меньшей мере, это странно.

Принц нездоров, серьезно нездоров.

Бригелла.

Консилиум придворных докторов...

Сильвио.

И слышать не хочу о медиках
придворных,

Их знания не стоят ничего!

Я болен сам от их советов вздорных!
Вот кто спасет Тарталью моего!

(Показывает на Андриюшу.)

Я буду у себя в опочивальне!

С известием пришлите мне гонца.

О, тяжкий рок! Нет ничего печальней
Седого одинокого отца!

(Плача, уходит.)

Бригелла (Панталоне). Зачем вы тер-

заете короля? Зачем вы сбиваете его своими глупыми советами? Кого вы хотите вести к принцу? Кого? Вы его знаете? Вы его проверили?

Клариче (возмущаясь). Хватают на улице первого встречного-поперечного и поручают ему лечить наследника!

Андрюша. Тихо, тихо! Что значит первый встречный-поперечный? Я честный советский гражданин! А лечить я все равно никого не буду! Я не доктор!

Панталоне (Андрюше). Тебя просил король! Идем со мной!

Андрюша. Я королям не подчиняюсь! Бригелла (кричит на Андрюшу). Вон отсюда!

Андрюша. Куда вы меня тянете? Куда вы меня гоните?

Панталоне. Идем, идем за мной!

Андрюша (вырывая руку). Никуда я за вами не пойду! Что за начальство! Что за нахальство!

Бригелла (кричит). Сейчас же выкиньте его за ворота!

Клариче (кричит). Что за мерзкое существо?.. Уберите его отсюда!

Андрюша. Попробуйте только! Ишь, какие!

Бригелла. (Панталоне). Я приказываю вам...

Панталоне. Не смейте мне приказывать. Не забывайте, что вы пока еще только министр без портфеля! (Роняет портфель.)

(Андрюша быстро поднимает его.)

Андрюша. Вы уронили портфель!

Панталоне (быстро). Спасибо! (Бригелле.) Вы этого портфеля не увидите, как своих ушей! (Трясет портфелем.)

Бригелла. Вы не зря за него так держитесь! Вы уронили его — это плохая примета.

Панталоне. Я не суеверный!

Бригелла. Вы слишком глушы, чтобы во что-нибудь верить!

Панталоне. А вы... а вы... а вы... Андрюша (подсказывает). Моченая сеledка!

Панталоне. Верно подмечено! Ха-ха-ха! Моченая сеledка!

Андрюша. Вобла! Таранка!

Панталоне. Правильно. Баранка. С дырочкой! Бублик проклятый! (Уходя, тянет Андрюшу за собой.)

Андрюша (в дверях). Не на таких напали! Наша возьмет! Наша, а не ваша!

Панталоне. Правильно! Даша, а не Маша!

(Уходит.)

Клариче. Вы Двойка, а не Валет! Неужели вы не могли сдержать себя? Ну, что же вы теперь молчите? Чего вы ждете? Этот подкидной дурачок смешает нам теперь все карты. Принц начнет смеяться, нас всех поднимут насмех, и все наши планы рухнут. Принц поправится и сядет на трон. А я на что сяду? Я вас спрашиваю, на что я сяду?

Бригелла. Еще не все потеряно.

Клариче. Думайте. Изобретайте.

Бригелла. Думаю. Изобретаю.

Клариче. Находите выход из положения!

Бригелла. Нашел! Придумал.

Клариче. Что? Что вы там придумали?

Бригелла. У меня есть родная двоюродная тетка. Настоящая ведьма. На днях ей исполнилось двести целых и пять десятых лет. Ее мать была известная колдунья, бабка тоже. Вообще все в роду у них были колдуньи, лешие и домовые. Она нам поможет. Ее зовут Моргана.

Клариче. Моргана? Дама Пик?

Бригелла. Да, это она.

Клариче. Вызывайте ее. Скорее, срочно!

Бригелла. Сегодня в полночь я свяжусь с ней по золотому проводу. Не волнуйтесь, принцесса. И вообще, еще неизвестно, что возьмет верх — смех или слезы.

Занавес

Интермедия первая

Перед занавесом появляется Шут. У него в руке лист бумаги. Он читает про себя то, что на нем написано. Вздрагивает, оглядывается.

Шут. Я больше не могу. Бригелла сочиняет для принца такие страшные рассказы, что даже у меня на голове волосы дыбом становятся. (Снимает колпак и вытирает платком лысину.) Одна рассказка страшней другой. И я должен их рассказывать. Какое мученье. (Читает про себя.) Ой, как страшно! Ой, опять про удушенника. Опять про убийство... Подумать только, я прочел их принцу уже сто де-

сят штук! Да, это сто одиннадцатая... Я скоро сойду с ума. Как мне найти работу по специальности? Я ведь был когда-то хорошим веселым шутом. От моих шуток все катались по полу со смеху. А теперь, что со мной стало? Я сам стал таким нервным, таким нестроумным, таким грустным. Я сам себя не узнаю. (Читает про себя. Нервно подергивается.) Это кошмар какой-то, а не сочинение для большого ребенка! (Уходит.)

(Появляются Панталоне и Андриуша.)

Андриуша. Ваша фамилия Панталоне?

Панталоне. Да, Панталоне.

Андриуша. Некрасивая фамилия. Панталоны какие-то.

Панталоне. Я сам испытываю большие неудобства со своей фамилией. Король Сильвио, который меня очень уважает, часто кричит: «Где мой Панталоне, где мой Панталоне», а слуги вместо того, чтобы позвать меня, бросаются искать королевские штаны.

Андриуша. А почему у вас во дворце разговаривают стихами?

Панталоне. Его червовое величество король Сильвио VII не понимает грубой прозы. Сам он говорит только стихами и обращаться к нему можно только в стихах. Таково королевское воспитание. А между собой мы разговариваем нормально.

Андриуша. Это же страшно неудобно, говорить все время в рифму.

Панталоне. Ничего не поделаешь. Положение обязывает.

Андриуша. А если у короля вдруг рифму заест?

Панталоне. О, это может кончиться очень печально.

Андриуша. Уже были такие случаи?

Панталоне. Много лет тому назад король Пик-надцатый решил уничтожить все масти в колоде и оставить одну — масть пик. Этот номер у него не прошел, так как в самый решительный момент, когда он обращался с воззванием к войскам, у него застряла в горле рифма на слово «железо». И никто не мог ее подсказать ему. Он задохнулся и умер. С этих пор, во избежание повторения подобных случаев, специальным королевским указом заведен «Справочник всех возможных и невозможных королевских рифм». И министр с портфелем должен всегда иметь его при себе в портфеле. Где мой портфель? Он был у меня подмышкой!

Андриуша. Вы его где-нибудь забыли.

Панталоне (вспоминает). Когда мы выходили из тронного зала, он был у меня в левой руке. Мы поднялись по атласной лестнице, я держал его в правой руке. Куда мы еще ходили?..

Андриуша. Мы заходили...

Панталоне. Вспомнил! Бубновый валет заходил в туалет!.. Там я его и оставил висеть на гвоздике! (Убегает. Андриуша остается один. Занавес медленно поднимается, открывая покой принца Тарталья.)

КАРТИНА ВТОРАЯ

Полумрак. Грустная музыка за сценой. Под балдахинном кровать принца Тарталья. Освещенный двумя большими синими лампами, полулежит в подушках Тарталья. Рядом столик с лекарственными. Окно занавешено тяжелыми шторами. На полу возле кровати сидит Шут и читает принцу сто одиннадцатую рассказку Бригеллы. Принц плачет. Все это видит Андриуша, оставаясь незамеченным ими.

Шут (читает).

Чудовища вида ужасного
Схватили ребенка несчастного
И стали безжалостно бить его,
И стали душить и топить его,
В болото толкать коварное,
На кучу сажать муравьиною,
Травить его злыми собаками...

Андриуша (подсказывает из темноты).
Кормить его тухлыми раками...

(Шут вздрагивает, прерывает чтение, прислушивается.)

Шут (в сторону). Кажется уже начинает мерещиться! (Придвигается ближе к кровати. Продолжает читать.)

Тут ночь опустилась холодная,
Завыли шакалы голодные,
И крыльями совы захлопали,
И волки ногами затопали,
И жабы в болоте заквакали...

Андриуша (подсказывает из темноты).
И глупые дети заплакали...

(Шут опять вздрагивает, прислушивается. Тарталья поднимает голову и, перестав

плакать, тоже прислушивается.)

Шут (про себя). Я ясно слышал чей-то голос. (Робко.) Эй, кто там? (Тишина.) Попробуем почитать дальше.

(Читает.)

Взмолился тут мальчишка задушенный,
Собаками злыми укушенный,
Запуганный страшными масками...

Андриуша (подсказывает из темноты).
И страшными детскими сказками...

(Тарталья вопросительно смотрит на Шута. Шут пожимает плечами. Прислушивается. Тишина.)

Шут (продолжает читать).

Помилуй меня, о Чудовище!

(Прислушивается. Тишина.)

Скажу я тебе, где сокровище!

(Прислушивается. Тишина.)

Зарыто наследство старушкино

Под камнем...

Андриуша (подсказывает из темноты).
На площади Д...чкина!

(Шут встает и осторожно оглядывает комнату. Останавливается.)

Шут (робко).

Кто кричит из темноты?

Андрюша (тихо).

Ты!

Шут.

Кто тут слушает меня?

Андрюша (так же).

Я!

Шут. Это эхо. Теперь мне все понятно. (Возвращается на свое место. Андрюша выходит из темноты и подходит к постели принца. Шут замирает от страха с листом бумаги в руках.)

Андрюша. Ловко я вас разыграл! Не бойтесь! Я ведь не кусаюсь. Здравствуйте. Что у вас тут — затемнение?

Шут. А что?

Андрюша. Почему синий свет горит?

Шут. А-а-а!

Андрюша (протягивает руку принцу). Андрюша Попов. (Хочет пожать ему руку.)

Тарталья (не поднимая руки).

Я слаб. Руки мне не поднять.

Как вы не можете понять...

Андрюша. Ну, не хотите — не надо. А что с вами? Чем вы больны?

Тарталья (слабым голосом).

Я десять лет лежу больной,

Врачи хлопочут надо мной

Никто не может мне помочь

Несчастный я Валет.

Я пью лекарства день и ночь,

Ложусь под синий свет.

В себя я всыпал семь мешков

Невкусных, горьких порошков:

Хинин, салол, и аспирин,

И сульфазол, и сульфидин,

Касторка, кальцекс, даже йод —

Попали в бедный мой живот.

Андрюша. Да-а-а!

Шут. А что?

Тарталья (продолжает).

Я встать боюсь, шагнуть боюсь,

Я в темноте сижу,

Я не играю, не смеюсь,

Гулять не выхожу.

Мне есть дают одно драже,

Безе, суфле и бланманже.

Я стал уже похож на тень

И плачу, плачу целый день...

Андрюша. Да-да-а... Удивительно, как вы до сих пор ноги не протянули. Так у нас даже лошадей не лечат. Хорошо, что я вовремя пришел. Давайте я вас посмотрю. (Садится на край кровати). Что у вас болит? Голова болит? (Принц отрицательно качает головой.) Живот болит? (Показывает принцу на живот. Принц отрицательно качает головой.) Покажите язык! Вот так! (Показывает свой язык. Принц делает то же.) Хорошо. Язык не обложен. Теперь скажите «А-а».

Тарталья. А-а.

Андрюша. Горло в порядке. Температура у вас есть? (Трогает лоб принца.)

Все ясно. Вы — симулянт. Вы совершенно здоровы! А здоровому организму лечиться вредно! Вам нужно немедленно встать с постели. Почему вы сидите в такой темной, душной комнате? Вас никогда не проветривают. Вот я сейчас открою окно! (Подходит к окну и отодвигает шторы. Яркий солнечный свет врывается в комнату. Принц закрывает лицо руками.)

Тарталья.

Не открывайте! Я боюсь.

Нельзя, сквозняк! Я простужусь.

Андрюша. Ничего! (Распахивает окно. Свежий ветер колыхнет кружевную занавеску.)

Тарталья.

Апчи! Мне вреден белый свет!

Ой, колет бок! Ой, пульса нет!

Спасите! Я умру сейчас!

Лекарство! Умоляю вас!

Скорей, чтоб не было беды:

Сто капель на стакан воды,

Быстрее из того горшка

Пять чайных ложек порошка!

(Шут бросается исполнять приказание принца. В дверях появляется Панталоне. Он в изумлении останавливается и не может произнести ни слова. Андрюша хватается с тумбочки большую склянку.)

Андрюша. Нет, уж никаких лекарств!

Тарталья (тянется к склянке).

Здоровье бедное мое!

О, драгоценное питье!

Андрюша. Нет уж, будет по-моему! (Выбрасывает склянку за окно.)

Панталоне (всплеснув руками). Может быть, я еще поймаю ее, пока она не долетела до земли! (Выбегает.)

Шут (в ужасе начинает причитать).

Схватили тут мальчика бедного,

От страха и ужаса бледного,

От страшных мучений дрожащего,

Три дня бездыханно лежащего,

В стоячей, болотной воде...

Андрюша. Что это?

Шут. А что?

Андрюша. Вот я и спрашиваю: что?

Шут. А что «что»?

Андрюша (Шуту). Что вы тут читаете?

Шут (протягивает Андрюше лист бумаги). Сто одиннадцатую рассказку. Я не виноват. Меня заставляють, я и читаю. Я сам боюсь.

Андрюша. Кто вас заставляет? Кто вы такой?

Шут (чуть не плача). Я бывший королевский шут. А теперь я сам не знаю, кто я такой... Меня переназначили. Каждый день я читаю принцу Тарталье вот такие истории.

Андрюша. Разве можно читать вслух такую гадость? Разве эти стихи для детей? Кто их сочинил?

Шут. Брр... Брр...

Андрюша. Вот видите, вам тоже не

нравится. Кто сочинил эту страшную чепуху?

Шут. Бригелла! Это он их сочиняет. Каждый день новую. Одна страшнее другой.

Андрюша. Зачем он их сочиняет? Он что, детский писатель?

Шут. Он министр без портфеля. Он сочиняет для принца такие истории, чтобы принц больше плакал. Врачи прописали принцу слезы. Чем больше он выплачет слез, тем скорее он поправится.

Андрюша. Принц здоров! Здоровому человеку нужен смех, а не слезы! Тарталья, вы слышали? Они над вами издеваются. Они заставляют вас плакать! Вот! Вот! Вот! (Рвет рассказку на четыре части.)

Шут (стонет). Что вы сделали! Что вы сделали! Это же единственный экземпляр. Теперь мне попадет!

Андрюша. Я с этим Бригеллой сам поговорю! (Принцу.) Вы еще не встали? Вставайте, вставайте! Если хотите быть здоровым, слушайте меня. Вы умеете делать зарядку?

Тарталья.

Зарядка? Как это понять?

Что заряжать? Куда стрелять?

Андрюша. Стреляют на войне и на охоте. А зарядка это совсем другое. Я вам сейчас покажу. Только давайте условимся не говорить стихами.

Тарталья.

Я не умею, не привык.

К стихам приучен мой язык...

Андрюша. А вы попробуйте. Не обязательно все время говорить в рифму.

Тарталья.

А как же нужно говорить?

Ведь я...

Андрюша (быстро). Нет, нет! Вторую строчку не нужно. А то сейчас скажете «благодарить» или «подарить», и опять стихи получатся!

Тарталья (неуверенно).

Я по-ста-раюсь... Я го-тов...

Я только очень не-здо...

(Спохватившись) болен!

Андрюша. Хорошо. Замечательно. Я вас научу говорить нормально. Вы, кажется, еще не совсем испорчены и понимаете прозу. Не так, как ваш папа — король!

(Принц в длинной рубашке вылезает из кровати и спит, пошатываясь.)

Андрюша. А теперь смотрите, что я буду делать. (Приготовился к зарядке). Эх, жалко музыки нет! Зарядку нужно делать под музыку! (Шуту.) Вы умеете на чем-нибудь играть?

Шут. А что?

Андрюша. Вы умеете играть?

Шут. Во что? В футбол?

Андрюша. Я спрашиваю не во что, а на чем?

Шут. На стадионе?

Андрюша. Да нет! На каком-нибудь музыкальном инструменте?

Шут. А-а! Я умею когда-то играть на барабане. Но теперь барабаны у нас запрещены.

Андрюша. Вот гребень.

Шут. Мне не надо, я лысый.

Андрюша. Вот бумага. (Поднимает с пола разорванную рассказку, дает Шуту.) Попробуйте поиграть нам на гребешке. Вот так! (Показывает. Передает гребень Шуту. Шут пробует играть.) Веселее, веселее... Играйте марш!

(Шут сначала неуверенно, затем все лучше и лучше играет марш. Постепенно входит во вкус.)

Андрюша (Тарталье). Начинаем! Вдох. Выдох. Раз. Два. Вдох носом, выдох через рот. Ноги не сгибать в коленях. Кончиками пальцев касаться земли. Не так. Вот так. (Показывает.) Не качайтесь. Где выдох? Не задерживайте воздух! Руки на бедра! Где у вас бедра? Это не бедра! Это — подмышки! Отставить! Эх, вы, принц!..

(Принц задыхается, но с видимым интересом повторяет движения Андрюши. Шут играет на гребешке.)

Андрюша (поет песенку).

Жил-был на свете паренек,

Очень славный паренек,

Был этот славный паренек

И весел и удал.

Его видали там и тут.

И здесь и там, и там и тут,

Но как парнишечку зовут

Никто вокруг не знал!

Он — Володя или Миша,

Или Саша, или Гриша,

Или Николай.

Может Коля, Может Витя.

То ли Томя, то ли Митя,

То ли Ермолай!

Он на «Митю» — откликался

И на «Голю» — улыбался,

Крикнешь: Степа, где дедался? —

Он уж тут, как тут.

И никто, как ни старался —

Не узнал, не догадался,

Как его фамилия, и как его зовут.

На сегодня хватит. Если каждый день будете так заниматься по десять минут, а потом обтираться мокрым полотенцем, через два месяца вас никто не узнает в вашем королевстве. Устали?

Тарталья.

Я ваш совет согласен слушать.

Но я хочу ужасно ку... ку... ку...

(Спохватывается) есть!

Андрюша. Вот, видите. Сразу аппетит появился!

(В дверях появляется Панталоне. В руках у него склянка, которую Андрюша выбросил в окно.)

Панталоне. Все-таки я поймал ее! Почти у самой земли! Еще бы одно мгновение и склянка разлетелась бы вдребезги! Вот она! (Протягивает принцу склянку.)

(Принц хватается ее, и выбрасывает в окно слышен звон разбившегося стекла. Тарталья хохочет.)

Панталоне. На этот раз долетела! Тарталья я (топает ногой).

Чаю! Кофе! Молока!

Хлеба! Сыра! Пиро... пиро...

(Взглянув на Андриюшу.) Бутербродов!

Панталоне (восклицает).

Что скажет королевский врач,

Колодный доктор Кукарач!

Наш принц здоров! Здоров! Здоров!

Какой удар для докторов!

(Шуту.)

Беги скорее к королю! Будь счастливым вестником!

(Шут убегает.)

Панталоне (Андриюше). Поздравляю! Поздравляю! Его величество по заслугам оценит вас. Вы наверняка получите высокое звание королевского лейб-медика по внутренним делам. Вам подарят карточный домик с садом и огородом!

Андриюша. Что вы! Что вы! Мне ничего не надо! У нас есть в деревне дача и огород! И потом, какой я медик! Я еще школу не кончил!

(Тарталья взбирается на подоконник и с любопытством наблюдает за тем, что происходит на улице. За стеной слышны голоса, шум. В комнату врывается Бригелла, за ним слуги, доктора.)

Бригелла (кричит).

Кто разрешил открыть окно?

Кто дал больному встать с постели?

Андриюша.

Я разрешил.

Бригелла.

Да как вы смели?

Андриюша. Ваш принц совершенно здоров! Зачем же ему лежать в кровати? Десять лет провалялся — довольно!

Бригелла (тянет с окна Тарталью).

Извольте лечь в постель!

Смертельно вы больны!

Вы губите себя!

Вы, как мертвец, бледны.

Тарталья (упирается).

В кровать не лягу! Я здоров!

Я ненавижу док... док...

Лекарей! (Показывает на докторов. В дверях появляется Сильвио, за ним Клариче и Шут.)

Сильвио.

Сын мой здоров. Не верю! Это сон!

(Бросается на шею сыну.)

Кто вылечил тебя? Скажи скорее!..

Тарталья (показывает на Андриюшу). Он!

Сильвио.

Чтоб вас благодарить, поверьте, мало слов!

Прошу вас извинить, забыл я ваше имя!

Панталоне (подсказывает). Андриюша, Андриюша (жмет руку Сильвио). Очень рад.

Сильвио (с трудом выговаривая). Андрию-ша!

Андриюша. Да, Попов.

Сильвио.

Отныне вы равны с Валетами моими!

Андриюша (растерянно). Зачем? Я же ничего не сделал! Что вы, что вы...

Сильвио (всем).

Зовите слуг! Накройте пышный стол!

Попшите за вином! Гонцов ко всем соседям!

Всем объявить: я счастье вновь обрел!

Панталоне.

Какой момент! Мне кажется, мы бредим!

(Умиленно смотрит на принца.)

Сильвио.

Чтоб грустной музыки я больше не слышал!

Печалиться сегодня нет причины!

В честь своего единственного сына

Я назначаю — карнавал!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Интермедия вторая

Панталоне сидит за столиком. Справа от него окошечко. Рядом афиша: «Сегодня и ежедневно королевские торжества. Карнавал». На столике лежит портфель. Поминутно звонит телефон.

Панталоне. У телефона Панталоне! Что? Да. Спектакль «Любовь к трем апельсинам» отменяется. Сегодня — королевские торжества. Нет, к сожалению, ничем помочь не могу. (Кладет трубку).

(Звонит телефон).

Панталоне слушает! Что? Да. Выход только в масках. Не в касках, а в масках. (Кладет трубку). Замучился я с этим карнавалом. Все — на мне. Маски — я. Тур-

мир — я. Танцы — я. Все — я! Панталоне — туда. Панталоне — сюда. Фигаро — тут. Фигаро — там. Фигаро — тут. Фигаро — там. Фигаро, Фигаро, Фигаро, Фигаро-о-о!

(Звонит телефон.)

Панталоне слушает. Кого? Нет, его здесь нет. (Кладет трубку.) Подумаешь, Бригеллу спрашивают! А что Бригелла? Только ходит и восхищается. Ах, как прелестно! Ах, как замечательно! Ах, Панталоне, будьте любезны! Он даже переменял ко мне отношение с тех пор, как Тарталья поправился. По-моему, он меня даже стал немного побаиваться.

(Звонит телефон.)

Слушаю. Кто? А-а-а! Узнал, узнал. Вы придете? Хорошо. Сколько? Десять мест? Хорошо. В кассе на ваше имя. Будет оставлено. Нет, нет, не беспокойтесь. Между прочим, завтра я хочу к вам подослать за тем, помните, что вы обещали. Ну, что мы у вас всегда берем. Хорошо? Спасибо. До свидания! (Кладет трубку.) Все хотят попасть на карнавал! Все!

(Стук в окошечко. Панталоне открывает его. Шум голосов. Слышны возгласы: «У кого есть лишний билетик?» «Не лезьте без очереди!» «Пропустите!» — Пропустите!» «Я сама хочу попасть!» «Администрация!»)

Панталоне (просовывает голову в окошечко). В чем дело? В чем дело? Гражданка Девятка! Встаньте за Десяткой! Без очереди никого не пропустят!

(В окошечке появляется лицо.)

Лицо. Почему меня не пропускают?

Панталоне. Гражданка Двойка пик, Вас пропускать не приказано.

Лицо. Это несправедливо! Я через месяц буду Тройкой!

Панталоне. Не в Тройке дело. Сегодня пикам вход запрещен. (Хочет закрыть окошечко.)

Лицо. Это нехорошо! Это некрасиво! Чем мы хуже?

Панталоне. Ничем не могу помочь! Такова воля короля! (Закрывает окошечко.) Уф! Устал. Да, чуть было не забыл! Алло! Станция! Дайте мне «двадцать одно»! Алло! Откуда говорят? Что? Ошибка! Неправильно соединили. Перебор! Станция! Я просил «двадцать одно»! Спасибо. Это Панталоне. Как у вас там? Все готово? Что? Хорошо, я сейчас зайду. (Кладет трубку.) Надо добавить барабанов!

(Появляется Бригелла.)

Бригелла. Любезнейший Панталоне! На вас лица нет!

Панталоне (рассеянно). Чего нет? (Осматривает себя.) Нет, все в порядке. А-а! Да-да. Я очень устал. Вы не знаете, где достать еще барабанов?

Бригелла. Зачем? Я был в оркестрах, барабанов достаточно. Я ходил по парку и удивлялся. Неужели это вы все придумали?

Панталоне (гордо). А кто же!

Бригелла. Принцесса Клариче просила меня передать вам свое восхищение. Вы не были на дворцовой площади?

Панталоне. А что там произошло?

Бригелла. Толпы народа стремятся попасть на карнавал.

Панталоне (озабоченно). Надо еще раз предупредить стражу, чтобы усилили надзор за пиками.

Бригелла. Что могут сделать несчастные пики? В конечном счете их так мало в нашей колоде!

Панталоне (уклончиво). Не знаю, не знаю. Король строжайше запретил этой масти участие в торжествах.

Бригелла. Почему?

Панталоне. Мы с вами одной масти, и я могу быть с вами более или менее откровенным. Король получил анонимное письмо, в котором его предупреждают о том, что недалеко от дворца видели старую Даму пик. Как бы нам эта ведьма не испортила весь праздник!

Бригелла (деланно смеется). Ха-ха! Ерунда! Откуда ей взяться! Дама пик! Ха-ха!

Панталоне. Вот вам и «ха-ха»! А потом с меня спросят!

(Звонит телефон.)

Опять.

Бригелла. Чем я могу помочь вам, любезный Панталоне?

Панталоне. Подойдите к телефону! Кстати, вас тут кто-то спрашивал. А я побегу. Где мой портфель? (Хватает портфель. Чуть-чуть не забыл.) (Убегает).

Бригелла (ему вслед, зло). Скоро ты о нем совсем забудешь! (Снимает трубку.) Слушаю. Нет. Бригелла. Кто? Моя принцесса? Да, это я. Панталоне вышел по своим дурацким делам. Не теряйте ни одной минуты. Я пропущу вас через служебный ход. Не беспокойтесь, в этом костюме ее никто не узнает! Спешите! Я встречу вас. (Кладет трубку.) Так. Хорошо! Тетка здесь. Кто ее мог видеть возле королевского дворца? Какая чепуха. Не может этого быть!

(За занавесом играет веселая музыка. Появляется Клариче и неизвестная фигура в костюме молодой девушки в маске с юным девичьим лицом. Бригелла встречает их. Все трое молча проходят за занавес.)

них, а потом показывает на апельсины, лежащие перед Морганой. Служанка смущена.)

Тарталя (Сильвио).

Отец! Отец! Скажи, отец,
Чтоб дали апельсинов, наконец!
Я эти не хочу! Они плохие!

(Показывает на апельсины Морганы.)

Хочу другие! Вот такие!

Сильвио.

Желанье сына для меня закон!
Ни в чем отказу не узнает он!

(Говорит что-то служанке, показывая на Моргану. Служанка убегает. Выезжают два всадника на двух шахматных конях. Всадники делают круг, раскланиваясь со зрителями. Им аплодируют.)

Тарталя (позабыв уже про апельсины).

Отец!.. Отец! Скажи, чтоб для меня
Сейчас же вывели коня!

(Взглянув на Андришу, поправляется.)
Лошадь!

Сильвио (Бригелле).

Желанье сына для меня закон!
Подать коня! Пускай сразится он!

(Бригелла показывает что-то слугам. Те подходят к одному из всадников, и всадник слезает со своего коня. Коня подводят к ложе. Тарталя садится на коня и нападает на второго всадника. Начинается поединок. Тарталя старается из всех сил. Всадник шадит наследника. Толпа шумно реагирует. Раздаются крики: «Правей! Левай! Бей его! Мимо!» Громче всех кричит Андриша. Король то и дело вскакивает со своего места. В ложе гостей появляется служанка, посланная королем. Она наклоняется к Моргане и что-то говорит ей, показывая то на апельсины, то на Сильвио. Моргану кивает головой.)

Сильвио.

Вот это мужество! Кровь предков
узнаю!

Принц выйдет победителем в бою!

(Начальник королевской стражи подходит к Панталоне и что-то шепчет ему на ухо.)

Панталоне. Чорт возьми вас вместе со всеми нашими патрулями и заставами! Я ведь приказал, чтобы следили зорче! Как же она прошла!

Начальник стражи. Я... я... я не знаю. Я следил лично сам, но ничего не заметил. Я пиков не пускал. Ей-богу.. А как ее узнаешь. Они же все в этих... в как их?

Панталоне. В чем «в этих»? В чем «в как их»?.. Опять от вас вином разит!..

Начальник стражи. Чутьочку... Так вот я и говорю: гости же все в этих... в как их?...в масках! Не могу же я всем дамам под маски заглядывать. Это же неприлично!

Панталоне.

Схватить во что бы то ни стало!
Поймать! Связать! Пытать! ать... ать...
Ступай, покуда не досталось!

(Начальник стражи уходит. Моргану бросает под ноги коню, на котором сидит Тарталя, один за другим три апельсина. Тарталя тянется к ним. Падает с коня. Все замирают. Всадник отъезжает в сторону. Темнеет. Вдали гремит гром. Апельсины исчезают.)

Моргану (встает в ложе, закликает).

Жадность твоя овладела тобой,
Ты потеряешь навеки покой!
К трем апельсинам ты будешь
стремиться,

Думать о них, и мечтать, и томиться!
Ты апельсины захочешь найти,
Много опасностей встретишь в пути!
Много опасностей встретишь в пути!
Чем доведешь до могилы отца!
Три апельсина — спасенье твое!
Три апельсина — проклятье мое!

(Снимает с себя маску. Перед зрителями безобразное лицо колдуньи.)

(Гремит гром.)

Бригелла.

Моргана! Вельма! Кто ее впустил?

Сильвио (вопит).

О, небо и земля! Придите мне на
помощь!
Проклятье слышал я! О, горе, горе
мне!

Эй, все сюда! Рифму!.. Рифму!..

(Задыхается, падает в обморок.)

(Панталоне бросается к нему. Тарталя стоит посередине двора и механически повторяет проклятье. Моргану уже исчезла.)

Тарталя.

Три апельсина — проклятье твое!
Три апельсина — спасенье мое!
Три апельсина... Три апельсина...
(Шатаясь, идет к воротам.)

Андриша (прыгает из ложи. Бежит к Тарталье). Стой! Ты куда!

Тарталя (плохо соображая).

Пусти меня! Я должен их найти!

Пусти меня! Я должен их сорвать!..

Андриша. Ты что, с ума сошел?
Стой! Куда ты!

Сильвио (придя в себя, кричит)

О, где я? Что со мной?

О, горе! О, напасти!

Тарталя (кричит как безумный).

Где шпага? Где рюкзак?

Не трогайте меня!

(Убегает.)

Андриша. Тарталя, ты куда?

Панталоне. Вот горе! Вот несчастье!

Андриша. А ну, продуктов выдать нам в дорогу на три дня!

(Бежит вслед за Тарталей.)

Интермедия третья

Перед занавесом, на котором изображены заросли леса карточного королевства, Андриуша тащит обессиленного Тарталья.

Андриуша. Вот тут давай передохнем. Замучился я с тобой. Куда это мы забрели?

Тарталья (бормочет). Три апельсина... Три апельсина я должен найти...

Андриуша. Перестань бормотать! Загадил про свои апельсины: «Три апельсина... три апельсина...» Разве так, сломя голову, бросаются в такую дорогу. Надо было взять с собой карту, компас, вещевые мешки с продовольствием. Потом вообще надо знать, куда идти. Эх, ты, Валет!

Тарталья. Я голоден.

Андриуша. Я сам, брат, голоден.

Тарталья. Я пить хочу.

Андриуша. Я тоже, брат, хочу... Только ни есть, ни пить нечего.

Тарталья (бормочет). Три апельсина...

Андриуша. И апельсинов, брат, нету. Ничего у нас с тобой нету. (Оглядывается.) Какой-то лес кругом... Хорошо, что я на деревьях пометки делал, можно хоть назад дорогу найти. Ты только, пожалуйста, не думай, что я испугался! Я могу и вперед идти, вот ты-то едва ли. Сюда кое-как дотащился. Если бы не я, завяз бы в болоте или разбился бы ты в какой-нибудь пропасти. Также мне — альпинист! Десять лет в кровати лежал, едва на ноги встал и вдруг в горы собрался. Смотрю я на тебя и удивляюсь. Ну на что ты годишься! На что, я тебя спрашиваю? Отвечай, когда с тобой человек разговаривает! А то брошу вот здесь, на этом самом месте, и пойду один.

Тарталья. Не кричи на меня... Три апельсина... Не бросай меня... Мы найдем апельсины... Идем... идем...

Андриуша. Куда? Куда пойдем? На север? На запад? На юг? На восток? Ты же сам не знаешь, куда нам нужно идти. Где растут эти твои апельсины? В саду? В огороде? В лесу? Или просто лежат на прилавке в каком-нибудь магазине? Подумай сначала, куда нам нужно идти, а я пока посижу, отдохну немного. Я же тебя почти всю дорогу тащил на себе.

(Принц сидит, опустив голову. Андриуша ложится. На прощениум выходит Шут. Увидев Тарталью и Андриушу, он рыдая, бросается к ним в объятия.)

Андриуша. Что с вами? Что случилось? Встаньте!

Шут (рыдая). Я... я... я... думал, что никогда вас больше не увижу... Я... я... я так бежал, так бежал за вами... (Плачет.)

Андриуша. Что с вами? Как вы нас нашли?

Шут. По... по... по... за... зарубкам на деревьях.

Андриуша (Тарталье). Слышал! Вот что значит зарубки! (Шуту). Ну рассказывайте, что вы хотели сказать, Зачем вы нас искали?

Шут (выпаливает залпом). Его величество король Сильвиз слег в постель от горя и тоски. Бригелла не отходит от кровати больного и сам рассказывает ему день и ночь свои страшные рассказы. Бедный король плачет, плачет, плачет и день и ночь. Слуги не успевают выносить тазы со слезами. С Панталоне король не хочет даже разговаривать и теперь ходит без Панталоне. Он в гневе на него за то, что Панталоне пропустил на карнавал эту проклятую ведьму Моргану. (Плачет.) Бедный Панталоне опять потерял свой портфель, а Бригелла нашел его и прячет, не отдает. Клариче всеми командует. Во дворе запустение и печаль. Панталоне сказал мне, что одна надежда на вас. Если вы не найдете то, что ищете, и не вернетесь домой благополучно, то все пропало!

Андриуша. Проклятый Бригелла! Мы обязательно найдем то, что мы ищем. (Толкает Тарталью.) Тарталья! Ты слышал, что сказал Шут? Да очнись ты, несчастный!

Тарталья. Я есть хочу.

Андриуша (Шуту). Горе мне с ним.

Шут. Да! Вы же продукты взять с собой забыли! Я вам захватил. Вот масло, а вот бульерброды с икрой. (Передает.) (Тарталья набрасывается на еду, жадно ест.)

Андриуша (Тарталье). Смотри, все не съешь. Это вот моя часть!

Тарталья (Бормочет).

Три апельсина должны мы найти...

Три апельсина должны мы найти...

Андриуша (Шуту). Опять забормотал свое. Три апельсина! А где они находятся, — никто не знает.

Шут (вспоминая что-то, восклицает). Знает! Знает! Чуть было не забыл. Панталоне приказал мне передать вам вот это... (начинает что-то искать по карманам...) вот это...

Андриуша. Что? Что велел передать нам Панталоне?

Шут (ищет, не может найти). Вот это... Нет, не то! Вот это... опять не то... Куда я его засунул?.. Здесь нету... Здесь тоже нету... Неужели в портфеле остался? Тогда всё пропало!

Андриуша (помогает ему искать). Что «вот это»? Что?

(Из кармана Шута летят какие-то бумаги, бечевки, всякий хлам. Наконец Андриуша лезет к нему за пазуху и вытаскивает большой конверт за пятью печатями.)

Шут. Вот это письмо.

А н д р ю ш а (читает адрес на конверте).
«Горно-лесной бубновый район. Гора
Флеш. Королевская обсерватория. Стар-
шему научному сотруднику Универу.
Срочно. Лично. В собственные руки. От
Панталоне».

Шут. Это родной дядя Панталоне. Он
один знает, где могут быть апельсины.
Колдунья Моргана была когда-то в него
влюблена и доверила ему несколько своих
тайн.

А н д р ю ш а (оглядывается). Горно-лес-
ной район. По-моему, мы недалеко от це-
ли. Тарталья, вставай! Надо торопиться,
пока еще не стемнело!

Т а р т а л ь я (поднимается).
Три апельсина — спасенье мое!
Три апельсина...

(Андрюша и Тарталья уходят вперед. Шут
направляется в другую сторону.)

А н д р ю ш а (поет свою песенку).

Жил-был на свете паренек,
Очень славный паренек,
Был этот славный паренек
И весел и удал.

Его выдали там и тут,
И здесь и там, и там и тут,
Но как парнишку зовут
Никто вокруг не знал!

Он — Володя или Миша,
Или Саша, или Гриша,
Или Николай.

Может, Коля. Может, Витя.
То ли Толя, то ли Митя,
То ли Ермолай!

Он на «Митю» — откликнулся
И на «Толю» — улыбался,
Крикнешь: Степа, где девался. —
Он уж тут, как тут.

И никто, как ни старался —
Не узнал, не догадался,
Как его фамилия, как его зовут.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Внутренность башни замка Универа. Ночь. Универ смотрит
в большой телескоп на звездное небо.

Универ (считает звезды). Двадцать
семь миллионов сто пять тысяч восемна-
дцатая, двадцать семь миллионов сто пять
тысяч двадцатая, двадцать семь миллио-
нов сто пять...

(Звонят пять раз.)

Это ко мне. Войдите!

(Входят Андрюша и Тарталья.)

А н д р ю ш а. Можно к вам?

Универ. Раз вы вошли, значит вы
уже здесь. Кто там?

А н д р ю ш а. Это — мы.

Универ (сердито). Опять меня сбили
со счета. 37 и 8! Теперь опять придется все
звезды считать сначала. Заниматься не-
возможно! Кто вы? Откуда? Что вам от ме-
ня надо? Я занят научной работой.

А н д р ю ш а. Простите, пожалуйста. У
нас есть к вам письмо от вашего родного
племянника Панталоне.

Универ. Письмо?

А н д р ю ш а. Да. Срочное. Личное. В
собственные руки.

Универ. Странно. Уже сто лет не по-
лучал писем. Давайте-ка его сюда!

(Андрюша передает письмо.)

Универ (прочитав письмо). Так... так...
Понятно... (Андрюше, улыбаясь). Ну, как
он там? Портфель у него еще не отобра-
ли?

А н д р ю ш а. Он его сам все время те-
ряет. Потеряет, а потом бегаёт, ищет по
всему дворцу. А последний раз потерял, а
Бригелла нашел, спрятал и не отдает.

Универ. Этот Бригелла очень непри-
ятная личность. Удивительно, как король
Сильвио его еще не раскусил. А мой Пан-
талоне — добрый, славный малый. Совер-
шенно неприспособленный к дворцовой
жизни. Кто же из вас принц Тарталья?

А н д р ю ш а. Конечно, не я. Мой папа в
театре работает, а у него — король. (Пока-
зывает на Тарталью.) Вот он типичный
принц. Разве не заметно?

Универ (Тарталье). Вы принц Тар-
талья?

Т а р т а л ь я (вяло). Три апельсина я
должен найти...

Универ. Так вы хотите знать, гд-
можно найти три апельсина?

А н д р ю ш а. Да. Нам это очень необхо-
димо. Ведь вы прочли письмо?

Универ. Вот что, молодые люди, от-
правляйтесь-ка домой и забудьте о них!

А н д р ю ш а. Я-то, может быть, и мог бы
вернуться домой без апельсинов, а вот о-
не может. У него дома сложилась такая
обстановка...

Универ. Это невозможно. Давайте об
этом не будем!

А н д р ю ш а. Почему это невозможно?!

Универ. Раз я, молодой человек, го-
ворю, что невозможно, значит, невозмож-
но. Если бы это было возможно, я бы их
сам достал. Я тоже люблю апельсины.

А н д р ю ш а. Панталоне сказал, что вы-
маг. Волшебник и маг. Универ-маг.
Значит, вы все же можете достать.

Т а р т а л ь я (тупо). Я должен сорвать
три апельсина...

Андрюша (показывая на принца). Слышите. Это с ним уже три дня. Пока мы не достанем апельсинов, у него это не пройдет. Вы знаете, где они растут?

Универ. Предположим, что знаю. Но не скажу.

Андрюша. Почему? Это же не военная тайна!

Универ. Потому что я не хочу, чтобы вы погибли из-за каких-то трех апельсинов.

Андрюша. Мы не погибнем. Вы только скажите. Неужели вам трудно сказать?

Универ. Не трудно, но я не скажу. Я могу вам сказать, где растут яблоки, груши. Но где растут апельсины, я вам не скажу!

Андрюша. Значит, вы не знаете. Это ясно.

Универ. Знаете что, молодой человек. я лучше вас знаю, чего я знаю и чего не знаю, 37 и 8!

Андрюша (быстро). А где растут апельсины?

Универ (залпом). Апельсины растут в волшебном саду Морганы, на квадратном острове Преферанс. Остров этот находится за суконным занавесом нашего театра. Вокруг этого острова вырыт квадратный ров, наполненный кипятком. Через него нельзя ни перешагнуть, ни перепрыгнуть. Ой, проговорился, 37 и 8!

Андрюша (перебивает его). И около рва, на этой стороне лежат две одинаковые доски?

Универ (удивленно). Две доски красного дерева. Откуда вы знаете?

Андрюша. Из задачника. Я эту задачу никак не мог решить.

Универ. Вот видите. Надо знать решение этой задачи, чтобы попасть на остров Преферанс.

Андрюша. Задачу я решу.

Универ. Смело!.. Я — старый ученый, занимаюсь высшей математикой и астрономией, но этой задачи решить не смог. А вы, молодой человек, вдруг взяли и решили. Сколько вам лет?

Андрюша. Двенадцать с половиной, почти тринадцать, скоро будет четырнадцать.

Универ. Маловато.

Андрюша. А вам сколько?

Универ (подумав). Приблизительно пятьсот.

Андрюша. Многовато. А вы можете нарисовать линию без начала и конца?

Универ. Конечно, нет.

Андрюша. А я могу. Дайте мне циркуль и мел!

Универ. Вот циркуль... Смело! Вот мел... Очень смело...

Андрюша (чертит на стене круг). Пожалуйста. Смотрите — вот линия, которая не имеет ни начала, ни конца. Круж!

Универ (растерянно). Пожалуй, вы правы. (Изучает круг на стене). Вы ученый?

Андрюша (гордо). Я — ученик 4-го класса 117-й мужской школы!

Универ. О-о-о!.. Простите, я в вас ошибся. Да. Вы можете попасть на остров. Но это еще не все..

Андрюша. А что еще?

Универ. Сад Морганы окружен стеной, через которую нельзя ни перелезть, ни перепрыгнуть. У входа в единственные ворота сидит лютый пес Туз, которого не кормят уже три года и пять месяцев. Но это тоже еще не все! Ворота в стене — живые. Они хватают каждого, кто пытается через них пройти, и стирают его в зубной порошок. При этом они так скрипят, что уши вянут, потому что с тех пор, как они поставлены, их ни разу не смазывали маслом.

Андрюша. Мы ничего не боимся. Но как же нам дойти до этого острова?

Универ (подумав). Хорошо. Раз уж я вам все выболтал, я вам и помогу! (Достает какую-то коробочку.) В этой коробочке лежит у меня звезда «Путеводигус». Где она упадет, там и будет желанное место. Я дарю ее вам.

Андрюша. Большое спасибо! Благодарю! (Осторожно берет в руки блестящую звезду.)

Тарталя (тупо). Я должен сорвать три апельсина.

Андрюша. Да замолчи ты, пожалуйста! Сидит — ноет: «Должен, должен...» Я лучше тебя знаю, что ты должен! Вставай! Пошли! Спасибо, Маг-Универ-маг! Извините, что мы помешали.

(Принц выходит. Универ останавливает Андрюшу.)

Универ. Постойте, молодой человек! Раз уж вы пускаетесь в такое опасное путешествие, я открою вам последнюю тайну.

Андрюша. Только скорее, пожалуйста, а то как бы он там с горы не свалился.

Универ. Колдунья Моргана зло посмеялась над вами. Апельсины-то, которые растут у нее в саду, не настоящие.

Андрюша. А какие же?

Универ. Тоже заколдованные. Они ничем не пахнут, в них нет сока.

Андрюша. Что же, они пустые?

Универ. Нет. В одном из них заключена Радость, в другом — Печаль. А в третьем...

Андрюша. Что в третьем?

Универ (тайнственно). А в третьем заключено то, без чего ничто не обходится и без чего ты здесь жить не можешь! (Андрюша в изумлении роняет звезду. Раздается треск. Темнота. Когда зажигается свет, Андрюша и Тарталя оказываются перед островом Преферанс.)

КАРТИНА ПЯТАЯ

Угол квадратного острова Преферанс. За канавой на острове обнесенной стеной сад Морганы. В саду дерево с тремя апельсинами. У ворот большая собачья конура. На этой стороне канавы лежат две доски. Тарталья тянется к трем апельсинам. Андрияша рассматривает доски. Пробует перебросить их через канаву. Доски сделаны по ширине канавы и перекинуть их с берега на берег нельзя: они проваливаются.

Андрияша. Как же сделать мост? Гвоздей нет. Молотка нет. Сядем и подумаем. (Садятся.) От угла до угла... Так... так... так... (Соображает.) Решил! Кладем доску на угол, а вторую одним концом на остров, а другим на середину первой доски. Попробуем. Тарталья, помоги!

(Принц неловко помогает, глядя на апельсины. Чуть не проваливается в ров. Андрияша едва успевает его схватить за ногу.)

Андрияша. Надо все же соображать! Что ты на апельсины уставился.

Тарталья. Три апельсина спасенье мое...

Андрияша. Заладил. Никуда они от нас не уйдут. Вот переберемся на ту сторону, тогда займемся ими. (Снова работает, напевая.)

Жил-был на свете паренек,
Очень славный паренек,
Был этот славный паренек
И весел и удал.

Его видали там и тут,
И здесь и там, и там и тут,
Но как парнишечку зовут
Никто вокруг не знал.

Он — Володя или Миша,
Или Саша, или Гриша,
Или Николай.
Может Коля. Может Витя.
То ли Толя, то ли Митя,
То ли Ермолай!..

Как же я раньше не додумался? Ну, Тарталья, начинаются приключения. Давай, я пойду первый. (Осторожно шагает по доске.)

(Принц с обнаженной шпагой идет за ним. Только они ступают на остров, как из конуры, рыча и лая, выскакивает пес Туз. Принц в страхе машет шпагой. Пес бросается на него.)

Андрияша (кричит). Не дразни собаку! Не дразни собаку! Достань бутерброд. Достань бутерброд! Дай ему скорее!

(Принц достает; пес садится и облизывается. Андрияша берет у принца бутерброд и смело подходит к собаке.)

Андрияша. Ты не умеешь обращаться с животными! (Гладит собаку.) Не кормит тебя хозяйка, Тузик! Жадная старуха! Подумать только: три года и пять месяцев голодом морит. Сторожи ее после этого. Я бы на твоём месте к Дурову убежал. Все-таки у него лучше собачья жизнь. Песик

ты несчастный, Тузик мой лохматый!

(Пес виляет хвостом.)

Тарталья. Скажи ему, чтобы он нас пропустил к воротам.

Меня зовут, меня манят
Три апельсина в этот сад!

Андрияша (сурово). Что? Снова стихами заговорил!

Тарталья. Я больше не буду. Я забыла. Я очень волнуясь. Меня манят, меня зовут в этот сад апельсина три!

Андрияша. То-то. Ну, куда ты торопишься? Тузик знает кого пропустить, кого не пропустить. Знаешь, Тузик?

Пес (лает). Знаю! Знаю!

Андрияша. Ты умный пес. Ты нас пропустишь. Мы ведь тебя накормили.

Пес (лает). Да! Да!

Андрияша. Ну вот и договорились. Дай лапу! Давай познакомимся. Андрияша Попов! А ты — Тузик. Я знаю. (Пожимает псу лапу.) Вот так нужно обращаться с животными. Вежливо, с почтением. А то размахался своей железкой у него перед самым носом!

Пес (лает). Да! Да! Да!

(Андрияша и Тарталья проходят мимо пса к воротам. Тарталья бросается вперед первый. Ворота хватают его за одежду, за руки, за ноги и со страшным скрипом начинают его тясти.)

Тарталья (вопит). За что меня? Спаси меня! У меня уши вянют!

Андрияша. Не уши, а уши! Вечно ты, грамотей, вперед лезешь. Не кричи. Сейчас я их маслом смажу. Они, бедные, замучились совсем без смазки. Бедные ворота. Такие-сякие, немазаные-сухие. (Смазывает ворота.) Отпустите его! А это масло я вам оставляю. Сами будете мазаться.

(Ворота сами открываются. Андрияша и Тарталья проходят к апельсинам.)

Тарталья.

Мои дорогие апельсины!

Мои золотые апельсины!

Андрияша. Не торопись ты, несчастный! Все дело испортишь! (Лезет на дерево. Тянется к апельсинам.)

(В окне замка появляется Моргана.)

Моргана (кричит).

Грабёж! Разбой и воровство!

Кто там в саду ломает ветки!

Ко мне на помощь, волшебство!
Ах, это вы, попались, детки!

(Скрывается в окне. Гремит гром.)

Андрюша (трясет дерево). Держись, Тарталя! Как бы чего с нами не вышло! (Андрюша из всех сил трясет дерево. Апельсины падают. Тарталя уже на противоположной стороне рва.)

Тарталя (кричит). Скорей! Скорей! (Плачет.) Мои апельсины! Мои апельсины! (Андрюша из всех сил трясет дерево. Апельсины падают. Андрюша слезает с дерева. Собирает их и бежит через ворота. За ним по пятам Моргана. Андрюша успевает перебежать по доскам через ров и столкнуть доски.)

Моргана (вопит). Паршивый пес, бездельник!

Пес (лает). Но! Но! Но!
Моргана. Тебя я утоплю!
Пес. Не смей! Не смей! Не смей!
Моргана. Негодные ворота, вас в печке растоплю!
Андрюша (кричит). Ворота, не зевайте! Она у вас масло отнимет! Тузик, она тебя бить будет! Она тебя утешит!
Пес (лает). Нет! Нет! Нет!

(Ворота схватывают Моргану и начинают ее трясти. Пес с лаем бросается на Моргану.)

Андрюша. Так ее! Так ее, 37 и 8!
Тарталя (прижимает к себе апельсин). Бежим! Бежим!
Андрюша. Чего ты теперь-то торопишься. Ведь апельсины у нас. Ты смотри, как ворота ее в работу взяли. (Хохочет.)

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Интермедия четвертая

(Бригелла и Клариче у телефона.)

Бригелла (дует в трубку). Алло! Алло! Тетя?.. Нас разъединили... Я вас плохо слышу. Да, это я — Бригелла. Ваш племянник. Как ваши дела? Что? Плохо? Я не понимаю, что плохо? Плохо слышно... Что?.. Не понимаю...

Клариче. (в нетерпении). Что плохо? Спросите, что плохо?

Бригелла. Тетя! Принцесса Клариче спрашивает, что плохо? Здоровье? (Клариче.) Она плачет в телефон и ничего невозможно разобрать, что она там говорит. (В трубку.) Тетя, успокойтесь! Я не могу разобрать, что с вами случилось!.. Слышу... Что? Обокрали? (Клариче.) Тетю обокрали! (В трубку.) Что у вас украли? Не слышу. Говорите по буквам!.. Артем... Петруша... Еремей... Лошадь... Мягкий знак... Что? Апельсины? (Клариче растерянно.) У нее украли три апельсина!

Клариче. Я так и знала! Я так и чувствовала! Ваша старая, выжившая из ума тетка никакая не волшебница, а просто пустое место. Она не умеет колдовать! Надо было вызвать другую ведьму! Я вас предупреждала. Я вам говорила. Вы никогда меня не слушаете. Скажите ей, что она никуда не годная ведьма!

Бригелла (в трубку). Никто не ругается. Принцесса Клариче передает вам свое сожаление. Что? Покусала собака. (Клариче.) Тетю покусала ее собака.

Клариче (зло). Так ей и надо, старой карге!

Бригелла (в трубку). Клариче говорит, что нужно сделать прививку. Что? (Клариче.) На нее еще упали ворота и придавили ее. Бедная тетя...

(Из-за занавеса выглядывают Панталоне и Шут. Они подслушивают Бригеллу и Клариче.)

Клариче. Жалко, что она еще выжила...

Бригелла (в трубку). Что же нам теперь делать? Хорошо. Сейчас возьму карандаш. (Клариче.) Записывайте теткин последний совет. Я буду диктовать. Только пишите, пожалуйста, без ошибок, а то мы потом ничего не разберем. (В трубку.) Тетя! Диктуйте! Я слушаю. (Клариче записывает.) Так... «Единственный выход — отнять третий апельсин. В нем вся сила. В нем — Радость. Для этого нужно взять тот апельсин, который будет лежать с краю.» Так. (Клариче.) Записали? (Клариче утверждает кивает головой.) Так. Дальше. «И ровно в 12 часов пасмурного дня...» (Клариче.) Записали?

Клариче (раздраженно). Я не могу так быстро... (Пишет.) Какого дня?

Бригелла. «Пасмурного», Записали?

Клариче. Записала.

Бригелла (в трубку). Дальше. «Уничтожить»... Всё? (Клариче.) Всё. (В трубку.) Тетя! У меня к вам два вопроса: во-первых, с какого края взять апельсин? Там же будет два края. Что? Опять не слышно. Алло! Алло! Тетя, говорите по буквам. Скотина. Что? Кто? Какая скотина? Лопух. Какой лопух? Чего вы ругаете?

теть? Ева. Какая Ева? Ничего не понимаю!.. Алло! Алло! Станция, не мешайте. Теть, где вы? Алло! Треск какой-то. Ничего не слышно.

Клариче. Вечно у вас что-нибудь с телефоном!

Бригелла. Опять испортился. Что же она сказала? Скотина — сы, допух — лы, Ева. Сы-лы-ева. Понял, понял. Слева! Слева! Теперь мы все знаем. Покажите, как вы записали. (Смóтрит.) В таком маленьком диктанте восемнадцать ошибок! Позор! Разве так пишут? Слово «апельсин» пишется с буквы «а», а не с буквы «о»! «Апельсин», а не «опельсин»! Стыдно, принцесса! И потом не «пиль», а «пель» и не «сын», а «син».

Клариче. Принцессе не обязательно писать грамотно. На это есть министры. Например, вы!

Бригелла. Не будем с вами ссориться в такой серьезный момент. Нам нужно побыстрее собраться в путь. Принц и этот подлый мальчишка неизвестной масти уже на пути ко дворцу. Мы должны перехватить их по дороге.

(Панталоне и Шут скрываются.)

Клариче. Как сложно все-таки жить в таких условиях. Все время нужно делать какие-то гадости, кого-то обманывать, убирать с дороги...

Бригелла. Ничего не поделаешь, моя очаровательная, злая, жадная принцесса. Мы принадлежим с вами к такому высокому обществу, где это принято и является необходимостью. Идемте. Надо торопиться.

Клариче. Я вся горю! Дайте мне снега с сахаром.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

В горах, Тарталья и Андриуша сидят на камнях под деревом. Перед ними на земле лежат три апельсина.

Андриуша. В одном апельсине — Радость, в другом — Печаль, а в третьем то, без чего ничто не обходится, без чего я здесь жить не могу!.. Что же это такое? (Соображает.) Ну, без папы и без мамы... даже без дедушки — я здесь жить не могу. Но они же не могут быть в апельсине. (Смеется.) Ну, без кино. Но ведь кино тоже здесь не поместится! Без мороженого... (Серьезно.) Без товарищей, без школы, без Москвы... (Задумался.) Что-то сейчас Люба делает?.. Что же все-таки в апельсине? И какой из них третий? Тарталья, как ты думаешь?

Тарталья. Я не знаю.

Андриуша. Не знаю, не знаю... А что вообще ты знаешь? Чему тебя здесь учили? Что ты умеешь делать? Что ты из себя представляешь? Ты же совершенно не приспособленное к жизни существо! Валет несчастный! Кому ты нужен! На что ты нужен! На что ты только годишься, подкидной дурачок! Если бы я к вам не явился, тебя бы здесь уморили, как муху. Надоело мне тут с вами возиться! Вот возьму проснусь и уйду я от вас!

Тарталья. А как же я?

Андриуша. Что ты?

Тарталья. А как же я без тебя жить буду?

Андриуша. Надо самому как-нибудь устраиваться. Быть самостоятельным. Не могу же я здесь жить без конца. Я бы хоть сейчас ушел, но мне просто очень интересно, чем все это кончится. (Помолчал.) Что же все-таки в апельсине?.. Тарталья! (Принц молчит.) Вздремнем и мы полчасика. А там видно будет... (Зевает. Потя-

гивается. Не получив ответа, оглядывается и видит, что принц заснул.) Эге, да ты уж, братец, готов. (Ложится и тоже засыпает. С разных сторон появляются Бригелла и Клариче. Между ними лежат три апельсина.)

Клариче (шопотом). Тс-с-с. Они спят. Где апельсины?

Бригелла (так же). Тс-с-с. Они спят. А вот и апельсины.

Клариче. Где? Где? Я не вижу!

Бригелла. Да вот же, прямо...

Клариче. Берите их скорее.

Бригелла. Какой же из них крайний?

Клариче. Да ведь вы сами сказали, что левый — крайний.

Бригелла. Значит, этот?

Клариче. Нет, нет, не этот. Это — правый крайний. Вот моя правая рука.

Бригелла. А вот моя левая рука. Вы встаньте так, как я, и вы сразу увидите, что это — крайний слева.

Клариче. Не спорьте со мной. Подойдите ко мне и посмотрите с моей стороны.

Бригелла. Я знаю свою тетку-левшу, она бы подошла к апельсинам с моей стороны. И потом этот апельсин, кажется, немножко больше других.

(Андриуша ворочается во сне. Бригелла и Клариче замирают. Затем Бригелла быстро хватается один из апельсинов и скрывается с Клариче. Короткая пауза. Входят Панталоне и Шут.)

Панталоне (запыхавшись). Кажется, во-время. Они еще спят. Воображаю, как разозлится Бригелла, увидев меня здесь.

Шут. И меня тоже.

Панталоне. Он думает: Панталоне глух, Панталоне глух, Панталоне легко снять с работы.

Шут. И меня тоже.

Панталоне. Все-таки я хороший министр. Я еще докажу бедному королю свою преданность и разоблачу все козни Бригеллы.

Шут. И я тоже.

Панталоне. Да. А где же эти апельсины? (Осматривается.)

Шут. Вот они. Раз, два...

Панталоне. А где же третий? Их должно быть — три!

Шут. Я не брал.

Панталоне. Бригелла и Клариче не могли успеть раньше нас. Мы бежали сюда по самой короткой тропинке. Что это? Лилия?.. Клариче была здесь! Она уронила свою ядовитую лилию! (Бросается будить спящих.) Караул! Проснитесь! Вас обчистили, как маленьких! У вас украли третий апельсин!

(Шут начинает всхлипывать.)

Андрюша (не может проснуться). Отстаньте. Я хочу спать...

Панталоне (отходит в сторону). Что же теперь делать? Еще подумают, что я его съел.

Шут. Или я.

Панталоне. Куда заявить?.. Кому?! (В растерянности садится на один из апельсинов. Апельсин с треском лопается. Из-за спины Панталоне появляется девушка в сером воздушном одеянии.)

Панталоне (в отчаянии). Я раздавил апельсин!

Печаль (нежным печальным голосом).

Ты раздавил мою темницу,
Тебя, мой друг, мне очень жаль.
Я не обычная девица...

Панталоне (печально).

А кто же ты?

Печаль.

Твоя Печаль...

(Поёт грустную песенку.)

Я смеха не терплю,
Я — вечная Печаль
И кто не знает слез,
Того мне очень жаль!
Я счастлива тогда,
Когда вокруг грустят,
Когда вокруг меня
Смеяться не хотят.

Я к людям прихожу,
Вселяюсь в их сердца,
Сгоняю в тот же миг
Улыбки с их лица,
Я им туманю взор,
Маню куда-то вдаль,
Я в сумерках живу,
Я — вечная Печаль!

(Панталоне всхлипывает. Шут плачет в три ручья. Печаль кончает петь. Спящие проснулись.)

Андрюша (удивленно). Панталоне! Почему вы плачете?

Панталоне Мне страшно грустно.
Печаль. Ему не может быть весело, раз я с ним.

Андрюша. Я вас не знаю. Кто вы?
Печаль. Я — Печаль.

Панталоне. Она говорит правду. Она была в том апельсине, на который я случайно сел. (Плачет.) Я пришел слишком поздно. Я опоздал. Я так хотел притти раньше Бригеллы, чтобы помешать ему украсть апельсин.

Шут. Я тоже. (Плачет.)

Андрюша. Кто посмел украсть у нас апельсин?

Тарталья. Что же это такое? Один — украли, другой — раздавили. У нас осталась только одна штука. (Плачет.)

Панталоне. Как мне печально, как мне печально...

Печаль. Бедные мальчики, бедные мальчики...

Андрюша. Не смотрите на меня так, а то мне тоже как-то нехорошо делается. Какие-то грустные мысли лезут в голову.

Печаль. Очень хорошо, что вы загрузили, очень хорошо. Пока я с вами, вам не может быть весело. (Поет.)

Я смеха не терплю.
Я — вечная Печаль
И кто не знает слез,
Того мне очень жаль!
Я счастлива тогда,
Когда вокруг грустят,
Когда вокруг меня
Смеяться не хотят.

(Все, плача и всхлипывая, присоединяются к ней и уходят. Последним идет Шут, неся апельсины.)

Занавес

Интермедия пятая

Перед занавесом Бригелла и Клариче. В руках у Бригеллы портфель.

Бригелла. Королю сегодня хуже. Гораздо хуже, чем вчера. Он уже выплакал

почти все слезы. Осталось на самом доньшке. Единственное, что могло бы вер-

нуть силы королю, это радость\возвращения сына. Но о бродягах пока ни слуху, ни духу. Очевидно, с ними тоже что-нибудь случилось по дороге. А Радость у нас в руках. Вот она! (Вынимает из портфеля апельсин.) Сегодня пасмурный день и к полдню погода, кажется, не разгуляется. Сегодня же мы его уничтожим.

Клариче. А если после этого все же Тарталья вернется во дворец. Что тогда?

Бригелла. Пускай возвращается. Мы объявим его сумасшедшим.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Опочивальня короля Сильвио. Король лежит в кровати под багдахином. В комнате полумрак. На тумбочке склянки с лекарствами. Возле кровати короля сидит Бригелла и монотонно читает.

Бригелла (читает).

И стали безжалостно бить его,
И стали душить и топить его,
(Сильвио хнычет)

В болото толкать комариное,
На кучу сажать муравьиную,
Травить его злыми собаками...

Сильвио (прерывая чтение, слабым голосом).

Нет больше слез. Тоска мне выгла
очу.

Прошу, Бригелла, вас, нельзя ли
покороче...

Бригелла (кивает головой, читает).

Тут ночь опустилась холодная,
Завыли шакалы голодные,
И крыльями совы захлопали,
И волки ногами затопали,
И жабы в болоте заквакали...

Сильвио.

О, бедный сын Тарталья! Неужели
Все это про тебя на самом деле!..

Бригелла (повышая голос).

Взмолился тут мальчик задуманный
Собаками злыми укушенный:
И в щечки, и в нос, и в мизинчики,
О, где же мои апельсинчики!

Сильвио (захлебываясь от рыданий).

Все кончено. Душа покоя просит!
Ее в потусторонний мир уносит!

(Вздрагивает. Затихает. Входит Клариче.)

Клариче (шопотом).

Ну, как король?

Бригелла (пожимает плечами).

По-моему, готов!

(Прислушивается к дыханию Сильвио.)

Клариче,

В беспамятстве. И дышит еле-еле.

Бригелла.

Который час?

Клариче (смотрит на ручные часики).

Осталось полчаса.

Бригелла.

Без тридцати минут — вы королева.
(Целует ей руку.)

Клариче. А его спаситель... Что будет с ним?

Бригелла. Его мы объявим шарлатаном и выгоним из колоды. Который час?

Клариче (смотрит на ручные часики). 10 часов утра.

Бригелла. До полдня осталось два часа. Пойду, помучаю короля, выжму из него последние слезинки.

Клариче (вздыхает). О, как я хочу быть королевой! Хотя бы.. шахматной!.. (Уходит.)

Клариче.

От нетерпенья я дрожу.

Желанный миг! Я в царственной
короне!

Все повинуются, все ждут, что я
скажу.

С утра до вечера сижу на пыльном
троне

И всех вокруг в своих руках держу.

Что это?

(За сценой слышна песня Печали. Она все ближе и ближе.)

Бригелла. Какая-то печальная песня. Что бы это могло быть?

(Слушают. Песня все громче. В комнату входят Печаль, за ней грустный Панталоне, Тарталья и Андриуша. Грустная процессия подходит к ложу короля. Печаль продолжает петь.)

Тарталья (став на одно колено у постели короля).

Отец мой! Что с тобой?

(Сильвио не отвечает. Бригелла и Клариче в полной растерянности стоят в стороне.)

Андриуша. Что с королем? Он помер?

Печаль (грустно).

Как все печально, как все грустно!..

Тарталья. Отец, очнись! Вернулся я домой!

(Плачет.)

Печаль. Приятно мне, что здесь такие печальные события. Но кое-кому будет еще хуже...

Панталоне. Не каркай! Господи, до чего ты нам надоела! Ну, чего ты к нам привязалась?

Печаль. Я не покину вас.

Панталоне. Ну, что мы тебе сделаем? Не дашь спокойно поплакать...

Печаль. Ты сам виноват, что я с вами. Ты сел на меня.

Панталоне. Замолчи! Без тебя тошно!

Панталоне. Это ты села всем нам

на шею. Отойди! (Становится рядом с принцем. Вытирает глаза платком.)

Печаль. Как вы не понимаете. Я здесь на своем месте. Без меня не обходятся ни разлука, ни похороны, ни одно печальное событие. Я вам необходима.

Бригелла (тихо Клариче). Который час?

Клариче (нервно). Осталось пять минут. Мы прозеваем всё. Где ваш портфель?

Бригелла (показывает на кровать короля). Он там, в ногах у короля остался.

Тарталья (у постели короля).

Как страшно мне остаться одному. Влечет меня назад к недугу моему...

(Слабест.)

Печаль. Как хорошо все это... Как все здесь замечательно опечалено...

(Все объята печалью. Звучит грустная музыка. В комнату вбегает Шут с апельсином в руках и замирает на пороге, пораженный происходящим. Машинально прижимает к своей груди апельсин, который со страшным треском лопается у него в руках. Все вздрагивают и оборачиваются, за исключением Тартальи. Из-за спины Шута выходит красивая девушка в ярком одеянии. Печаль хватается за Панталоне.)

Печаль (Панталоне). Скорей, скорей, скорей уйдем отсюда.

Панталоне. Что с тобой? Кто это?

Печаль. Это — Радость. Мы не выносим друг друга.

Панталоне. Очень хорошо. Наконец-то я от тебя избавлюсь. Не держись за меня!

(Печаль отходит в сторону и незаметно становится сзади Бригеллы и Клариче)

Радость (звонким голосом поет веселую, жизнерадостную песню).

Если солнечный луч
Посмотрел из-за туч,
Если встретились где-то друзья,
Если птицы поют,
Если травы цветут,
Это — я, это — я, это — я!

Если я прихожу,
Я с собой привожу
И удачу, и шутки, и смех,
Те, кто день ото дня
Знают только меня,
Те, конечно, счастливее всех!

Я — здоровье и свет,
Завершение побед,
Мне доступны любые края,
Если люди равны,
Если нету войны,
Это — я, это — я, это — я!

(Андрюша подбегает к окну и распакивает его. В комнату врывается яркий солнечный свет. Сильвио приходит в себя. Садится. Замечает Тарталью.)

Сильвио. Кто эта девушка?
Радость. Я — Радость!

Бригелла (Клариче). Все пропало!
Сильвио (радостно обнимая сына).

Тарталья! Сын! Любимый мой наследник!

Тарталья. Отец! Ты жив! Отец, я вновь с тобой.

Сильвио. Приди ко мне! Приму тебя... тебя... в передник! Рифму! Передник... ледник... медник... бредник...

(Обнимает сына).

Панталоне (Бригелле). Мой портфель! Где он? Где мой портфель?!

Андрюша. Да вот он, на кровати у короля!

(Панталоне и Бригелла одновременно бросаются к портфелю. Между ними завязывается борьба.)

Панталоне. Отдайте!

Бригелла. Не отдам!

Панталоне. Как вы смеете! Это мой портфель! Я ему три раза ручку менял! Отдайте! (Вырывает портфель. Отходит в сторону, открывает его.)

Бригелла (тихо Клариче). Сейчас все откроется! Мы пропали!

Клариче. В портфеле мои плоды! Панталоне, отдайте их сейчас же мне!

Панталоне. Пожалуйста, пожалуйста, я не такой, как некоторые... Мне чужого не нужно... (Достает апельсин.) Вот... Ой! Что это?

Бригелла (тихо с отчаянием). Погибло все!

Андрюша (увидел апельсин). Третий апельсин!..

Панталоне. А-а-а... Я так и знал!

Шут. Я тоже..

Клариче. Это мой апельсин!

Андрюша. Это наш апельсин! Тарталья! Третий апельсин нашелся.

Тарталья (из объятий отца). Где? Где? Давай его сюда!

Клариче. Это самый обыкновенный нормальный апельсин! Он мой!

Андрюша. Нет! Это наш апельсин! Тот самый! Я на нем зарубку сделал.

Сильвио.

Опомнитесь, друзья! Сейчас не время спорам!

Что там за апельсин? Подать его сюда!

Как мог он стать причиной раздора. (Берет апельсин и кладет его на тумбочку. Обращается к Тарталье.)

Кому обязан я, что минула беда,
Что вновь ты во дворце здоровый,

невредимый?

Кто снял с тебя, мой мальчик,
волшебство,

Кого благодарить за дар
неоценимый?

Тарталья (показывая на Андрюшу).
Опять, отец, благодари его!

Сильвио (Андрюше).

О, юный друг! За все твои
страдания...

Тарталья (перебивая отца).

Нет, нет, постой, отец. Я не сказал
всего!

За то, что кончились победой все
скитанья

(Показывает на Шуту.)

Благодарить придется и его!

Сильвио (Шуту).

Спасибо, старый Шут! Достоин ты
награды...

Тарталья (перебивая отца).

Нет, нет, отец! Я не сказал всего!
Я не был бы с тобой сегодня рядом,
Коль вместе с нами не было б его!

(Показывает на Панталоне.)

Сильвио (растроганно).

Спасибо вам, друзья! За дружбу, за
внимание,

За службу верную Тарталье моему!
Готов я выполнить любые три

желанья—
На каждого из вас по одному!

(Андрюша, Тарталья и Шут переглядываются.)

Сильвио (Шуту).

Шут! Не скрывай своей мечты!
Скажи, чего желаешь ты?

Шут (подумав, начинает).

Я старый Шут. Всегда служил я
честно

Короне карточных червовых
королей.

Двенадцать лет назад я был шутом
известным,

Гордился я профессией своей!
Но вот настали дни тревоги и

волнений,
И говорят шуту, что шуткам места

нет,
И вот уже я чтец безумных

сочинений,
Которые приносят явный вред...

(Бригелла старается незаметно скрыться.)

И если я могу свое желанье смело
Поведать вам, то я скажу его!

Хочу... я более всего...

(Заметил уходящего Бригеллу.)

Хочу... Чтоб не ушел Бригелла!!!

(Бригелла остановился, замер.)

Сильвио. И только-то.

Бригелла! Станьте здесь.

Вы нравитесь Шуту! Капризное
желанье,

Но исполнить его — мой долг и
честь!..

(Бригелла становится на место. Обращается к Панталоне.)

Вам, Панталоне, — деньги или
званье?

Панталоне.

Вы знаете меня не год, а много лет!
Я честно ведаю дворцовыми делами,

Но с некоторых пор стал тенью
между нами

Такой же, как и я, известный вам
Валет!

(Бригелла нервно переступает с ноги на ногу.)

И если уж открыть желание мое,
То я его без робости открою!

Хочу...

(Увидев Печаль.)

Опять она!

(Показывая на Печаль, кричит.)

Чтоб не было ее!

Она мне не дает покою!

Сильвио. Что там за странное соз-
данье,

Что причиняет вам страдания?

Печаль.

Меня зовут Печаль. Хоть вам я не
нужна.

Но все же здесь остаться я должна.

Сильвио.

Простите, девушка, мне, право,
очень жаль,

Но там, где Радость есть, там не
нужна Печаль.

Печаль.

Как? Неужели вы не замечали,
Что к радостям приводят нас печали.

Сегодня служит Радость вам,
А я одной из ваших дам!

(Становится рядом с Клариче)

Клариче (падая на колени перед Сильвио).

Увы, король! Должна признаться я,
Что тяжко виновата перед вами!

Вы верили своей трефовой даме,
Но я вам изменила, как змея!

(Бьется в ноги короля.)

Сильвио.

Что слышу я?

Панталоне.

Я знал, что так и будет!

Шут.

Я чувствовал, что это будет так!

Тарталья (Сильвио).

Суд козырей пускай ее осудит!

Клариче.

Да, виновата я! Но вот ваш главный
враг!

(Показывает на Бригеллу.)

Бригелла (выступая вперед).

Она мечтала завладеть короной!

Панталоне (выкрикнул).

А ты портфелем.

Клариче.

Я была слепа!

(Показывая на Бригеллу.)

Себе на плащ нашил он герб

червовый,

Чтоб скрыть от вас цвет своего
герба!

(Андрюша, незаметно подошедший сзади к Бригелле, ловким движением срывает с плаща герб червовой масти, открывая перед всеми герб масти пик. Все отпрянули. Панталоне хватает его и держит.)

Сильвио.

Бригелла масти пик?! Еще одна змея
Скрывалась во дворе, свой страшный
яд тая!

Панталоне.

У нас не вырвешься!
(Держит Бригеллу.)

Шут.

Мучитель наш!

Андрюша.

Шпион!

Тарталья (Клариче). Вы покушались
на червовый трон!

Сильвио (в гневе).

Эй, стражников сюда!
(Звонит в колокольчик.)

Раскрыт коварный план!

Где стража? Где патруль?

Где сам начальник стражи?

Начальник стражи (едва держась
на ногах).

Я здесь...

Сильвио (показывая на преступников).

Забрать!

Начальник стражи (заплетающим-
ся языком).

Я не могу... Я пьян...

По правде говоря, я их не вижу
даже...

Сильвио (в гневе).

Как ты осмелился напиться,
Когда такое тут творится?!

Начальник стражи,

Да я... да мы... да вы... Позвольте
объясниться.

Действительно хлебнули мы сейчас.

Но все за принца, все как есть за вас!

Ну как тут было не напиться?

Сильвио.

Ты правду говоришь?

Начальник стражи.

Клянусь!..

Сильвио.

Другое дело!..

Клариче (обнимает ноги короля).

Но я ведь выдала Бригеллу!

Сильвио (приказывает).

Обоих взять и заточить в тюрьму!

Как неожиданно мы с них сорвали
маски!

Ее — разжаловать в Четверки, а

ему —

И день и ночь читать его рассказы!

Кого пригрел я на своей груди!

Кто знает, что б могло случиться
впереди!

(Стража уводит преступников. За ними
уныло бредет Печаль).

Панталоне.

Желание мое исполнено сполна!

И зло — наказано. В том есть мое
участие!

Шут.

Я в этом тоже виноват отчасти.

Сильвио.

Была нам паутина сплетена,
Но волею судеб мы счастливы
отныне!

Вернемся же к тому, что нам
пришлось прервать:

(Андрюше.)

Твое желание хотел бы я узнать!

Андрюша.

Хочу я посмотреть, что в третьем
апельсине!

Сильвио.

Что может этот плод внутри
себя таить.

Достойно ли оно малейшего
вниманья!

Могу тебе его я подарить!

(Берет апельсин и подает Андрюше.)

Ты можешь съесть его, испечь,
сварить —

Все можешь сделать с ним, по
своему желанию!

Андрюша. Я здесь его хочу при всех
открыть!

(Хочет открыть апельсин)

Панталоне (умоляюще). Ради бога,
не открывай его! Я умоляю! Я прошу!

Андрюша. Почему?

Панталоне. Мы уже по опыту знаем,
что из него что-нибудь вылезет!

Андрюша. Ну и что же?

Панталоне. А вдруг какая-нибудь
гадость или пакость.

Андрюша. А может быть что-нибудь
хорошее.

Радость. Я могу обидеться. Какая же
я гадость? Какая же я пакость?

Панталоне. Извините, пожалуйста.
Это к вам не относится. Это я про вашу
подругу сказал, про Печаль.

Радость (Андрюше). Открывайте!

Шут.

Не надо открывать! Не стоит!

Тарталья.

И я бы открывать его не стал.

Сильвио.

По-моему, вскрывать его не след,
Что если он наделает нам бед!

Панталоне. Оддать его Бригелле.
Пусть он его в тюрьме откроет.

Сильвио.

Пусть будет так —

Пускай его вскрывает враг!

Шут. А вдруг в нем что-нибудь хоро-
шее. Тогда как?

Сильвио.

Бригелле апельсин не отдавать!

Раз нужно вскрыть его, то здесь его
вскрывать!

Андрюша. Я так и сделаю. (Решитель-
но хочет открыть апельсин. Подходит к
рампе.)

Панталоне (закрывая уши). Ой! Брось! Не открывайте еще минуточку!

Шут (кричит). Еще хотя бы полминуточки!

Андрюша (обращаясь к зрителям). Открыть?

Зрители. Открыты! Открыты!

Андрюша Сейчас. (Возится с апельсином.) Как же его открыть? (Всем на сцене.) У кого есть ножик?

Все (спрашивают друг друга).

— У кого есть ножик?

— У вас есть ножик?

— Дайте, пожалуйста, перочинный ножик!

— Ни у кого нет ножичка?

Шут. А зачем ножик? На него нужно сесть, и он сам лопнет! Пусть сядет Панталоне.

Панталоне. Нет, нет. Я не сяду! Кто угодно, только не я! (Шуту.) Что вы всегда лезете, куда вас не просят. Садитесь сами!

Шут. Простите, я пошутил.

Андрюша (подумав). Ну ладно. Я его тогда возьму с собой и дома открою. До свиданья! (Поочередно жмет всем руки.) До свиданья, я пошел проспать. Всего хорошего. Очень было интересно с вами, До свиданья!

Тарталья. Значит, уходишь. А как же апельсины? Это же наш общий апельсин...

Андрюша. Здравствуйте. Принц проснулся! Он же мне его подарил. (Показывает на Сильвио. Тарталья вопросительно смотрит на Сильвио.)

Сильвио.

Да. Апельсин пришлось мне подарить...

Не следует ли все ж его открыть?

Андрюша. Сейчас приду домой и открою его без вас. (Идет к двери.)

Панталоне. А может все-таки одним мазком посмотрим, что там таятся?

Сильвио.

Конечно, было бы не плохо посмотреть.

От любопытства можем мы сгореть...

Тарталья. Андрюша... Открой! Это не по-товарищески...

Андрюша (обращается к зрителям). Вот как они скажут, так и будет. Открыть апельсин?

Зрители. Открой!.. Открой!..

Андрюша. Ну хорошо. Только я не отвечаю за то, что может случиться. (Пытается открыть апельсин, но тот не открывается.)

Панталоне. Ну!

Андрюша. Не открывается что-то. (Возится с апельсином.) Тарталья, иди-ка сюда. Помоги мне.

(Тарталья подходит.)

Нажимай здесь.

(Тарталья помогает.)

Тарталья. Не открывается?

Шут. Давайте, я помогу. Как это не открывается? (Подходит.)

Сильвио.

Ну что же? Нет терпенья!

Что там у вас за промедление?!

Панталоне. Стоит ли? Стоит ли его открывать? Не открывается — и не надо! (Подходит.) Ну что, никак не справитесь? (Помогает.)

Сильвио (встает с кровати).

Как видно, без меня не обойдется!

Мне в этом деле вам помочь придется.

(Подходит.)

Шут. Что такое? Что за апельсин нам попался?

Андрюша. Ну и кожура!

(Все сгрудились вокруг Андрюши и помогают ему открыть апельсин. Вдруг раздается оплужительный треск. Все разбегаются в разные стороны. Тухнет свет. В темноте слышен крик Панталоне.)

Панталоне. Что я говорил!

Шут. А что?

(Зажигается свет. Посередине сцены стоит фигура большого роста с длинной бородой. Минутное молчание.)

Панталоне (тихо, про себя). Так я и знал!..

Шут. И я тоже...

Андрюша (фигуре). Кто вы такой?

Фигура (спокойно). А разве вы меня не ждали?

Андрюша (неуверенно). Нет... То-есть да... Мы ждали... Но мы не... (Замаялся.)

Панталоне (тихо). Что я говорил?..

Андрюша (собравшись с духом). Скажите, пожалуйста, кто вы такой?

Фигура. Я тот, без которого ничто не обходится.

Андрюша. Кто же вы?

Фигура. Меня зовут — Финал. Я — конец.

Андрюша. Какой конец?

Финал. Конец пьесы.

Андрюша. Мы вас не звали.

Финал. Обычно я сам прихожу, когда что-нибудь кончается.

Андрюша. Почему?

Финал. Потому что всякое дело с концом хорошо. У всякого словца ожидай конца.

Андрюша (вздыхнув). А-а-а... Теперь я понимаю, почему я без вас здесь жить не могу! Не могу же я здесь жить без конца! (Смеется.) А как вы в апельсин попали?

Финал. Я здесь не при чем. Это меня автор — Сергей Михалков — в апельсин запрятал. Если бы вы знали, как я сопротивлялся! Хорошо, что вы меня освободили.

Андрюша. А можно у вас спросить: концы ведь разные бывают: хорошие, плохие, счастливые и несчастливые, благополучные и неблагоприятные. Вы какой конец?

Финал. Это смотря для кого. Для вас
я — конец хороший, счастливый и благо-
получный!

(Обращаясь к зрителям, поет прощальную
песенку.)

Ничто не продолжается
На свете без конца,
Что хорошо кончается,
То — радует сердца!

Ты ходишь, ты волнуешься,
Тебя бросает в дрожь:
А вдруг не сдашь экзамены,
А вдруг не перейдешь.
Но вот прошли экзамены,
Тревоги за спиной,
И ты шагаешь весело
Из «пятого» в «шестой»!

Ничто не продолжается
На свете без конца,
Что хорошо кончается,
То — радует сердца!

Ты кашляешь, сморкаешься,
Чихаешь и хрипишь.

И вот уже с ангиною
В кровати ты лежишь.
Приходится противные
Лекарства принимать.
Но вот ангина кончилась
И ты здоров опять!

Ничто не продолжается
На свете без конца,
Что хорошо кончается,
То — радует сердца!

Спектакль начинается,
И занавес дают:
Рыдает старый Сильвио,
Печален бедный Шут.
На сцене появляется
Андрюша-молодец —
Предатели наказаны,
Комедии конец.

Ничто не продолжается
На свете без конца,
Что хорошо кончается,
То — радует сердца!

Занавес

СТИХИ

АЛЕКСАНДР КИРСАНОВ

★

БАЛЛАДА О СЕМИ ГЕРОЯХ

1

Это дело было в декабре,
Лес дремал в холодном серебре,
Снежный наст сиял голубишной.
Был отраден сердцу мир лесной.
На закате ярче сосен медь,
Русской красоте не умереть.

2

Над лесами плавился закат,
Золотые плали облака.
Им, крылатым, не заказан путь,
Их никто не может повернуть,
Как и нашей Родины народ
С правильной дороги не свернет.

3

Шесть бойцов с сержантом в блиндаже
Жили на переднем рубеже.
Шесть с сержантом с первых дней войны
Жили так, как братья жить должны.
В каждом было силы за троих,
Ненависть объединяла их.

4

Дети вспоминают об отце,
Мать о сыне воине-бойце.
Мы читали письма у огня
И мечтали о хороших днях.
Вдруг: — Тревога! Хлопцы, по местам,
Танки возле дальнего куста.

5

Рыхлый снег утюжа животом,
Танк за танком, как за домом дом.
И сказал сержант бойцам своим:
— Устоим, ребята?
— Устоим!

— Шесть на шесть — один на одного!
— Головному в башню!
— Есть!
— Огонь!

6

Над поляной прокатился гром,
Закоптился снег перед стволом.
Головной уперся лбом в сугроб
И застыл недвижно, словно гроб.
Из отверстий пробивался дым —
Стало меньше смертником одним.

7

Траками разбитыми звеня,
Два еще трещали от огня,
Но померк в глазах от взрыва свет,
И сержант свалился на лафет.
Он спросил дыханием одним:
— Устоите, хлопцы?
— Устоим!

8

Три последних пятились назад,
Стихла оружейная гроза.
Пот со лба наводчик стер платком,
Погрозил на запад кулаком:
— Нашей крови, сволочь, захотел,
Только не на робких налетел!

9

Над лесами догорал закат,
Золотые плали облака,
Загорелась первая звезда.
— Устояли, хлопцы?
— Как всегда!

Чтобы драться, как они, уметь,
Надо сердце русское иметь.

★

ВИТЕБСК

1

Это всё, что осталось, но это
было нашим теплом согрето,
и, казалось когда-то мне,
не горит ни в каком огне.
Не развалится с пустяка.
раз построено на века.
Мы ходили вдвоем с тобой
по приглаженной мостовой.
На скамейке сидели мы
до глубокой незрячей тьмы.
Где асфальт и скамейка та —
лишь щебенка да пустота,
пруды камня, песок, зола...
И с ресницы слеза сползла.

2

Это всё, что осталось, но это
было в песнях моих воспето.
Потому, что кругом цвело
всем чертям и смертям назло.
Пробивалось из-под камней,
прижималось к ноге моей.
Не сомну, не сорву — цветы.
Что так долго не шел — прости.
Значит, раньше притти не мог,
было много других дорог.
Мне мешала итти гроза,
пыль слепила мои глаза.
Но я видел: земля жила,
пела, радовалась и цвела.

3

Это всё, что осталось, но это
я увидел на третье лето.
Чем дышал я и чем я жил,
что носил в глубине души —
было скомкано злой рукой,
под германской легло ногой.

Мне бы надо кричать — не мог,
словно губы замкнул замок.
Очень много я видел зла...
и с ресницы слеза сползла.
Не горючею каплей, нет,
в ней блеснула голубой рассвет.
Радость жизни блеснула в ней,
словно не было темных дней.

4

Были темные, были, были.
Поднимались клубками пыли,
автоматом в окно стучали,
по-немецки они кричали.
Опухали глаза от слез,
ветер стоны людские нес.
Немцы хлебом моим кормились,
над сестрою моей глумились.
Время! Силу храни мою,
чтобы вылить ее в бою.
Чтобы пальцы на горле сжать,
отомстить за родную мать.
Силу в сердце, земля, вдохни,
слабость прочь от себя гони.

5

Где нам липы давали тень,
где растили своих детей,
где на клумбах цветы цвели —
немцы книги сожгли мои.
Немцы вырвать хотели все,
что нам радость и свет несет.
Нехватало у них огня
сжечь, как книжный листок, меня.
Не дала им той силы мать,
чтобы в землю меня втоптать.
Им хозяевами не быть,
им в земле нашей русской гнить.
И не встать, не подняться им
над большим торжеством моим.

ЧЕЛЯБИНСКИЕ КОЛХОЗЫ

МАРИЕТТА ШАГИНЯ

★

I. ПЕРВЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

Здесьние места называют общим именем «Южный Урал». Но сами челябинцы делят свою область: «наш север», «наш юг». На карте как будто не увидишь различия, — озёра, озёрки, озёрца, пресные и соленые, — и наверху и внизу то же множество голубых кружочков, словно крапинки на ситце; то же изобилие извилистых черных змеек — рек и речушек с самыми странными названиями — от Зюзелгы и Коелгы — до Сухорыша и Куро-сана.

Но в действительности тут есть различия, и особенно оно сильно для сельскохозяйственного работника.

На севере и озёра не те, и реки не те, — озера в густых хвойных лесах, между россыпью мшистых камней, в скалах, подобно финским, где-нибудь в Токсове, в Муранове; реки шумят быстро и освежающе, по-горному.

А на юге — озера густосини, брошены одиноким доскутком в голом степном пространстве; реки становятся тихими почти по-шевченковски: «река ставом стала», ползут сонно и разогрето, кое-где в камышах, и вам кажется, что вы — на Украине. Часами едешь холмистыми равнинами с одиноко стоящими там и сям березовыми рощами; даже и не угадать сперва, что береза: ветви до самой земли, белых стволов не видно. И только при въезде в самую «колку» хляснет вас ненароком глянцевоитый маленький крепкий лист, — тот самый, каким так ароматно пахнет в уральских и сибирских банях, где распаривают в кипятке свежий березовый веник. Очертания этих рощ — купами, кущами, необыкновенно ровными геометрическими фигурами, — словно птицы в полёт летели и сели на отдых, — то возникают среди голых степей, то пропадают. Пустынно вокруг, деревни и города попрятались за холмы, тонут в широте этого простора, и земля отваливается, в разрезе вашей дороги, то ярко-красная, глинистая, «яр», —

на севере; то черная, жирная, чернозём — на юге.

Различию в пейзаже соответствует различие в экономике: наверху, на горном севере, рудные богатства, обилие заводов; внизу, на степном юге, большие зерновые колхозы, обилие хлеба. И хотя земля неистово плодородна, страшным препятствием встает здесь климат: долгая, очень морозная зима, с малым снегом, сильные ветры, сдувающие и этот скудный снег, знойно-засушливое лето, поздняя и дождливая весна, резкие колебания температур, зачастую губящие урожай.

Вот на этом плацдарме со всеми его особенностями, резко отличными от других мест нашего Союза, разыгралось великое сражение за «урожай победы». Челябинская область, плохо раньше справлявшаяся с хлебом, недодававшая государству, выступила застрельщицей за досточную хлебосдачу. С чем же она вышла на бой?

Прежде всего, за время войны Челябинская область стала компактнее, уменьшилась в объеме, — от нее отпали чисто зерновые районы, Шадринский и Курганский. Но отход этих районов, хотя и перервал Челябину из областей «производящих хлеб» в области «потребляющие», отнюдь не убавил её ответственности и не упростил её сельского хозяйства. В Челябинской области — крупнейшая промышленность, в ней целые города-заводы, такие, как Магнитогорск, и, перестав вывозить хлеб, она оказалась перед задачей — полностью на месте обеспечить питанием самоё себя и свою промышленность. А это значит, что, уменьшившись в объеме, Челябинская область должна была резко увеличить разнообразие производимых ею продуктов. И здесь мы подходим к очень интересному факту: к несомненной общности тех процессов, какие произошли от одних и тех же причин за время войны — и в уральской промышленности, и в уральском сельском хозяйстве.

Казалось бы, трудно сравнить огромный разворот тяжелой промышленности

на Южном Урале за годы войны с состоянием уральского сельского хозяйства. Там домны задувают, целые новые комбинаты воздвигли, дорогу электрифицируют, творят чудеса техники, изобретательства, новых методов труда. Здесь пространство как бы задушило человека, не хватает механизмов, запасных частей, энергии, инструмента, поля засорены, многое просто напорчено, не осилено.. И все-таки те же самые могучие силы, которые разворачивали и двигали вперед нашу промышленность, — они неизбежно пробивают себе дорогу и в сельском хозяйстве Южного Урала; те же самые закономерности, какие выявились в тяжелой индустрии, — они проступают и в сельском хозяйстве. Прямая пропорциональная связь, — надо только научиться видеть ее, научиться подмечать ее первые, пусть еще очень слабые, но реальнейшие ростки.

Все знают у нас, как трудные военные условия и предельное напряжение на уральских заводах привели рабочих к рационализаторству, изобретательству, росту технической культуры. Совершенно так же более трудные условия и необходимость предельного напряжения в колхозах резко потянули уральское сельское хозяйство к интенсификации и росту агротехнической культуры. Задача накормить свою область, накормить собственную выросшую армию рабочих, занятых на старых и новых заводах, эвакуированных и построенных за войну, и накормить ее при меньшем числе рабочих рук в колхозах, при сократившемся тягле, при поредом, изношенном машинном парке, нехватке людей и материала для ремонта, при невозможности завоза овощей со стороны — эта задача заставила челябинцев, как никогда раньше, задуматься над «профилем» своего района, над созданием своего овощеводства. И экономика области начала резко изменяться. Раньше из 34 челябинских районов только 7 были пригородными, да и то с недавнего, сравнительно, времени, с 1937 года, когда Магнитогорск потребовал своих овощей. Сейчас, с 1944 года, уже 22 района переведены на положение пригородных и только 12 районов осталось в зерновых.

Стать пригородным для слабого сельского района — это значит обух обухом перешибить, трудность — победить еще большей трудностью. Для пригородного района, снабжающего промышленный центр, мало быть только хлебным, он должен быть овощным, картофельным, мясным, молочным, садовым.

Когда картофель в дни войны вошел в наш индивидуальный быт, вооружив нас лопатами и тяпками, то для нас это было в своем роде опрощение, приближение к земле. Но когда картофель и овощи вхо-

дят в колхозный быт, то для плохого колхоза это — сложение и приближение к культуре. Огородное богатство более трудоемко, нежели полевое, оно неизбежно тянет за собой технику, механизацию, требует искусственной поливки, машин, электрической энергии, а значит — заботы о севообороте, о травосеянии, о семенном хозяйстве. Но для колхозов выгоден этот «бух», перешибающий обух. Он открывает перед ними перспективы, выводит их на рынок, поднимает их зажиточность, укрепляет их. И вот почему в труднейших условиях малолюдия, страшного недостатка механизмов мы видим, как южноуральские колхозы, усилив для себя трудности, переходя от более легкого к более сложному, начинают совершенствовать свое хозяйство и идти кверху. Потянулся в деревню от завода электрический провод; возникли в нескольких районах искусственные поливки; агрономы всерьез «устроили» землю — на полях появились колышки, отмечающие, какой участок идет под яровые, какой под пар, под траву... Сколько лет мы говорим про севообороты — и вот только сейчас, после напряженных четырех лет Отечественной войны, он становится здесь, на Урале, подлинной реальностью!

Пусть всё это еще слабые росточки; пусть их немного на фоне общего немого положения, но именно эти росточки диктуют сейчас, по ним строится работа, они дают меру и оценку вещей, в них проявляется ведущая тенденция нашего сельского хозяйства, его направленность в будущее. И правильно поступило челябинское руководство, когда, готовясь к битве за урожай, сделало ставку именно на эти передовые начала, не убоявшись ни внешней их слабости, ни малочисленности.

II. НА ПЛЕНУМЕ

В большой зале обкома идет расширенный пленум. Плечо к плечу, здесь собраны те, кому предстоит завоевать урожай, убрать и помочь уборке: секретари райкомов, лучшие председатели колхозов, директоры МТС и совхозов, партторги заводов. Дни считанные, за окном хмуро: несколько недель, не переставая, шел дождь. Дороги он сделал непроезжими, помешал сенокосу, грозит картошке и овощам, задерживает созревание хлебов. Кажется, ни один капитан корабля не прибегал так часто к барометру и к «бюро погоды», как эти люди, собранные здесь в зале. И, все-таки, — стояло кому-то, выступив, неуверенным голосом сослаться на дождь, как в зале зашикали. Выступавший обидчиво огрызнулся:

— А ведь все-таки факт, льёт как из ведра, пойдика покоси!

— И тем более покошу! — отвечает с места чей-то немудимый бас.

Чувствуется, что люди окрепли на сопоставлении трудностям, привыкли к их преодолению. И, как бы откликаясь на это вырощенное в людях самоуважение, на это желание глядеть в глаза правде, доклад первого секретаря беспощаден. Негромко, сдержанно, около трех часов льется его речь, анализирующая положение таким, как оно есть. Не упущена ни одна слабость, ни один недостаток, — и, несмотря на суровость общей картины, — или, может быть благодаря ей, речь воспринимается вами, утверждается в памяти, как вершина ярчайшего оптимизма. Даже метод критики заражает вас оптимизмом. Вместо удара по наихудшему району, докладчик оставляет его в стороне и неожиданно открывает огонь по среднему району.

Секретарь этого района, сидевший за табличкой своих, средне-благополучных цифр, как в классе сидят за «тройкой», с чувством некоторой личной безопасности, делает от неожиданности невольное движение. И вы видите, как алая краска заливает шею секретаря, как вспотели его виски. Эта критика, направленная не на самое плохое в своей области, а на среднее в своей области, сразу дает как бы ключ к предстоящей работе, она устанавливает высокий критерий. Людям становится видно, что недостатки среднего района — непростительные недостатки, потому что район имеет больше возможностей победить эти недостатки, не иметь их, не мириться с ними. Тяжелые, «плохие» районы, привыкшие, чтобы их всякий раз критиковали, удивлены. Вы ищите глазами работников этих районов, хотите заглянуть им в самую душу, развинтить ее по винтику и, встретившись с чьим-то изумленно беспокойным взглядом, спрашиваете себя: что происходит, когда самый слабый слушает, как критикуют среднего? Не мелькнет ли у него озорная мысль: «А вот возьму да и перекрою битый средний район!» Ведь не даром же позднее, в прениях, секретарь Кизилского райкома Лигатников признал, что в его районе «отстававшие колхозы в этом году идут впереди», а Баландин, секретарь Чебаркульского райкома, и еще крепче выразился: «Передовыми колхозами в этом году оказались как раз те, что были самыми отсталыми в прошлом». Плохие, перепрыгнув средние, сразу вышли в лучшие!

Удивительная земля Южный Урал. Она лежит, как летопись, позволяя читать себя по одним названиям. Вот деревни — уральские, искони русские, но какие у них имена! В Челябинской области есть Париж, Лейпциг, Берлин, Тарутино, Балканы, Харьков, Подтава, Бородино, Порт-Артур, Чернигов, Варшава... Есть и не

такие еще чудеса: вот районный центр, средоточие всего большого района, с названием, которое попробуй-ка выговори сразу, разберись в нем: Фершампенуаз! Откуда, почему? С какой стати Фершампенуаз в Челябинской области, напоминающий, если перевести с французского, и бассейн реки Уазы, и поля, и железо. Но хорошо, что эти чудаковатые названия не переименованы, остались, не стерты с карты и с лица земли, потому что они говорят и напоминают многое о многом. Были войны, русские войска завоевывали бесмертье в подвигах, они брали города, чужие, на чужой земле, но взятые города лепились к знаменам полков, к имени полка. Приходили враги и были с честью отбиты из пределов родины. И были поражения, на которых учился русский народ и которые заставляли его зорче глядеть туда, откуда грозила опасность. И вот бойцам славных былых походов, офицерам, казакам, давали на богатом, глухом Урале, далекой земле, где только облака гуляли в небе да лилица в траве — уголья жирной, плодородной земли. Владельцы называли ее именем, отпечатлевшимся в памяти. Так рождались здесь Парижи и Берлины, так возник, — памятью с поражением, — Порт-Артур. Сюда шли переселенцы из густых русских провинций, из бедной, трудолюбивой Белоруссии с ее трудной землей, болотами, песками. Шли ссыльные поляки, украинские крестьяне после 1905 года несли с собой вечную любовь к белой мазанке-хате, к душистым травкам на полу, на стенках, к вышитым рушникам в углу под кимоном. Так рождались здесь Мински и Черниговы, Варшавы и Харьковы... Но рождались не только имена. Люди тяжелым трудом поднимали целину, и потомки казаков, солдат, переселенцев, революционеров — становились крестьянами, хлеборобами, а потомки потомков их стали советскими людьми. Замечательный сплав получился — уральские люди!

Плоть от плоти и кость от кости этого сплава выступали на пленуме. Один за другим на трибуну всходили командиры районов: чебаркулец Баландин, белокурый, подтянутый, светловолосый, типичный уралец, Богатырь — косяк сажень в плечах, — но с лицом «красной девушки» и с застенчивыми добрыми голубыми глазами — Раков, белорус, секретарь Миасского райкома. Комсомолец в каждом движении, в задорной шрядке на лбу, в ораторском поджиганье губ после каждого абзаца — драчливый и напористый Нязепетровский секретарь, Александров. Вдумчиво-медленный, с узкими щелчками глаз на крулом и темном лице — Назмучдинов, секретарь трудного района, Полтавки. И Чесма, знаменитая Чесма, — крепкий, бронзовый, в тугой гимнастерке, словно отлитый на его массивных плечах,

Френкель, секретарь Чесменского райкома, вытаскивший в прошлом году свой район, один из самых отстающих, на передовое место... Всем им делал суровый смотр докладчик, и все они, с такой же суровостью делают смотр своему хозяйству — горючему, рабочей силе, механизмам.

С горючим обстоит на Урале очень напряженно, а главное — не совсем организованно. Погода здесь капризна, сроки посева и уборки колеблются; в этом году, например, из-за холодов сеять пришлось на две недели позже обычного, а потом шли долгие дожди, отодвинулся сенокос, и к осени сразу нашли друг на друга множество работ. При таких капризах погоды надо всегда иметь про запас горючее, готовить его заблаговременно, а между тем ни Главнефтеснаб, ни директора МТС не подошли к этому по-настоящему серьезно. Область жалуется на Главнефтеснаб: систематически опаздывает, не досылает, заставляет простаивать, ждать. Уполномоченный Главнефтеснаба огорчается цифровой сводкой: сколько следовало, столько нефти и было отпущено. В ответ несутся возгласы с мест: да, но когда отпущено? По старой поговорке «дорого яичко в пасхальный день», а тут, когда нужно горючее — нет горючего, а когда время потеряно — оно подвозится. Но оказывается, что в слепом выполнении цифры завоза, без точного учета сроков, виноват не один уполномоченный, виновато не одно запоздалое поступление нефти. Облисполком не вел тщательного цифрового учета надобности и потребления нефти по конкретным сезонам и местам потреблений. Нет цифр — нет их в обло, неизвестно, почему не удалось иметь их уполномоченный Госплана. Во-вторых, — сами директора МТС не без вины тут. В конце работ, когда делается подсчет работы горючего, есть у некоторых директоров соблазн: проставить у себя остаток горючего. Думает он: работы кончены, с нового сезона — и учет новый, а за экономию горючего получу благодарность, оно и ладно... И директор «невинно» проставляет несуществующую цифру остатка, хотя на донышке от горючего — только грязная гуща. Но этот расчет на похвалу — воспитывает обманчивый расчет и в снабжающих организациях; там думают: сэкономил, — молодец; значит, при случае, когда выйдет задержка, он перетерпит.

Урок этого года не должен пройти бесследно для области. На войне у каждого солдата есть так называемый «неприкосновенный запас». В борьбе за урожай должен быть незабываемый запас нефти и у каждой южноуральской МТС.

Не лучше как будто и с механизмами. В области, насыщенной металлом и заводами, нехватает у огородников тяпок, нет простейших орудий — окурника, граб-

лей; в области, где создан был красавец-завод, Челябинский тракторный, — нет частей для тракторов, и если они есть, то лучше б их не было: «цилиндры ЧТЗ — брак!», — говорит один оператор. «Ступицы звездочек, ведущих к ЧТЗ, делаются из чугуна вместо стали, крупки, рассыпаются при первом же трении», — вторит другой. «У лобогреек изнашивается ходовое колесо, а попробуйте-ка, найдите ходовое колесо, — в результате сотни лобогреек стоят», — восклицает третий. «Сортировки нам дают непрочные, хватает их на полкилометра, не больше», — деловито подтверждает четвертый. В каждом выступлении слышится эта жалоба на нехватку вооружения, на недоброкачественность его, — нет влагомеров на заготовительных пунктах, не знаешь, как определить влажность зерна при его сдаче; невозможно найти такую дефицитную вещь, как коленчатый вал; купишь весной подолынок за четыре тысячи рублей, а у него растяжная тяга не работает, болты заржавели; есть в колхозе лошади, нет телег; и — главное — нет запасных частей для комбайнов, нет полотен хендера, цепей Галла «шаг 25»; вместо деталей — посылают полуфабрикаты, и ты их изволь сам доделывать у себя.

Как раз к пленуму в Челябинске открылась выставка ширпотреба, точнее — всех необходимых для гражданского потребления предметов. Мы прошли ее вдоль и поперек в поисках сельскохозяйственных машин. На четырех этажах школы, в просторных классах собрались заводские печи и орсы (тут, на Урале, они «курсы»), мелкие артели и крупнейшие комбинаты, отдельные города и номерные заводы, лептормы и спецторги. Меж кадками искусственных пальм, букетами увядших цветов, коврами на круглых столиках, где каждая организация выставила, по мере своих достатков, величественные альбомы в переплетах картонных, кожаных и бархатных для записи впечатлений посетителями, — приютились экспонаты.

Сверкает сталь больших, на упругих сетках, магнитогорских кроватей; висят на стене изысканные златоустовские нержавеющие ножи и вилки; белым и красным цветом, без блеска, матово глядят витрины завода № 4, где из органического небьющегося стекла, легкого, как щепотка сена, разложены рюмки и чашки, портсигары и ручки, письменные приборы и пепельницы, хранящие какую-то чопорную угловатость своих странно-недвижимых неотбегаемых форм; развернула веером свои добротные нитролаки, — цветные лакированные образцы, — завод № 34; тикают круглые, крупные часы в стальной оправе, — опять Златоуст; черным миром фигурок, исполненных движения, — кони, олени, бойцы, охотники,

вскинутые копыта, склоненный клык кабана, стремительный поворот длинного жерла орудия в танка, — раскинулось каслинское литье, мастерство старинное и уважаемое... и странно видеть, как много движения в тяжелом чугууне, и как много неподвижности в легком, небьющемся стекле. Все это экспонаты свои, уральские, имеющие за собой или долгую традицию, или нелегкую историю освоения за период войны...

Но где же, где здесь самое нужное, где вооруженье для новых мирных боев на полях — машины, орудия сельского хозяйства? В огромном помещении выставки, на четырех этажах, одиноко потерялись — длинная ручка планетки, зубы топорно сделанных граблей, колесо, лейка. Крупнейший завод, отец уральского трактора, выставил кашканы для волков. На этикетках цифры запланированного и изготовленного фактически: неутешительные цифры, изготовленное далеко отстает от плана. А ведь уж осень, началась выборочная косовица, предстоит настоящий великий бой за хлеб.

Искусство тронуло бессмертным железом великие минуты перед битвой, когда бойцы чистят, проверяют, осматривают свое оружие. В «Полтаве», в «Бородине», в «Воине и мире», в «Тарасе Бульбе», в «Капитанской дочке» сохранились для нас эти минуты, озаренные ночным костром бивуака, пронизанные ржаньем коня, минуты, когда осматривается «лушечка» на крепостном валу, точится кривая казачья сабля... А сколько написано горького о нехватке вооружения в царской армии, о том, как шел русский солдат брать крепости «голыми руками», с одним патроном на пятерых. И после, когда война заканчивалась, рассеивался пороховой дым на полях, убирались трупы в землю, на миг останавливалось время и начинало, как будто, идти медленнее, словно тоже отдыхая в своем течении после войны — вот здесь, в одном из этих краев, богатых железом и донами, родилось выражение «переход на мирные рельсы». Крылатый русский язык здесь словно обескрылился. Он не взял ни метафоры, ни образа, а просто четыре обыденных слова, в буквальном их смысле: производил завод боевую сталь, предметы военные, сейчас опять переходит на продукцию мирного времени, на «рельсы»... Так же можно было бы сказать «переход на кровельное железо». Только время, пособник искусства, сдвинуло буквальный смысл этих слов в метафорический смысл, перевело их из заводского отчета в художественный образ.

Когда на пленуме обкома люди выходили и осматривали свою «технику», то мы в зале невольно думали: устарело выражение, нет в нашем обществе «мирных рельсов». Одна битва сменяется другой

битвой, один вид вооружения — другим. Правда, переход с военной продукции на мирную тяжел и труден. Снова должно повернуться само основание производства, металлургия, начав отливать товарный металл; за ним — войдет в цеха все сложное многообразие мирных предметов... Но нет, не мирных! Директоры заводов, начальники цехов, члены всяческих артелей должны втянуть в себя воздух полей, как дыхание нового фронта, увидеть огни полевых бивуаков, почувствовать, чем живет и за что борется сейчас советский человек на полях, чтобы перенести свою требовательность, свое чувство качества, возросшее за время войны, — на сельскохозяйственную машину. Здесь нужен не только технологический, но и большой психологический поворот. И на пленуме этот упор на качество, это требование психологического поворота были уже ясно ощутимы.

III. ИЗ МИАССА В ЧЕСМУ

Зеленый маленький «виллис», похожий на кузнечика перед прыжком, срывается с места, чтобы вынести нас из городской пыли и камня на мягкую земляную дорогу. Природа принимает вас неодолимой лаской. Ветер гонит на вас волны одуряющего аромата. На языке у вас — вкус земляники, сдобренный горьковатой полынью. С нежнейших белых росышей медуницы, с мохнатого донника гулко срываются тяжелые пчелы, вонзаясь в воздух тонким штопором своего немолчаливого жужжанья. Что ни поворот, то новая выдумка природы: встреча с горным хребтом, кудрявым, под мелкой, карликовой вишней; уход в черную глубь леса, где сосна чистая, раскидистая, с ветками до земли; взлет на высоту холма, за которым необъятные долины, до горизонта, а потом вдруг ущелье, и «виллис» храбро пересекает изумрудную речушку, прозрачную, как горный кристалл, или, обогнув золотисто-зеленые заросли, врывается на берег синего озера. Лежит озеро в полном одиночестве. мелкие волны набегают на песчаный бережок, чмокая, — словно стриж в траве, качаются на воде розовые кувшинки, ни души, ни дымка, ни следа ноги на песке, — время остановилось. Такими бывают сны в ранней юности. И кажется, ничего лучше в мире нет, как этот маленький «виллис», открытый с двух сторон ветрам, и воздух, в котором купаешься вы, и мир, несущийся вам навстречу в его неповторимом разнообразии. Уйти в это движение вперед — и никогда не возвращаться!

Так пересекали мы в течение нескольких дней, делая нескончаемые зигзаги и петли, чтоб заглянуть в каждый район, в каждое колхозное поле, — всю Челябинскую область, с севера на юг, из горного,

лесистого Миасса, где царствует огород, в степные просторы Чесмы, где диктует зерно.

Центр Миасского района — еще недавно город Миасс, а сейчас большое село Кундравы полурыбачьего типа. Вы к нему спускаетесь вдоль выхоленных долин, со всех сторон, как по краям чайного блюда, окруженных холмами. Сперва на горизонте свинцовая полоска, потом открывается большая спокойная водная чаша, и что-то вроде черных крыльев ветряной мельницы над ней. Это стоит гребец на очень узкой лодке. Он держит в руках единственное весло с двумя лопатками на каждом его конце и, делая округлые движения то одним, то другим концом, гребет, как венецианский гондольер. Улица топкая, едем по самому берегу, мимо избушек с рыбацкими сетями на заборах, мимо опрокинутых лодок и ребятишек, спящих по воде, подвернув высоко штанишки. Пахнет водой и особым речным запахом, — линью, окунем, карасем, мелкой болотной рыбешкой, запахом, так не похожим на мясистый дух крупной рыбы. Подем наверх, и по немощеной главной улице — здание райкома на два этажа, с красивым кабинетом, воздушными занавесками на окнах, обязательными на Урале предметами каслинского литья на столе и прибором из полированной яшмы, а света нет: на тарелке истекает керосином старая небольшая лампа. В Миасском районе 25 колхозов, 1 зерновой совхоз, золотой прииск, территория знаменитого Ильменского заповедника, — но промышленность отошла вместе с выделенным городом Миассом в ведение миасского горкома. Раньше название «Кундравы» казалось вам чем-то мифическим. Заехав на станцию Миасс, вы могли посетить музейчик, где, между прочими случайными предметами, встречала вас странная деревянная фигура голого Христа в сидячей позе, в человеческий рост, ярко и неприятно раскрашенная. Это — так называемый «кундравинский бог», своеобразное творчество деревенского скульптора из села Кундравы, когда-то предмет спекуляции местного духовенства, якобы открывшего эту «нерукотворную статую» в одном из крестьянских дворов, а сейчас — экспонат музея. Так вам впервые становилось известным село Кундравы, и вы его представляли себе почему-то лесной глушью, вроде тех жерцащих лесов со скитами, какие описал Мельников-Печерский. Но сейчас, с перенесением сюда районного центра, большое, просторное село Кундравы сделалось известней, и ездят сюда чаще, хотя лежит оно далеко от железной дороги.

Высокий, — косяя сажен в плечах, — Николай Филиппович Раков, секретарь миасского райкома, тот самый белорус с лицом красной девушки, о котором я упомянула выше, — подсел к нам в наш ма-

ленький «виллис», вернее — встал на приступку, чтоб показать свой район. Сгибаясь всей своей исполинской фигурой при толчках и поворотах, он плавным движением указывал то направо, то налево. Мы — словно в сад — въехали в залитую вечерним солнцем долину, с огромными, позлащенными закатом массивами картошки, грядками капусты и помидоров. Как-то невольно вспомнилась Швейцария, где все поля кажутся пригородами, где даже пшеница как будто в саду растет. Это — один из лучших пригородных уголков области, колхоз им. Десятилетия Октября. Тридцать семь лет назад группа переселенцев-белоруссов перебралась в Сибирь. Но Сибирь показалась белорусам слишком суровой, и они отрядили, уже в советское время, ходока на Южный Урал. Ходок поехал, облюбовал эту долину, и в 1927 году в ней образовался колхоз, а ходок, Исаакий Иванович Синяков, стал его бессменным председателем. — «Если бы все у меня работали, как они, я бы горя не знал», — говорит Раков — сам выходец из этой семьи переселенцев.

«Виллис», фыркнув, остановился возле крепкого «проволочного заграждения». За ним — стеклянные стены низенькой оранжереи. Крайний старик выходит нам навстречу с мелко-кудрявой, осеребрённой, векинутой кверху бородой; с крупно-кудрявой головой; с крупным бледноватым лицом в испарине и ветвистыми, — словно дуб пошел на вас, — большими, длинными руками. Зовут его Кирилл Адамович Лапа, он бригадир овощной огородной бригады. Видно, что Кирилл Адамович любит показывать свое царство, тем более — посетители сюда редко заглядывают. Он не просто идет по грядкам, а раздвигает густую ботву, показывает, как у него прополотло, как окучено. Косые ромбы кустиков помидоров, словно на прифельной доске в классе, он обвел перед нами восьмью пересекающимися линиями, чтоб продемонстрировать геометрию такой посадки: восемь раз можно обойти куст планеткой. Пока мы ходили по грядкам, кто-то, неслышно приблизившись босыми ногами, тронул меня за рукав: «Иди, посмотри нашу работу!» Пожилая белорусская крестьянка, только что закончившая прополку, стоит перед нами; за нею на земле, сложив тяпки, сидит бригада старух — восемь женщин. Все они в возрасте первых переселенцев, цвет колхоза, старшее, выдавшее виды поколение, поднимавшее здесь целину, крошившее своими руками, облившее потом каждый сгусток нетронутой земли. Огромное, чисто прополотое картофельное поле расстилось перед нами.

— А ну, назовите сами лучшую работницу в бригаде! — сказал кто-то из нас, обладатель карандаша и блок-нота. Сперва никто не хотел говорить. Потом выступи-

ла одна, помоложе, и, указав пальцем на ту, что была всех старше, сказала нам: «Вот ее запишите, Пелагею Михайловну Беренкову — она самая лучшая». Мы взглянули на Пелагею Михайловну, старушку с крупным, как из глины вылепленным красным лицом, обожженным на солнце, с реденькими седыми волосами на розовой коже, гладко прибранными под платок. Была ли она самая лучшая или ей тяжелее всех пришлось в жизни, но только сна разволновалась от удовольствия, отмахнулась, смеясь, и вдруг всё лицо ее, как было, потное, обожженное, осыпалось неожиданными росинками мелких, набежавших сквозь улыбку слез. Никак нельзя было после этого не переиспытать и всю бригаду. Вот они: самая молодая, Федора Куприяновна Сяницына, и самая старая, Пелагея Михайловна Беренкова, а между ними по возрасту Анастасия Ильинична Дубровина, Татьяна Пахомовна Лапина, Марья Анисимовна Антипова, Софья Трофимовна Лапина, Марфа Кондратьевна Клеменкова, Христина Ахотовна Домаренко, Федора Васильевна Лапа. Видно, преобладает род Лапиных.

Покуда мы знакомились и пробовали маленькие бледнорозовые помидоры из оранжереи, упал вечер, потемнело сразу, по-уральски, и сразу же стало свежо, как в позднюю осень. Ночь приглушила запахи, обострила и выдвинула звуки. Мы двинулись все вместе, мимо взлаявшей собачонки, к ночлегу.

Сколько этих ночлегов было у нас на пути! Мы ночевали в крестьянских квартирах секретарей райкома, где такое же, как в колхозах, домовитое хозяйство, корова, огород за плетнем, красный язычок керосиновой лампы.

Нас водили ночевать в заводскую гостиницу в Чебаркуле, — маленький, чистый домик с опрятными железными кроватями и неизменной геранью на столах, крытых тюлевыми скатертями. А земля — от ночлега к ночлегу — всё бежала по сторонам, неуловимо меняясь, отходили на север горы, редели леса, всё шире, шумнее, колосистее открывалось поле. И под конец путешествия мы очутились на юге, в Чесме.

Большое село, далекое от железной дороги и шоссе, в безлесной степи, почти без садов; широкая площадка перед зданием клуба, с одиноким столбом «гигантских шагов», вокруг которого с визгом кружатся-летают дети; «гигантские шаги» — словно символ для всего района, так много здесь пространства, такая ширь вокруг, такой поступью нужно шагать, чтоб быть вровень с этим пространством, еще не вполне освоенным человеком. Чесма не давала государству из года в год. Не так давно секретарем Чесменского райкома — бывший работник политотде-

ла Юлий Маркович Френкель. Он вывез Чесму. Чем? Это нужно увидеть на полях. По всей области находили мы колышки — следы проведенного севооборота. Но в Чесме на полях, кроме этих колышков, есть и другие, с табличками, где аккуратно написано «за это поле ответственна бригадир такая-то». Поля потеряли здесь свою обезличку. Прежде чем познакомиться с людьми, увидеть их в лицо, вы читаете и запоминаете их фамилии и видите за фамилией дело рук человеческих, поле, в различной степени выхоженности, засоренности, чистоты.

«У меня принцип — я никогда не меняю людей в колхозах. Если работник плох, я его поправлю, добьюсь, чтоб он стал хорошим. А хороший работник у меня не теряется, не может не быть замечен, — и это дает большой результат. Во-вторых, машины, — я над тракторным парком стоял, как над собственным ребенком, ежедневно следил и проверял. И в-третьих, в свое время получают колхозники, что им полагается. Никогда не промедлю срока выдачи. Люди чувствуют, что им стало легче, лучше, дорожат этим, не хотят спускаться с достигнутого». Так рассказывает Френкель, пока мы объезжаем бесконечные поля его района.

Здесь, в Чесме, мы встретили «глубинки» — несколько домов на отлёте, свежестроенные здания складов, — и я впервые узнала весь парадоксальный смысл слова «глубинка». Она представлялась мне чем-то очень глухим, далеким от всех проезжих дорог, задвинутым в глушь. Но оказывается — самое глухое и далекое село, если оно вывозит зерно в район на собственном транспорте, это еще не глубинка. А «открыть глубинку» — значит разрешить колхозу оставлять государственное зерно на хранении в собственных складах, пока за ним не заедет Заготзерно и не вывезет его своими силами.

Выйдет ли Чесма и на этот раз победительницей? Должна выйти, как должны выйти и другие зерновые районы области.

Мы раздвигаем руками пышные хлеба, почти в рост человеческий. Секретарь обкома, он же водитель нашего «виллиса», Иван Васильевич, — сам агроном, и помощник его — тоже агроном; им всё надо оглядеть, перещупать, обменяться негромко словом-другим, размять на ладони зернышко озимой ржи и попробовать его на язык. Хлеб начинает дышать и различаться под их взглядами и словами. Вы, городской человек, следя за ними, понимаете, где хорошо, где плохо. И в пшенице начинается смыслить, — усатой и безусой, той, что пойдёт на хлеб, и «макаронной» — толстой, твердой, увесисто бьющей вас по руке. И узнаете, — впервые может быть, — что и перловая крупа это особый сорт пшеницы... Урожай яровых в общем хорош по всей области. Озимую

рожь многие колхозы сеяли по стерне, — воплощая в жизнь новую гениальную идею Лысенко. Кто соблюдал при этом все указанные им правила, тот получил урожай любо-дорого, «даровой хлеб», — негромким своим добрым голосом говорит Иван Васильевич.

IV. УРОЖАЙ НА СТЕРНЕ

Когда вы спрашиваете в закавказских республиках агронома, как это так вышло, что за время войны, в обстановке более трудной, более сложной, при отсутствии достаточного количества рабочих рук, нехватке машин и горючего, Закавказье сумело превратиться из страны, потребляющей ввозной хлеб, в страну, производящую и вывозящую хлеб, — агроном обычно ответит вам: «тут много помог и озимый клин». Весна в горах капризна. В Армении град, величиной с голубиное яйцо, побивает весенние посевы чуть ли не ежегодно. А озимый клин, который начали вводить и расширять в годы войны, обеспечил и более устойчивый урожай и сыграл немалую роль в поднятии культуры земли, в проведении севооборота.

Но в Закавказье тесно, мало места для хлеба, там, что называется, «хлеб не главная тема». Для степных же равнин Сибири, лесостепных просторов Урала и, особенно, Южного Урала, Северного Казахстана, где хлебу не тесно, где тучная удивительная земля, где сильное солнце — той силы радиации, какую знает лишь короткое континентальное лето в Азии, где воздух сух и прозрачен до боли в глазах, небо — чистоты необычайной, и солнечный луч падает на землю, не ослабленный и не смягченный давлением влажной атмосферы, — словом, в огромных, неохватных просторах нашего Востока, хлеб — одна из «главных тем», большая тема. Мы тут — в восточной житнице всей великой нашей родины. И при злешнем капризном климате, изменчивой весне с неожиданно-резкими похолоданиями и очень засушливом, а иногда и чрезмерно мокрым лете — озимый сев, сев «под снег», мог бы сыграть очень крупную роль в балансе сельского хозяйства.

Между тем, с озимыми в Сибири и на Урале дело обстояло до сих пор очень плохо. Как ни тщательно готовили колхозники пар под озимую пшеницу, она почти всегда погибала. Лишь раз в 10—15 лет озимая пшеница давала тут урожай, да и то не очень завидный. Установилось мнение, что озимая пшеница погибает от вымерзания, не может перенести суровых здешних холодов. Ученые бились над выведением морозостойких сортов пшеницы, агрономы придумывали всевозможные способы обработки паров под озимые. Но пшеница продолжала погибать. Она погибала и в тех случаях, когда самые зи-

мостойкие сорта высевали в самый лучший пар. Дело казалось безнадежным...

Однажды академик Т. Д. Лысенко проходил по такому погибшему полю озимой пшеницы. Вокруг была южноуральская раздольная степь с темными барашками невысоких и густых березовых рощиц, сияло, как чистая бирюза, небо, бледное от слишком большого жара солнца, — а из-под ног, рядом с мертвым полем невыросшей пшеницы, выбегала и уходила вдаль черная лента обыкновенной дороги, утоптанной людьми, лошадьми и колесами. И вдруг на этой дороге, рядом с полем мертвой пшеницы, академик Лысенко увидел колос. Крепкий, налившийся, здоровый и нормальный пшеничный колос кланялся ему по ветру, как живая душа, уцелевшая рядом с полем мертвецов. Зерна, упавшие в рыхлый пар, погибли; а зерно, упавшее на плотную землю проезжей дороги, взошло и колосилось. И эти зерна были родными братьями. Так дан был толчок для одной из плодотворнейших мыслей пытливого советского ученого.

Что это значило? Это значило, что дело вовсе не в вымерзании! Если налицо нормальное развитие зерна в тех же климатических условиях, в каких другие зерна погибли, то холод здесь явно не при чем. Так что же тут «при чем»? Неужели чистый рыхлый пар хуже для озимой пшеницы, чем плотная, убитая, неподготовленная дорога? И, если хуже, то почему хуже?

На все эти вопросы академик Лысенко дал ответы. В Сибири и на Урале в дождливую осень «пар» пропитывается большим количеством влаги, чем обыкновенная земля, и это понятно: он пористый и губчатый. В местах кущения зерна, то есть там, где зернышко дает уже кустик ростков, влага скопится еще больше, стекаясь туда, как в ямку. Когда сразу ударят морозы (чудесная точность русского языка в этом выражении — «ударил мороз»), то большие поры земли, заполненные влагой, застывают в крупные куски льда. И эти кристаллы льда, при весенне-летнем таянии, механически разрывают почву, ломая и разрывая вместе с нею и хрупкое растение. Таким образом всходы озимой пшеницы погибают здесь не от вымерзания, а от механической травмы. Чего не доделает лед, докончат пыльные бури. Ветер здесь огромной силы, он несет по незащищенному, рыхлому полю озимых, сдувая его верхний слой, побивая уцелевшие всходы тучей пыли и земляных частиц. Так, идеальные культурные условия, создаваемые для озимых посевов, неожиданно становятся причиной их гибели.

Но почему уцелело зерно на дороге? Да потому, что в плотной почве не было больших пор для образования крупных кристаллов льда, не произошло и резких

разрывов почвы при таянии. И тут, как логический вывод, у академика Лысенко блеснула практическая идея, смелая, новая, ошеломляющая: если так, то не попробовать ли тут сеять озимые хлеба — не в чистые пары, а прямо по стерне? Можно сказать, что в земледелии не было более смелой и — добавив от себя — более потенциальной мысли, чем эта мысль, приведенная в исполнение в самые напряженные годы Отечественной войны. Пусть только ясно представит себе читатель, о чем идет речь. Пар — это вспаханная, очищенная, подготовленная земля, лежащая круглый год на отдыхе, — под паром, — отдавая теплое дыхание своих взрыхленных и перевернутых недр солнцу и утренней росе. Стерня — это отражавшая земля, с которой осенью только что скосила хлеб. Неприглядна и угрюма стерня, не дышит, лежит, как плохо обритая щека, вся в желтых, «недобритых» кончиках острой соломки, в сухих, безжизненных корешках снятого хлебного колоса; ходить по ней больно, то и дело наколешься, а глядеть на нее — неутешно, как и на все, уже истощенное, сделавшее свое дело и нуждающееся в большом добавочном труде человеческом, чтобы снова ожить и пригодиться.

На Южном Урале, при годовом плане посева под озимые в сто восемьдесят тысяч — двести тысяч гектаров, эти посевы озимых производились на чистые пары. А так как они большую часть погибали или давали очень незначительные урожаи, то значит мы жертвовали 200000 гектаров лучшей земли, огромными пространствами дышащих, отдохнувших, тучных паров — по сути дела почти ни на что, на заведомо небольшой результат. Между тем мы можем эту лучшую землю отдать под лучший культурный сорт хлеба — под яровую пшеницу, а озимый клин, ни в коем случае не уменьшая его, а местами и увеличивая, сеять прямо по отработанной земле — по стерне.

Застрельщицей этого необычайно смелого дела выступила Челябинская опытная селекционная станция в лице своего ученого агронома В. И. Дидусь и директора Н. С. Фролова. В напряженные дни осени 1942 года они посеяли для сравнения озимую пшеницу на участке в 34 гектара удобренных паров, а рядом, на участке в 23,7 гектара — по стерне. И озимая пшеница вошла, дав на парах средний урожай в 3,3 центнера с га, а на стерне в 14,1 центнеров с га, то-есть по стерне в 4 раза больше, чем на парах! Не успокоившись первым опытом, селекционеры повторяли его каждую осень последующих лет. Результат стойкий: урожай пшеницы на стерне или выше, или такой же, в зависимости от того, раньше или позже удалась провести сев.

Хуже обстоит дело с озимой рожью, урожай ее на стерне ниже, чем на парах, но и тут посев на стерне может дать до 14 центнеров ржи с га. Опыты Челябинской селекционной станции вскрыли все слабые стороны посева на стерне и уточнили условия, при которых слабые стороны могут быть преодолены.

Прежде всего, конечно, надо помнить, что речь идет о Южном Урале, Сибири и части Казахстана и ни о каких других местах нашего Союза; посев по стерне — вещь географически строго обусловленная. Затем, во избежание избытка сорняков, которые растут на стерне вместе с озимыми, надо брать стерню из-под хороших яровых паров, обязательно почистить ее конными граблями, удалить крупные сорняки, особенно — полынь. Не все «предшественники» одинаково благоприятны для посева на стерне, — предостит еще серьезное изучение микрофлоры, создаваемой каждым предшественником, и в соответствии с этим — их выбор. Главное же — это требование, предъявляемое к уборке яровых: успех посева по стерне во многом зависит от чистоты уборки яровых культур, и здесь новый принцип озимого сева является фактором, подстегивающим общую культуру уборки, то-есть фактором, по существу — прогрессивным.

При соблюдении этих и ряда других условий, например, условий, позволяющих сеять озимые по стерне как можно раньше (уборка яровых в начале восковой спелости, использование стерни из-под раннего сева яровых и ранне-спелых сортов); условий, ускоряющих чистку стерни (требование от комбайнеров, чтобы при уборке яровых прикрепляли к комбайну легкие клетки, убирали в них солому и свозили к краю поля); условий метода сева озимых (дискowymi тракторными сеялками) и др. — при неременном и точном соблюдении всех этих условий, Челябинская селекционная станция берет на себя смелость утверждать, что:

1. на Южном Урале озимые можно сеять только по стерне,
2. а пары — оставлять под яровую пшеницу.

Ветер гонит на нас чешуйки желто-пепельных волн. Они бегут, блестя на извилах, и вдруг обрушиваются на нас твердыми, тугими толчками, — это волны озимой ржи, поспевающей на стерне. Достает она в вышину до пояса, сидит густо и кажется на первый взгляд чистой, нормальной рожью, посеянной обычным способом. Но взглядишься и видишь между стеблями зеленые поросли сорняков. Они невысоки, сверху их незаметно, более могучий «ржаной коллектив» угнетает сорняки и почти побеждает их. Если скосить рожь вот по этот пояс, густой и чи-

стый, то сорняки останутся на земле не скошенные. Почти без всякого приложения труда, словно первый человек бросил в землю первые полученные им семена злака, взойшло и колыхнется перед нами бесконечное поле культурного растения.

Большая мягкая рука агронома бережно раздвигает колосья — мы хотим поглядеть самое стерню, эту небритую щеку земли, где она, что с нею стало, где старая солома? Она сгнила, истлела, пошла на удобрение, ее почти уже нет, лишь с усилием можно отыскать и вынуть сухую, обглаженную, легкую, как бумага, палочку старого стебля. Сейчас это уже почти земля, а осенью, когда между соломой по твердой стерне сеяли рожь, — эта солома и эти естественные колышки тоже сыграли свою положительную роль. Они послужили естественными снегозадерживающими.

Поглядите зимой: стерня всегда выглядит более заснеженной рядом с чернеющими парами потому, что ветер легче сдувает снег с паров, нежели со стерни. Но, задерживая равномерно снег, более плотная почва стерни в то же время не дала образоваться и тем самым кристаллам льда, которые на открытых колхозных парах (не имеющих защитного лесного пояса) и ведут к разрыву почвы и озимей, высеянных на парах.

Удача в опытном поле — это лишь половина удачи. О ней заранее и говорить не стоило бы, если бы успех Челябинской селекционной станции уже не подтвердился на колхозных полях, и притом — не только одной Челябинской области. Озимые по стерне сеяли в Сибири и в Казахстане. В Омске 1 августа, в присутствии замнаркомзема т. Пензина, произошло агрономическое совещание о результатах посева на стерне. Вот что пишет ТАСС об этом совещании: «Главный агроном Омского облземотдела т. Каргополов на основании материалов обследования колхозов южных районов области показал

хозяйственную целесообразность посевов по стерне. Колхозы области в 1943 году засеяли по стерне 5.000 га, в 1944 году — 92.000 га. Хороший устойчивый урожай ржи получают колхоз «Красный овцевод» Молоотовского района, зерносовхозы «Сосновский», «Коммунист» и другие. Те, кто сеял осторожно и ответственно, с соблюдением нужных условий, ходят именинниками. Так сеяли колхозы Чебаркульского, Миасского, Еткульского, Чесменского и других районов. В озимях по стерне они получили добавочный, почти даровой хлеб.

Из Казахстана тоже идут подтверждения. Совхоз НКВД в Караганде уже третий год засеивает по стерне 10.000 га.

Это — лишь первые ростки большой идеи, замечательной не только своим практическим значением для нашего государства. В идее академика Лысенко скрыт огромный диалектический смысл, ярко, как вспышка молнии, освещающий плодотворное взаимодействие двух начал: культурного и природного. Не одичает ли в конце концов пшеница на стерне? Но прививка менее культурного начала к более культурному (органотерапия) не ведет к «одичанию», а лишь «омолаживает» культурное начало. Надо только найти правильное взаимодействие, — и тогда в руках человека будет ключ к источнику вечно обновляемой молодости мира.

Южный Урал борется сейчас за первый послевоенный урожай, нарядность богатый. Борется всеми средствами, в том числе и наукой,двигающей вперед агротехнику. Мягкие, округлые очертания темных рощ, парящая в небе птица, яркое поле вокруг, где голубеет и осыпается голубым снегом лен, розовым мелким цветом колыхнется гречиха, где конца-краю нет всем видам злаков, всем оттенкам бегущей под ветром волны хлебов, — как хорошо это, как тянет, как зовет человека поработать, окунуться в благодатное бессмертие мирного труда на земле!

Южный Урал. Июль — август 1945 года.

ЛИРИКА

ЮЛИАН ТУВИМ

Перевод с польского Ник. АСЕЕВА

★

МУЗА

Не ищите яркость слова,
Обложившись словарями.
В сад густой вернитесь снова,
В сад, премящий соловьями.

Там по-старому запойте,
Загрустив по-молодому...
Весь — в невесть какой заботе —
Возвращаюсь я к бывшему.

Трепет трав, деревья, трели —
Те слова не увядают.
Нет, они не устарели —
Соловьи еще рыдают!

Там нас встретит тень любимой;
Как ей сладко было клясться
Той порой невозвратимой.
Лет — тому назад пятнадцать.

Нежный образ, светлый облик,
Ты, что в песнь вложила слово,
Вновь влюбленных, чистых, добрых
Ты нас здесь встречаешь снова.

Ночь в сирени, звук свирели,
Звезды плавают в фонтане...
Так летите ж эти трели
К милой Музе, к светлой Панне!

★

СИРЕНЬ

Нарвали сирени, набрали,
Награбили, наломали,
Накрали — душистой, росистой,
Лиловой и белой, лучистой.

Цветов в ней и листьев — без счету,
Считать — потеряешь охоту.
Топорщится, жметя, теснится,
И в гуще — поющая птица.

Как ветви ломали с размаху —
Запутали сонную птаху.

В ветвях ее шумных и грузных
Забился испуганный узник.

Сирень помирает со смеха:
Куда ты, любезный, заехал?
Ему ж, оглушенному в зелень,
Одно щебетанье — утеха.

В душистой темнине сирени
Он горло дерет в исступленья:
Еще ее рвите, ломайте!
Чтоб согнуть в ее аромате!

★

СТРОФЫ ОБ УХОДЯЩЕМ ЛЕТЕ

1

Смотри, как всюду осень
Вином в стекле вскипает,
А это — лишь начало,
Она чуть наступает.

2

Зазолотели листья, —
Корзинами их сносят.
Травы такая гуща —
Сама покоса просит.

3

В бутылках летний солод
Кипит, бурлит и бродит,
Под пробками томится
И места не находит.

4

А рядом — спелых яблок
Литой сквозь листья глянец,
Поры увядшей лета
Болезненный румянец.

5

Еще на камне греет
Ящерица спину
Среди травы и меди,
Травы, травы змеиной.

6

Медовою волною
Над лугом сено веет,
Дохнет душистым зноем
И вновь похолодеет.

7

Пруд полон облаками,
Как лепестками — чаша;
Я палкой чуть их трону,
Чтоб тишь стояла та же.

8

Насквозь проникло солнце
Сквозь воду, землю, тело,
Ресницы спутал ветер,
Дремога одолела.

9

С плиты смолой повеет, —
Там кипятится хвоя:
Питье, и сам придумал —
Бор — в золотом настое.

10

И сам стихи придумал;
Не знаю, в чем помогут,
Но я писал их тихо,
С любовью и тревогой.

11

И — пусть их мой читатель
Неспешно прочитает.
Ведь песня лета — спета
И осень наступает.

12

Я выпью осень четвертой,
Вернусь в аллею пустынности
И на сырую землю
Под белый месяц кинусь.

★

КАМЫШИ

Над водою тянуло мятой.
Плыл рассвет над водой, розовея,
Камышей густых ароматом
Свежесть вод вместе с мятой веяла.

Я не думал тогда, что травы
Превратятся в стихи с годами,
Что в словах я лишь буду их славить.
А не жить и дышать меж цветами.

Я не знал, что такая мука —
Поиск слов для живого мира,
Я не знал, что цветов наука —
Учит долгу склоняться сиром.

Только знал я, камыш сплетая,
Что силков — никому не готовлю,
Ни за кем не пойду на ловлю,
Что легка моя сеть витая.

Лет беззлобных, великий боже,
Бог мальчишеского рассвета,
Неужели ж не будет больше
Веять мятой и тишью лета?

Неужели ж — всегда и всюду, —
Лишь в словах ища отраженья,
Никогда я видеть не буду
Камышей живого движенья?

БУДНИ ЛЕТЧИКОВ

Герой Советского Союза С. УШАКОВ

★

НАЧАЛО СДЕЛАНО

Сигнал тревоги застал меня на футбольном поле. Это был последний футбольный матч, в котором я принимал участие как игрок команды. Теперь я могу быть только «болельщиком» одного из любимых мною спортивных обществ...

Через несколько дней группа штурманов ехала в поезде во вновь сформированную часть дальних бомбардировщиков. Тут были и прославленные полярники, и летчики Гражданского Воздушного Флота, так называемые «миллионеры», и «тузы» воздуха — летчики международных воздушных линий. Подъезжали и «тяжеловики» военно-воздушных сил. Одеты были все по-разному, в праздничные костюмы, морские кители, форменные пиджаки ГВФ и, наконец, в защитные военные гимнастерки.

Враг рвался к Москве. Мы с болью в сердце слушали сообщения о продвижении противника. Нас охватывало нетерпение. Вставая утром, каждый считал, что все готово и мы вылетим на фронт...

Вся моя летная практика была связана с тяжелобомбардировочной авиацией. Я умел летать на тяжелых машинах, но такого самолета, как тот, на котором нам предстояло летать, я еще никогда не видел. Эта громадина имела в размахе около сорока метров. Для того чтобы влезть в штурманскую кабину, надо было подняться по стремянке длиной не менее 4-х метров. С несколькими толчками бомб машина делала полеты продолжительностью более тринадцати часов. Трудно поверить, чтобы такой стальной корабль, весом в 36 тонн, мог оторваться от земли.

Еще не летая, мы гордились новым нашим самолетом. Ведь все в нем от костыля до мотора было сделано на советских предприятиях, советскими людьми, сделано с большой любовью. С замиранием сердца ждали мы того момента, когда начнем промить врага.

Но вот наконец, все опробовано. Каждый человек экипажа хорошо изучил свое дело.

Мы улетаем на фронт, на один из центральных аэродромов. Наступила торжественная минута. Самолеты выстроены в одну линию.

На нашем участке фронта шли дожди. Используя нелетное время, наш экипаж приступил к сооружению землянок, на что ушло три дня. Землянки удались наславу: в них было светло, просторно, а самое главное, сухо.

Вошел дежурный по стоянке самолетов и доложил, что получен приказ на вылет.

— Беседу продолжим в следующий раз. Не забудьте, товарищи, кто о чем думал перед своим первым боевым вылетом, — быстро одеваясь, сказал парторг.

Через несколько минут мы были в самолете и, опробовав моторы, медленно рулили на старт. Летчик включал попеременно то правую, то левую фару, чтобы не наскочить в темноте на препятствие. Дождь перестал.

— На взлет! — громко раздался голос Додонова. Моторы заревели, и самолет покатился в направлении световых точек.

— Держи газы!

— Есть держать, — отвечал Арсен. Это входило в его обязанности второго пилота, Додонов был занят только пилотированием самолета. Я следил за нарастанием скорости. 90—110—120 километров скорости, а самолет все еще бежал и бежал по земле, не отрываясь. Но вот стрелка указателя скорости подошла к 140, и самолет оттолкнулся от дорожки. Но Додонов не хотел отрывать корабль на малой скорости и прижал его снова к земле. Когда поднялись, раздалась команда:

— Убрать шасси!

— Есть убрать, — отвечал бортмеханик Прокофич.

Мы были в воздухе. Начало сделано. Теперь все будет повторяться: и взлет, и полет по маршруту, и посадка. Но отныне ни один полет не повторится во всех своих элементах, ибо мы на войне.

ВСТРЕЧА СО СТИХИЕЙ

Светит июльское солнце. Парит. Быть грозе.

В середине дня более половины неба покрылось кучевыми облаками. Они не опасны для полета, но создают сильную «болтанку». Вечером, как это часто бывает в июле и августе, они могут сгуститься и разразиться грозой.

Это хорошо понимали летчики. Гроза не может помешать выполнению боевой задачи, так как обычно грозы захватывают небольшие районы, всего несколько десятков квадратных километров. Подготовка к очередному боевому вылету шла обычным порядком.

Отдохнув в тени сосновых деревьев, мы с Арсеном пошли на командный пункт. Там нам сказали, что Додонов заболел и вместо него летит Владимир Пономарев. Я знал Владимира как отличного летчика. Он успел налетать не одну тысячу часов и несколько сот тысяч километров. Владимир был человеком скромным и немногословным. О разного рода происшествиях в воздухе он говорил только в тех случаях, когда надо было доказать, что всегда можно выйти из того или иного тяжелого положения в полете. За летное мастерство и скромность Пономарева любил.

Недавно он вернулся с дальней цели на двух средних моторах. Два крайних были выведены из строя зенитной артиллерией противника. Опытные летчики понимали, чего стоил такой полет. А Владимир не находил ничего необыкновенного. При подходе к аэродрому он ничего не требовал и производил посадку в общей очереди круга. Посадка была произведена блестяще.

— Вы знаете, я лечу с вами, — обратился он ко мне.

— Ну и что же? — спросил я.

— Ведь мы вместе еще не летали!

— Не могу допустить, чтобы у вас было какое-нибудь сомнение насчет нашего экипажа, — заявил я.

— Да что вы? Я просто рад лететь с вами.

— Ну довольно, Володя! Существует предел и скромности. Все знают, что ты за летчик, и мы рады будем воевать под твоим командованием.

Метеоролог доложил метеобстановку.

— Над целью будет малооблачно, но на маршруте вы встретите грозовые облака. Обойдите их неделя: они заполняют широким большим район. Придется вам или проходить выше облаков, но тогда придется подняться до 8000 метров, или же искать пути между отдельными грозовыми «наковальнями». Во всяком случае, полет в облаках невозможен.

Взлетели засветло. Солнце только что скрылось. Пошли с набором высоты.

Следовало обойти запретную зону курсом на юг.

Через 20 минут полета достигли исходного пункта маршрута. Прибор показывал высоту 2000 метров.

— Высока что-то облачность впереди, — сказал Арсен. Я это видел, но молчал. Видел это и Владимир, но также молчал.

До облаков было еще километров 300. Заря освещала их тыловую часть, поэтому они и были видны так далеко.

— Успеем или нет набрать до них нужную высоту — не так важно, — заявил Владимир, — проскользнем как-нибудь. А вот как вырваться обратно, об этом надо подумать.

Я понимал, что эти разговоры велись только из-за того, чтобы не скучать, так как сейчас невозможно было принять какое-либо решение об обратном маршруте. Ведь мы даже не знали высоты верхней кромки...

Темнело. Земля постепенно пропадала из виду. Под нами были облака. Приходилось лавировать между отдельными шапками. Надоедала сильная «болтанка».

— Командир, обойди облачность прямыми курсами, не делай виражей, — сказал я, — иначе мне невозможно вести численные пути. Если видишь, что не перелететь облако, заранее измени курс.

— Так и будет, — сухо отвечал Владимир.

Впереди сверкнула молния.

— Гроза. Красиво! — восхищался Прокофич.

— Красиво, когда смотришь издали, а вот если коснешься ее, тогда узнаешь, что это за красота, — посмеиваясь, сказал Арсен.

Машина уклонялась на юг. Время от времени облачная стена освещалась электрическими разрядами. После вспышки становилось еще темнее и грознее. Вся эта прозная масса двигалась на юго-восток, как бы спеша отрезать нам обратный путь домой. Прошло 25 минут, и туча осталась позади. Теперь стало легче. Хотя мы и находились за облаками, все же можно было лететь по прямой. Я взял за секстант и по двум небесным светилам — Веге и Полярной — определил расчетное место. Оказалось, что от заданной линии маршрута отклонились на 100 километров. Попытался подтвердить расчеты по радио, но на любой частоте слышался только сухой треск.

Облачность постепенно редела. Мы начали снижаться.

Нашей целью был аэродром противника; нам было известно, что на него перелетело из Центральной Германии не менее 80 бомбардировщиков дальнего действия. Немцы готовились к массированному налету на какой-нибудь наш промышленный или политический центр. Эту подготовку

во что бы то ни стало следовало сорвать. До цели оставалось 15 минут полета.

На нашей машине было подвешено несколько десятков фугасных бомб по 100 килограммов каждая и три осветительных бомбы.

Мы вышли под облака. До цели лететь 5—6 минут. Я прильнул к стеклу и стал внимательно наблюдать за местностью. Снизилась до 1000 метров.

Расчетное время истекло, а аэродрома все нет. Да и обнаружить его трудно: травяное поле, без характерных ориентиров. Не меняя курса, следуя дальше в надежде выйти на шоссе, идущее с севера на юг, и там окончательно определиться.

Знаю, что это шоссе в 15 километрах от аэродрома. Рассуждаю: если расчеты правильные, шоссе покажется через четыре минуты.

И это время прошло, а шоссе нет. Курс, однако, не меняю. Проходит еще две, три, четыре мучительных минуты. Вдруг вижу сероватую ленту и какой-то прямоугольник. Вроде аэродром с дорожками, выложенными четырехугольником.

Даю команду—вираж!—а сам, схватив карту крупного масштаба, пробегая взглядом вправо и влево от шоссе.

Вот оно что! Мы проскочили аэродром немного левее. Ну что ж, теперь легче. Все хорошо, что хорошо кончается.

Даю курс и рассчитываю время прибытия на цель. Набираем высоту до 2100 метров.

— Время вышло, Володя! Давай вираж!

— Почему?

— Да цель должна быть под нами.

— А что же они не стреляют?

— Не знаю. Держи так. Бросаю светящуюся бомбу.

Через 10 секунд бомба разорвалась в воздухе и стала изливаться свет в два с половиной миллиона свечей. Она медленно снижалась на парашюте. Под нами растянулось ровное, скучное поле.

Заговорила автоматическая мелкокалиберная артиллерия.

— Цель здесь, но я ничего не вижу. Давай разворот на 180 градусов!

Владимир молча выполняет мою команду. Проходит три минуты, и я снова бросаю светящуюся бомбу. Теперь отчетливо вижу приангарные постройки. Аэродром! Быстро переключаю сбрасыватель и с интервалом в полсекунды сбрасываю первую десятку бомб.

С земли летят на нас ленты огненных шариков. На высоте четырех километров шарiki разрываются. Удивительно, что прожекторов нет.

Самолет качается то вправо, то влево, избегая встречи с огненными шариками. Одна из моих бомб прямым попаданием зажигает какую-то посуду с горючим.

Пожар! Снова разворот, и тридцать бомб рвутся в двадцати метрах одна от другой.

Четыре пожара! Горят самолеты. Доволь-

ные бомбометанием, мы берем курс домой. Самолет, освободившись от бомб и половины горючего, резко набирает высоту.

Впереди темно. Решаю пройти грозовые облака верхом.

Высотомер показывает 5600 метров.

Вдруг машина начала судорожно вздрагивать, и не успел Пономарев отвернуть в сторону, как затрясло еще сильнее, звезды исчезли, и мы оказались в облаках.

— Давай обратно, Володя!

— Даю, даю.—Резкий крен влево, тряска.. Но моторы выручили, и мы вне облаков.

Идем на север. Высота 6900 метров. Справа по борту мечутся и блистают огненные ленты и стрелы самых разнообразных форм. Нас преследуют грозовые разряды.

— Под нами — ад, — торжественно произносит Арсен.

— Почему под нами, а справа, по-твоему, нет? — возражает Владимир.

Прошло еще несколько минут.

— По-моему, мы уже выше облаков, — говорит Арсен, — высота 7800 метров.

— Ну что ж, давайте на восток, но только обязательно с набором.

Взяв заданный мною курс и продолжая полет, мы на высоте 8100 метров оказались в облаках. Самолет трясло не сильно. Видна стала вершина, в которой зарядов электрических было немного.

— Кажется, сейчас перелезем, — как бы оправдываясь, сказал Арсен.

— Товарищ командир, у меня кислород весь!—раздался вдруг голос стрелка. Каждый из нас знал, что на такой высоте без кислорода человек мог умереть.

Прокофич быстро надел на себя переносный баллон с кислородом, захватил другой для стрелка и ползком отправился к стрелку на помощь.

Но тут случилось непредвиденное: сделал три-четыре шага и нагнувшись, чтобы пролезть в плоскость, Прокофич зацепил шлангом за рычаг и сдернул маску с лица. Он сделал попытку отцепить шланг, но потерял силы и тяжело опустился на пол. Его помощник устремился к нему, надеясь помочь Прокофичу вторым баллоном, который тот нес для стрелка. Но рука Прокофича мертвой хваткой сжала шланг второго баллона. Правой же рукой Прокофич зажал свой шланг. Оставшись без кислорода, помощник сильно потянул ртом разряженный воздух и бессильно опустился на тело своего начальника.

Что делать? Видно было, как радист вытянулся весь, чтобы достать до шланга, но ему нехватало каких-нибудь десяти сантиметров.

Я фарой осветил лица несчастных. Лицо Прокофича почернело, на губах выступила белая пена.

Положение было тяжелое. Внизу бушевала гроза, способная разрушить на части

нашу стальную птицу, а в самолете уми-
рали два товарища, судьба третьего была
тоже неизвестна.

— Командир, что же будем делать?

— Ложись на стекла и отворачивай ме-
ня в стороны от молний. Я начну сни-
жаться — другого выхода нет.

Машина резко пошла вниз. Приходилось
часто плотать слюну, чтобы освободить
уши от давления.

Самолет бросало из стороны в сторону,
он то проваливался вертикально на 200
метров, а то вдруг выбрасывало его вверх
на 50—100 метров.

Разговаривать было невозможно. В на-
ушниках не прекращался сухой треск.

И вдруг новое препятствие. Из-за резко-
го снижения произошла раскрутка винтов,
губительная для моторов. Они сейчас
представляли большие вертушки, напо-
добие тех, что делают мальчишки из бумаги.

Винты вращались с такой скоростью, ка-
кой никогда еще не знали моторы.

— Ну, будь, что будет! Может быть дело
обойдется...

Молнии продолжали сверкать внизу,
чуть сзади самолета.

На высоте 5600 метров радист снял ма-
ску и направился к техникам, ле-
жавшим без движения. Но в это время ма-
шину так бросило вверх, что он не смог
удержаться и упал, ударившись головой
об обшивку самолета. Самолет готов был
войти в штопор. Хотя рули действовали
плохо, Владимир все же уловил момент и
предотвратил опасность.

Теперь можно было заняться техника-
ми. Все наши попытки вырвать у Проко-
фича шанги не увенчались успехом. Ли-
ца обоих были синие. Рты покрыты пеной.
Из носа Прокофича струйкой бежала
кровь, и руки были попрежнему судорож-
но сжаты.

Ползком техников подтащили к стацио-
нарным кислородным установкам. В это
время прибор показывал высоту 5000 ме-
тров. Мы попытались вложить шанг в
рот Прокофича. Раскрыть рот удалось
только с большим усилием.

Уже через несколько секунд появились
признаки дыхания. Прокофич глубоко
вдохнул и открыл глаза, они не выража-
ли ни испуга, ни удивления. Он о чем-то
хотел нас спросить, но молча закрыл гла-
за. Дыхание его выравнивалось. Быстро
соединив маску со шлангом и убавив до-
зу кислорода, мы надели ее на лицо Про-
кофича. Дыхание его окончательно вы-
ровнялось, он, видимо, спал.

Его помощник быстрее пришел в себя,
открыв глаза, он приподнялся и спросил:

— Чего вы от меня хотите?—Когда ему
объяснили, что он был без сознания, и на-
помнимли, как все произошло, он спросил,
показывая на лежащего Прокофича:

— Умер?

— Нет! Спит! — объяснял ему радист.

Прибор показывал 3500 метров. Самолет
уже не бросало, была обыкновенная «бол-
танка».

Гроза осталась позади. Через несколько
минут мы были под облаками. Теперь на-
до было заняться самолетовождением.
Сняв курсовой угол приводной радио-
станции и прослушав выпалающую бужву
радиомаяка, я определил район местона-
хождения. Оказалось, мы отклонились на
95 километров от линии. Произведя необ-
ходимые записи и развернув на нужный
курс, я настроился на приводную радио-
станцию «Пчела», которая в это время пе-
редавала приятные мелодии вальса.

В корабле было тихо. Прокофич продол-
жал спать.

Через час пошли на посадку.

ОДИН НАД ЦЕЛЬЮ

Зимой меня перевели в другой экипаж,
к Михаилу Родному, для выполнения спе-
циального задания. Предстоял перелет на
тяжелом боевом самолете в Англию. Надо
было хорошо подготовиться, произвести
облет новых моторов, сделать их «обкат-
ку». Только налетав не меньше двадцати
часов, инженеры могли быть спокойными
за нас, за моторы.

Скучно и «нерентабельно» было летать.
После первой же посадки мы с Михаилом
Родным пошли к командиру дивизии с
просьбой долетать положенные часы с
бомбами на ближние цели.

Полковник согласился, и вечером мы с
Михаилом уже готовились к вылету. Вот
из чего состояла наша боевая задача.

— Наши войска подошли к Курску. По
данным воздушной разведки и донесени-
ям партизан, сегодня днем отмечено боль-
шее скопление эшелонов противника на
перегонах западнее и севернее города
Льгов. Противник не хочет отлавать Кур-
ск и подтягивает резервы и боеприпасы.
Мы должны не дать подкреплению врага
пройти через узел Льгов, и тем самым
облегчить взятие Курска нашими назем-
ными частями.

Поставив задачу, командир дивизии до-
бавил:

— Метеусловия неблагоприятные. С за-
пада подходит теплый фронт. Сейчас труд-
но сказать, где его граница. Боюсь, что он
помешает вам и поможет противнику. На
случай закрытия цели запасная цель —
аэродром «Б».

На аэродроме техник по вооружению до-
ложил мне о состоянии бомбовой аппара-
туры и варианте подвески. Я уже собрал-
ся влезть в кабину, как ко мне подбежал
молодой парень невысокого роста с свет-
лыми глазами.

— Товарищ штурман, походатайтесь,
пожалуйста, перед командиром, чтобы ме-
ня взяли сегодня в полет. Он давно мне
обещает...

— А вы кто такой?

— Механик по вооружению Николай Селезнев.

— Ну, механик не стрелок, — сказал я. — Кем же думаете лететь?

— В качестве стрелка я уже все зачеты по стрельбе сдал. Спросите техника. Ведь я оружейник, материальную часть пулемета знаю хорошо и стреляю неплохо.

— Ну что же, хорошо, похлопочу.

Парень мне нравился. Решено было взять его в полет. Крикнув что-то стрелку, которого должен был заменить, он сбегал в землянку, притащил заранее притоготовленное летное обмундирование и стал проворно одеваться. Глядя на него, я почему-то вспомнил стадион. Вот так же бывало задержавшийся футболист торопливо одевался для выхода на поле, ожидая с секунды на секунду свистка судьи.

Моторы наконец заработали. Винты плавно крутились, нагоняя моторам необходимую температуру. Перед самым вырыванием на старт появился заместитель командира дивизии.

— Полечу с тобой, Ушаков. Цель важная, хочу посмотреть, как будете ее обрабатывать.

— Товарищ подполковник, — сказал я, — вы летите в качестве контролера?

— Да, сегодня я вроде живого фотоаппарата, — шуточно ответил подполковник. — В вашу работу вмешиваться не буду.

В районе аэродрома не было ни одного облака, но уже через 15—20 минут полета появились высокие перистые облака — барашки. По мере приближения к линии фронта облачность снижалась к западу, можно было провести прямую линию на несколько сот километров под углом 15—20 градусов к точке, где облачность смыкалась с землей. Вот эта точка меня и интересовала. Хорошо было бы, — думал я, — чтобы она была километров двести западнее Льгова, тогда мы заставим немецкие резервы переждать денька два на перегонах.

Показалась линия фронта. По вспышкам артиллерии и пожарам найти ее было не трудно. Шел ночной бой. Курск горел. Мы летели на высоте 1200 метров, задевая крыльями облака.

Прошло полчаса. Высота 800 метров. Мы вышли на железную дорогу Курск — Льгов. Было совершенно темно. Навстречу внизу двигались две световые точки. Периодически они выбрасывали довольно сильные снопы света. Слева по шоссе, которое прилегает в этом месте вплотную к железной дороге, шло семь машин с включенными фарами, потом они погасли: вероятно немцы услышали шум моторов.

— Что это такое? — спросил Родной.

— По железной дороге идет состав с двумя паровозами, в этом я не сомневаюсь, — ответил я. — А вот что дви-

жется по шоссе, сказать трудно. Это или охрана поезда, или просто автоколонна.

Цель была заманчивая. Руки чесались, чтобы бросить бомбы, но бомбить по случайным целям было нельзя. Мы это хорошо знали и продолжали путь на запад.

Через несколько минут радист доложил: — Товарищ командир, цель закрыта, получено разрешение бомбить запасную.

— Ну как, штурман? — спросил Михаил.

— Как? — переспросил я. Мысль о том, что под прикрытием низкой облачности вражеский железнодорожный узел мог продолжать работу, меня сильно взволновала. — Пойдем лучше посмотрим. Может быть удастся сбросить хотя бы пятисотки, — предложил я.

— Я летчик, за землю не зацеплю, а в остальном дело твое, — ответил Михаил.

И мы продолжали полет на запад.

Из-за облаков продолжаем идти со снижением. Прибор показывает всего 400 метров. Пора бы было прекратить полет, ведь пятисоткилограммовые бомбы можно сбрасывать с высоты не ниже пятисот метров, иначе взрывная волна и осколки повредят самолет. Но это я считал правильным, находясь на земле, а сейчас меня мучила мысль: неужели не удастся выполнить задание?

Дорогу я уже потерял после того, как она сделала крутой поворот к югу. Видимость стала еще хуже. Летчик все чаще и чаще заходил в облака.

Заместитель командира дивизии молча посматривал за мною. Я еще раз произвел перерасчет времени прихода на цель, включил огонь в кабине и по карте просмотрел ориентиры в районе цели. Сделано все. Каждую секунду могла появиться цель. Почти ложусь на стекла, напрягаю до предела зрение и ничего не вижу. Темно. Открыл окно, сырой воздух ворвался в кабину.

— Почему в облака залез? — закричал я. — Давай вниз, ничего не вижу. Машина послушно пошла на снижение.

Выйдя из облаков, летчик сразу же перевел машину в горизонтальный полет, но горизонтальной видимости не было. Подо мной мелькали однообразные темные пятна. Восстановить ориентировку не удавалось.

Вдруг я заметил сероватую ленточку, тянущуюся почти под 90 градусов к моему курсу. Судя по времени, пролетел соседнюю дорогу. Но где? Севернее или южнее цели? Нужно было быстро определить, так как самолет продолжал идти на запад со скоростью четырех с половиной километров в минуту. Напрягаю память. Пересекает шоссе под таким-то углом, следовательно цель осталась правее.

Даю команду — разворот! — и умоляю снизиться еще метров на двадцать пять. На малой высоте полета, да еще при плохой

видимости, каждый метр снижения буквально приходится у летчика выпрашивать.

Еще два раза пересекаю шоссе на дороге. Разворот следует за разворотом. Летчик устал. Очень трудно на небольшой высоте в темную ночь пилотировать по приборам.

Теперь я ухватился за шоссе и иду параллельным ему курсом.

— Ничего не вижу, Михаил! — почти кричал я. — Снизиться можешь немного, хоть кашельку?

— Трудно, — густым басом ответил Михаил. — Мокрый весь. Загонял ты меня. Высота-то ведь 350 метров. Уже сорок минут болаемся.

Действительно, сорок минут прошло, как я начал искать цель.

— Ну вот наконец теперь хорошо. Сейчас будет цель. Обожди.

Передо мной мелькнула развилка шоссе на железнодородного узла, и белое пятно, расположенное западнее цели.

— Теперь легче, — со вздохом произнес я. — Вот проклятые фрицы, слышат нас, а огня не открывают, думают не найдем. Найдем!

Пока летчик разворачивался, я определил истинную высоту и только тут вспомнил, что от 375 метров нужно отнять семьдесят метров превышения цели...

— Так держать! Хорошо! Будем бомбить! — Ты какие бомбы будешь бросать? — спокойно спросил Михаил.

Не отрываясь от стекла, я ответил, что сброшу четыре пятисотки.

Не успел я закончить фразу, как услышал чей-то голос:

— Товарищ штурман, не бросайте с этой высоты бомбы: оставшиеся сдетонируют, и мы взорвемся.

Не задумываясь, я густо выругался, а у самого по коже пробежал мороз.

«Может быть, и верно взорвемся?» — подумал я. — Жертвовать самолетом и экипажем?!»

— Уже сказано — бомбим, — крикнул я Михаилу. Больше я уже не думал о том, что произойдет, взорвутся ли оставшиеся в самолете бомбы или нет. А про то, что мы можем быть поражены осколками с земли, я забыл совсем.

В корабле стало тихо. Подполковник сидел неподвижно все в той же позе. Михаил опять поджался к кромке облаков. Мне было трудно: более чем на 15 градусов впереди я ничего не видел, а угол прицеливания был более 50 градусов, железнодорожный узел под таким углом визирования оставался невидимым. Вся надежда была на белое пятно, но заметил я его, когда сбрасывать было поздно. Цель проскочила. Еще заход. Еще мучительные семь-восемь минут.

Летчику, видимо, надоела эта карусель, и он без моей просьбы сам снизился на пять-восемь метров.

Вот показалось белое пятно. Командую:

— Чуть вправо! Выбери крен! — и почти сразу же цель пришла на установленный угол прицеливания. Я нажал на кнопку. Машина вздрогнула четыре раза. Тут я вспомнил чей-то голос: «не бросайте — взорвемся», и сразу же принялся закрывать бомболюки, преграждая доступ колеблущего воздуха внутрь самолета. На это потребовалось немного времени. Теперь удобно посмотреть вниз. Я прильнул к стеклу. Сотни огненных шаров со всех сторон неслись с колоссальной быстротой к нашему самолету. Молчать фрицам теперь было незачем. Но и стрелять им долго не пришлось. Мы были уже у кромки облаков.

Когда взорвалась первая бомба, я ничего не увидел, сильная волна подбросила наш самолет вверх в облака, затем еще и еще раз. Раздался треск, как будто рвали коленкор. Машина начала терять управление. Но Михаил вовремя выровнял ее.

— Ну как, попал? — спросил он.

— Пока не видел, давай посмотрим. Теперь, уже не заходя на цель, мы вышли из облаков.

Взглянув в сторону цели, я готов был крикнуть от радости. Несмотря на то, что после разрыва бомб прошло не больше трех минут, на железнодорожных путях, забытых составами, полыхали два огромных пожара. Спустя несколько минут раздался огромный взрыв.

— Значит, боеприпасы!

Заместитель командира дивизии, сидевший все время спокойно, вдруг оживился, стал припадать попеременно то к боковым окнам, то к полу, стараясь сосчитать число горящих эшелонов. Когда мы уходили, он сказал:

— Теперь не пройдут. Благодарю.

Радист передал в штаб:

— Задание выполнили по основной цели. Высота бомбометания 350 метров. Цель обработана стлочно.

Земля два раза переспрашивала высоту бомбометания. Там не верили.

Теперь нужно было решить, куда бросать тонновые бомбы. До запасной цели нехватало горючего. Мы более полутора часов потратили на поиски цели.

Принимаем решение догнать попавший нам навстречу железнодорожный состав.

Выходим на железную дорогу и следуем параллельным ей курсом. За это время состав успел пройти не более 40 км и остановился на небольшой станции.

— Не вижу этих двух паровозов, — басом сказал Михаил. — Неужели успели уйти?

— Смотри по левому борту, видишь притаился, думает не увидим!

Состав находился на небольшой станции Лукошино. Паровозы затаили дыхание и только время от времени выпускали небольшие клубы дыма. Тогда появлялось из трубы желтое чуть заметное пятно то из одного, то из другого паровоза. Это меня обрадовало: появилась возможность прицельиться поточнее.

— Будешь бомбить? — спросил Родной.

— Обязательно, — ответил я.

— А попадешь ли? У тебя только две бомбы, а цель узкая.

Действительно, большой уверенности в том, что я попаду в такую узкую цель, как железнодорожный состав, у меня не было.

Передаю Родному: будем делать три захода, — один из них холостой, для проверки и уточнения данных. Все заходы с одного направления.

— Горючего мало остается, — неопределенно сказал Родной. Резко накренив влево самолет, он начал выводить его на курс.

Заданные мною скорость, курс и высоту Михаил выдерживал с безукоризненной точностью.

Наконец-то тысячекilлограммовая бомба полетела вниз. Я и подлодкавник прильнули к окнам. Через 13 секунд бомба разорвалась с такой силой, что самолет задрожал, как в судорогах. От точки разрыва нас отделяло 800 метров.

На очень короткий момент стало светло, и мы увидели паровоз и часть состава. Были ли это вагоны, платформы или цистерны, установить было нельзя.

— Ну как, попал? — спросил Михаил.

— Промазал.

— Намного?

— Метров на пятьдесят.

Бомба упала с перелетом. Неярко выраженная цель заставила меня нажать кнопку с опозданием. Вот в чем была причина перелета.

Захожу снова с теми же данными.

— Наверное все-таки попало, — раздался голос молодого оружейника Селезнева. — Ведь действие этой бомбы, когда она рвется мгновенно, больше чем пятьдесят метров...

— Много знаешь, — ответил я. — Бомба разорвалась среди какого-то здания и разнесла его влук. Состав остался неповрежденным.

Разговоры прекратились. Мы вновь легли на боевой курс, всматриваясь в темноту до боли в глазах, но вот бомба сброшена... Эти тринадцать секунд кажутся вечностью. Взрыв. Опять машина задрожала в конвульсиях и почти одновременно в самолете раздались голоса:

— Ага! Попало!

Бомба разорвалась метрах в пяти-семи от состава и метрах в девяносто-сто от па-

ровоза, выбросив пламя огромной величины.

Значит горючее. Теперь пойдет гореть! Даем вторую радиограмму о выполнении задания.

Мы уже были далеко, а стрелки все еще докладывали о том, что пожар виден.

Машина стала совершенно легкой, и моторы без особых усилий тащили ее на большой скорости. Наши товарищи уже давно вернулись. За ужином говорили, как один экипаж вышел на аэродром противника в момент посадки самолетов и отбомбилась по освещенной цели.

После посадки я выстроил стрелков и спросил:

— Кто говорил, что бросать не надо, взорвемся?

— Я, — робко ответил Селезнев.

— Струсил?

— Что вы, товарищ капитан! Я как вооруженец считал своей обязанностью поставить вас в известность о том, что могло произойти...

Через несколько дней пришло подтверждение от партизан о нашей работе. В графе против моей фамилии появились еще две буквы «ВУ», что означало — «весьма успешно».

В ГЛУБОКИЙ ТЫЛ ВРАГА

Нужно было нанести удары по военнопromышленным объектам в Центральной Германии. Каждый полет туда продолжался 11—12 часов, несмотря на это, мы летали каждый день. На погоду по маршруту не обращали внимания — лишь бы была открыта цель.

Сегодня в середине ночи Восточная Пруссия должна быть открыта. Мы готовились ударить по крупной военно-морской базе и судостроительной верфи. Я получил задание подвесить к самолету три бомбы: одну весом в две тонны и две по 500 килограммов. Бомбы были новой конструкции.

— Задача ясна. Интересно, что это за бомбы, если для них отведено специальное место, — сказал я командиру корабля Додонову.

— Для нас с тобой не все ли равно, что за бомба? — делая вид, что это его не интересует, ответил он. — Калибр нам знаком и вес тоже. Значит, все без изменений. Ново здесь только то, что они другой марки — особой. И эту особенность нам с тобой не заметить. Пусть ее определят немцы!

— Так-то так, а все-таки интересно. По-едем сегодня на аэродром пораньше, побудем при подвеске, — предложил я Додонову.

Через десять минут мы были у самолета. Техник по вооружению, доложив о состоянии бомбоаппаратуры и калибре бомб, добавил:

— Бомбы новой конструкции.

— Чем же они отличаются от обыкновенных? — спросил я.

— Выглядят они обычно, но металл у них совершенно другой. Стенки толще. Нужно полагать, что и взрывчатое вещество другого качества. Больше доложить ничего не могу.

Действительно, на первый взгляд, бомбы ничем не отличаются от обыкновенных.

— Ну хорошо. Проверим над целью. А теперь закрывайте бомболуки, — обратился я к технику. В это время подъехал к самолету инженер по вооружению вместе с каким-то гражданином в штатском.

Человек произнес свою фамилию так невнятно, что я не разобрал.

«Наверно корреспондент какой-нибудь, — подумал я, — не люблю расспросов перед боевым вылетом. Другого времени не могут выбрать...»

Подождав, когда я натяну на себя меховой комбинезон и унты, гость отозвал меня в сторону и спросил:

— Товарищ Ушаков, а знаете вы, что это бомбы новой конструкции?

— Не знаю, а вы откуда знаете?

— Я представитель конструкторского бюро.

— Вот как, — улыбаясь, сказал я. — Вы уж извините меня, я думал корреспондент...

— А вы что, их не любите?

— Нет, я даже дружу с некоторыми, но мне не нравится, что они навязывают, как правило, беседу, когда совершенно не хочется разговаривать. А фоторепортеры, так те обязательно навязывают тебе свою позу, стоишь и ежишься перед ними. Получается на снимке не то. Выходишь натянутым, точно аршин проглотил. А вообще корреспонденты народ хороший. Ну, а все-таки, что это за бомбы?

— В сравнении с обыкновенными фугасными бомбами взрывная волна новых бомб вдвое сильнее, а может быть даже больше, чем вдвое.

— А точнее нельзя сказать?

— Видите ли, мы бросали на полигоне, среди леса. Результат хороший, но всего, что хотелось, выявить не удалось.

В это время запустили моторы.

— Мне пора, желаю вам всего хорошего!

— Желаю успеха. — сказал конструктор и протянул мне руку.

— Благодарю вас за пожелания, но извините, у нас не принято перед боевым вылетом давать руку. Улетаем не надолго. До скорой встречи. Ждите ужинать.

В ПОЛЕТЕ ТУМАН

Наступила осень. Дни стояли теплые, но ночи ощутимо похолодали. Уже на небольших высотах частенько обледеневали самолеты. Многое на сегодня сделано, чтобы обледенение не являлось опасным

для полета, но всякого рода антиобледенители действуют эффективно только в течение непродолжительного времени.

Неизменный спутник осени — туман. Даже при ясной погоде рождаются эти осенние туманы. Их называют радиационными, т.е. возникающими из-за резкого выхолаживания воздуха.

В полете туман не страшен, но на посадке вряд ли можно придумать что-либо опаснее густого тумана. Есть уже приборы для слепой посадки самолета, но они чрезвычайно неточны, а потому и не нашли должного применения даже на стационарных аэродромах.

Метеоролог, доложив, что по всему маршруту безоблачная погода, сегодня добавил:

— Сводка аэрометеорологической станции и центрального института погоды, на мой взгляд, верна, но, товарищи!.. скажу вам свое частное мнение: будет туман, вот в котором часу — сказать не могу. Может быть, успеете вернуться. Во всяком случае, торопитесь. Такова ситуация. Больше сказать ничего не могу.

— И так наговорил порядочно, — проворчал Арсен. — Друг-то ты друг наш, а вот в самом главном помочь не можешь.

— Что не могу, то не могу, — признался метеоролог.

Одеваясь в летное обмундирование, каждый из нас думал, что сделать для того, чтобы выиграть время. Взлет рассчитан так, чтобы пролететь линию фронта с наступлением темноты, здесь не экономить. Остается одно: поточнее выйти на цель, не потерять времени на поиски и на обратном пути прибавить обороты моторов.

Одевшись, мы вышли из землянки. Поскольку сегодня наш самолет должен взлететь первым, Арсен и Прокофич уже прогревали моторы. Все было в порядке.

Я предупредил Додонова, что время рулить, так как до взлета оставалось 8 минут.

— Рули сам, Арсен, — сказал Додонов, — а я пока парашют надену.

Через несколько минут мы уже шли с набором высоты.

С того момента, как Додонов дал команду — внимание, на взлет! — и летчики, и я забыли про туман. Было исключительно безоблачно, условия полета отличны, и я точно вышел на цель. Обозначив цель двумя САБ-ами (светящиеся авиационные бомбы), я уже на втором заходе сбросил бомбы по цели. Железнодорожный узел был шириной около 300 метров, и на нем разместились четыре полуотонки, а остальные четыре бомбы с перелетом: одна из них угодила в какое-то пристанционное здание, другие разорвались среди построек. Неудовлетворен я был только тем,

что ни на узле, ни среди станционных зданий не возникло пожара, — точки прицеливания для моих товарищей.

Вырвавшись из зоны огня и прожекторов, мы взяли курс домой. Произведя соответствующие записи, я поглотил немного кислорода, чтобы быстрее восстановить дыхание (работал над целью приходилось без кислородной маски), и сел отдохнуть.

— Командир, прибавим обороты моторам, может быть и верно туман будет, — говорил Арсен.

— Давай прибавим, но немного. — Додонов всегда жалея моторы, как хороший крестьянин свою лошадь.

Я предложил не снижаться, так как ветер был попутно боковым, и на этой высоте его скорость была больше на 22 километра.

До конечного пункта маршрута, который находился в 80 километрах к северу от аэродрома, оставалось километров тридцать. Впереди слева я заметил какие-то белые пятна, похожие на слоистые облака, — в низких местах образовывался туман. Это дело не новое. Летом к утру очень часто образовывался туман в долинах рек, но с восходом солнца он быстро рассеивался. Осенью, да еще ночью, дело другое.

Через пять-шесть минут полета отдельные небольшие пятна стали сливаться, закрывая все большие районы.

Мы находились над точкой разворота, она была еще открыта, но вся северная часть уже покрывалась сплошным туманом. Не трудно было определить, что его движение было с северо-востока.

Дают немедленно радиogramму:

— Нахожусь КППМ (конечный пункт маршрута) Туман. Движение на юг.

Эта радиogramма была передана немедленно всем самолетам.

Теперь кто быстрее — самолет или туман? Ясно, что самолет. Мы уже шли курсом на юг на максимальных оборотах мотора. Туман был позади. Скорость его распространения меньше ста километров в час.

Но что будет с последними самолетами?

Штурман Булла открытым текстом дал по радио:

— Торопитесь! Туман.

Наиболее опытные штурманы срезали маршрут и разворачивались, не заходя на заданную точку.

Мы благополучно приземлились и следили за посадкой других самолетов. Никогда еще не садился самолет так плотно один к другому, как сегодня. Один еще катился по бетонированной дорожке, а другой уже выравнивал самолет на посадку.

МЫ ПОДБИТЫ

Наступило лето. Расположились мы в одной из заброшенных дач. Я со своим боевым спутником Арсеном занял комнату верхнего этажа с балконом, выходящую на восток. Дача находилась в одном километре от аэродрома, в сосновом бору. Вряд ли можно найти более удобное и красивое место для отдыха. Маленькое озеро, в двухстах метрах от нашей дачи, красивый небольшой мостик, лиственные деревья среди стройных и невысоких сосенок.

Вчера мы могли посмотреть кино-картину в нашем маленьком, но довольно уютном ДКА и своевременно лечь спать. Правда, в хорошую погоду летом несколько дней подряд приходится работать ночью, а отдыхать днем. И когда настает очередной день отдыха, организм упорствует и не хочет согласиться с новым распорядком. В такие дни заснуть рано очень трудно.

Ни мне, ни Арсену читать не хотелось. Не прошло и получаса, как Арсен отложил книгу и вновь свернул цыгарку. — Ты почему отложил книгу? — спросил я. Арсен ответил не сразу, после некоторой паузы:

— Не хочется что-то.

Я также отложил книгу и попробовал завязать разговор, но сразу же понял, что беседовать Арсен совершенно не расположен. Он докурив, мы молча загасили свечи.

В воздухе было спокойно. Сосновый лес как бы замер. Казалось, что и деревья отдыхают. Но вот какая-то ночная птица села на дерево у балкона, зашуршала совсем близко и вскрикнула. Поспорив, что это за птица, мы незаметно уснули.

Я проснулся очень рано и вышел на балкон. Мне много раз приходилось наблюдать восход солнца с высоты двух-трех тысяч метров, но та красота полностью оторвана от жизни. Сейчас же только показалось солнце, как все вдруг зашевелилось, защебетало и ожило. Стало светло.

Проснувшись, Арсен заметил мое исчезновение, и тоже вышел за мной. Мы долго наслаждались природой вместе, а потом, не одеваясь, сыграли на балконе несколько партий в шахматы. Как всегда, выигрывал Арсен.

Наступил обыкновенный день — день подготовки к очередному боевому вылету.

В 18 часов весь летный состав был в сборе. Техники с утра находились у своих машин, прощупывая, как хорошие доктора пульс, каждое соединение моторов. Многие из них уже были уверены в том, что все готово, и, несмотря на это, никто не уходил и проверял еще и еще раз.

Радисты собрались в отдельной комнате для получения указаний по связи. Летчики и штурманы, как всегда, вместе. По-

сторонний человек, вошедший в комнату, обязательно подумал бы, что эти люди после совещания намерены пойти гулять, но отнюдь не в бой, так как отсюда раздавались остроты и шутки, напевы мелодий, выстукивание какой-то непонятной дробы и многое другое. Ничего не поделаешь — такого характер у советских людей.

Вошел командир полка. Раздалась команда: «Смирно!» С большим вниманием слушали боевой приказ и указания командира. Каждая пара — летчик и штурман занялись подготовкой к полету. Дело привычное. Быстро проложен маршрут, сняты путевые углы и расстояния, произведены соответствующие расчеты. Теперь следует доклад о готовности к полету и соответствующая виза старших командиров по специальности.

Как всегда, шофер подал автобус к самому подъезду. Этот человек никак не мог допустить, чтобы летчику, да еще в летном обмундировании пришлось пройти пару лишних шагов. Он любил летчиков и знал всех по фамилии. Кто-то крикнул — поехали! Но шофер не трогался. Он, окинув нас взглядом, заявил:

— Нет штурмана Рагозина! — Минута задержки, и, в самом деле, Рагозин появился раскрасневшийся, он задержался у радиотехника, доказывая ему, что «Чайка» неисправна. Вышел командир полка и приказал им обоим ехать на аэродром и в его присутствии разобраться на месте:

— Теперь поехали!

Через несколько минут мы были уже на аэродроме. Шофер, подъезжая к каждому самолету, выкрикивал номера машин:

— «Двойка красная!» «Семерка голубая!» — и экипажи названных машин с шутками выскакивали из автобуса. Пришел и наш черед. Бортовой техник доложил командиру:

— Правый крайний мотор не дает ста оборотов. Причина до сих пор не выяснена, — выражение лица бортового техника без слов говорило о том, что не отыскать недостающие сто оборотов он считал для себя непростительным, но ничего не мог сделать.

— Плохо, — после некоторой паузы сказал командир корабля Додонов. — До взлета осталось 55 минут.

Прокофич, как звали мы своего борттехника, укоризненно посмотрел вслед своему командиру, как бы удивляясь тому, почему летчикам все кажется просто. Вот нет ста оборотов, да и все тут.

Мы с Додоновым сели у землянки и, закуриив, следили за действиями Прокофича.

Мотор несколько раз запускался, и все же оборотов не доставало. Наконец к самолету подъехал командир полка. Выслушав доклад Додонова, командир принял

решение машину в полет не выпускать и уехал к самолету штурмана Рагозина, где нужно было решить спор в отношении радиополукомпыаса «Чайка». Я уверен, когда ты установишь причину, то сам удивишься: «как не мог понять раньше такого пустяка». Ну а что такое в авиации «пустяк» тебе рассказыывать не следует.

К самолету подъехала машина командира полка. Адъютант доложил, что капитана Ушакова вызывает командир полка к самолету капитана Ищенко. Мы сели в машину втроем.

У самолета «Шестерка красная» стояли командир полка, штурман Рагозин и радиотехник. Я доложил о прибытии.

— Вам как штурману эскадрильи я поручаю одновременно с выполнением боевой задачи проверить пригодность для эксплуатации радиоприбора на самолете капитана Ищенко, — сказал командир полка.

Мои летчики, Додонов и Арсен теперь уже не уходили от самолета. Они понимали, что значит итти в боевой полет в составе другого экипажа, так как только взаимная уверенность в бою являлась залогом успеха. Они помогли мне быстро одеться, так как моторы уже были запущены и до взлета оставались считанные минуты.

Застегнув лямки парашюта и поблагодарив своих боевых друзей за внимание, я по стремлянке быстро влез в свою кабину. Рукопожатий, конечно, не было. Мы медленно порулили на старт и через несколько десятков секунд были в воздухе.

Прошло два часа. Начали появляться облака. Ничего это не беспокоило, так как эти облака были облаками хорошей погоды. Они представляли единственную трудность для меня, закрывая видимые даже и ночью ориентиры. Я ждал появления шоссеиной дороги, чтобы определить путевую скорость, а затем и ветер. Ветер, на который обыкновенно не обращаешь никакого внимания на земле, является основным элементом для точного самолетовождения. Поэтому каждый штурман на маршруте только и занимается тем, чтобы определить ветер любимыми способами, а определив, следить за его изменением.

Я прильнул к нижнему стеклу кабины, чтобы, наблюдая разрывы облаков, не пропустить шоссеиной дорогу, но заметить ее мне так и не удалось. Оставив свои расчетные данные, мы продолжили полет до появления следующих ориентиров. К другим способам навигации прибегать не следовало, так как облачность должна была полностью раствориться из-за понижения температуры.

В бортовом журнале против «Шоссе» стояло только расчетное время полета.

Прошло еще 30 минут, и линия фронта осталась позади. В корабле было тихо. Каждый член экипажа занимался своим делом. Летчики, включив автопилот, отдыхали.

Рассчитав время прибытия на реку Сааша, я взялся за радиополукомпас «Чайка» и стал настраивать на одну из радиостанций. Вдруг я почувствовал сильный толчок самолета.

— Что с мотором, с мотором что? — В ответ последовала незаконченная фраза борттехника:

— Выкл.! — Да, мотор был выключен. Причина неизвестна. Ясно одно: что-то случилось с маслосистемой. Машина пошла с небольшим снижением. Летчик этому не препятствовал, так как не хотел давать лишнюю нагрузку оставшимся трем моторам. В самолете стало еще тише. Все ждало решения командира.

— Штурман, курс на запасную цель! — командовал Ищенко.

Прежде чем дать курс, я должен был определить расчетное место нахождения самолета, а уже после снять путевой угол на цель. Я грубо дал курс. Летчик с небольшим креном начал разворот в сторону работающих моторов. Разворот был настолько пологим, что мне хватило времени для того, чтобы наиболее точно определить курс. Теперь была задача — без лишней затраты времени найти запасную цель. Облачность стала редеть и прекратилась. Это меня обрадовало. Понимая, что выйти точно на цель было невозможным, я увеличил курс с расчетом выйти заведомо правее цели на характерный ориентир.

Рассчитав время прибытия на цель и установив данные бомбометания на прицеле, я прильнул к стеклу, стараясь не прозевать реку. Снижение прекратили. Высотомер показывал 2300 метров. С этой высоты решено было производить бомбометание. Правый мотор работал теперь на максимальных оборотах. Летчик умело использовал избыток мощности левой стороны. В сторону левой плоскости на хвостовом оперении был выпущен «триммер» — щиток. Струя воздуха, ударяясь о «триммер», заносила хвост самолета в сторону правой плоскости, помогая мотору. Самолет шел по прямой. Летчик передал часть мощности левых моторов правому среднему, но все равно средний работал с перегрузкой. Скорость самолета уменьшилась на несколько десятков километров.

С минуты на минуту должен был появиться ожидаемый мною ориентир. Я не отрываясь от стекла. Вот подо мной проскочило маленькое озеро, как водяное пятно на асфальте. На карту я больше не смотрел, я уже все ориентиры знал наизусть. Над этой целью я бывал не раз.

Вот и река, ведущая к железнодорожному узлу.

— Разворот влево! — команду я и пристально всматриваюсь в темноту. Дьявольски темно! Даю поправки в курс. К реке у самого железнодорожного узла подходит шоссе — это начало цели.

— Скоро? — спрашивает летчик.

— Скоро, так держать, — отвечаю я.

— Держу так, да вот прожекторов что-то нет. — Меня также это удивляло, мы находились у самой цели. Однако направление нашего полета строго на железнодорожный узел заставило противника отказаться от политики выжидания. Один за другим поднялось несколько десятков прожекторов. Я прижался плотнее к стеклу, производя несколько мелких доворотов по курсу. Прожектора начали лизать плоскости. Вот-вот схватят, тогда пропала точность бомбометания, так как на повторные заходы на трех моторах рассчитывать нельзя. Артиллерия открыла стрельбу. Разрывы снарядов мне не видны. Я смотрю вниз и вижу только огонь орудий в момент выстрела. Сколько их — считать некогда. В кабине запахло порохом, это от снаряда, который разорвался впереди самолета.

«Скорей, скорей! Эх, успеть бы», — думал я. Вот оно, шоссе. Вижу цель. Даю команду:

— Чуть вправо, Коля! Крена, крена не делай! — Ответа на мое требование нет. Все молчат. Машина как будто сама повинуется моим командам.

— Еще чуть-чуть вправо! Так, хорошо! — передаю я по ларингофону.

— Немного осталось, так держи, сейчас буду бросать. Брос..., — я нажал кнопку, и машина стала судорожно вздрагивать с интервалом в полсекунды.

Четыре тонны бомб полетели вниз.

После слова «бросил» летчик резко и глубоко спланировал. Его задача — скорее уйти от прожекторов. Для этого он машину бросает то влево, то вправо, все более наращивая скорость. Прожектора то и дело лижут самолет, но схватить им пока не удастся.

Я припал к стеклу и слежу за целью.

Где разорвутся бомбы?

За целью наблюдают и стрелки. Вдруг все почти в один голос закричали:

— Здорово! Отлично!

Я поднял голову. Мы уходили с большим снижением. Высота была небольшая, и поэтому заработала мелкокалиберная артиллерия, выбрасывая десятки огненных лент трассирующих снарядов. Эта цветная колбаса все чаще и чаще стала проскакивать около самолета.

Еще немного и мы уйдем! Вдруг раздался сухой треск с правой стороны.

«Кажется, попали», — подумал я. Мы были уже вне зенитного огня, и теперь можно заняться осмотром машины. Тех-

ник с переносной лампой полез в плоскость посмотреть повреждение, но обнаружить ничего не удалось. Все казалось нормальным. Однако на всех моторах упало давление бензина. Это уже плохо. При отказе одного мотора не только лететь, но и воевать можно было, а вот без бензина лететь невозможно.

Вторичный осмотр также ничего не дал. Была повреждена главная бензопроводная магистраль, но установить место повреждения не удалось.

Записав все необходимое в боржурнал и составив радиограмму о выполнении боевого задания и повреждении самолета, я стал уточнять, где находится наш самолет, — теперь мне нужно было, как никогда, знать сколько еще лететь до линии фронта, а пролетев ее, подобрать площадку на случай вынужденной посадки. Высота была небольшая, земля просматривалась хорошо, и определить действительное место самолета было негрудно.

Пролетаем линию фронта на высоте 200 м. Отчетливо видим артиллерийскую перестрелку с обеих сторон.

Установив место, даю новый курс на первую посадочную площадку. Подлетая к площадке, летчик сделал разворот влево. Вдруг самолет резко бросило вправо. Я схватился за ременные поручни, чтобы не удариться головой, и ничего не понимал, что происходит. Раздался голос Ищенко:

— Помогай!

Потом все стихло. Теперь все четыре мотора не работали. Самолет превратился в тяжелый планер. Незаметно мы потеряли еще несколько десятков метров высоты. Попытки техников подкачать горючее ручным насосом ни к чему не привели. Гул моторов смолк. Воздушный поток ударил по винтам самолета, превратившимся теперь в простые ветрянки.

Высотомер показывал 160 м. Я поднял люк для прыжка с парашютом и передал команду стрелкам собраться в хвост самолета. Мою команду никто не слышал. Стрелки уже собрались в одном месте, встали в круг и, крепко обхватив друг друга, приготовились принять удар.

Самолет, не имея тяги, пытался сорваться то на нос, то на крыло. Теперь все зависело от летчика. Он так умело использовал рули, что машина его слушалась, хотя скорость была на грани критической. Мы шли по прямой. О разворотах и думать было нечего.

«Куда мы летим?», — с тревогой подумал я.

По привычке взглянул на компас. Его показания, конечно, мне ничего не дали. Мы летели с курсом 120 градусов. Выровнив самолет, летчик включил фары, чтобы посмотреть местность. Только теперь я понял всю опасность, прозящую экипажу.

Под нами — деревянные дома поселка. Придется садиться прямо на них. Эту смертельную опасность видели и ясно представляли только два летчика и я. Остальные члены экипажа, ничего не подозревая, вручив полностью свою судьбу в руки командира, ждали посадки. В самолете молчали.

Я посмотрел на высотомер. Стрелка показывала высоту 125 метров.

Что делать? Оставаться в кабине опасно, прыгать с парашютом с такой высоты тоже. Что же выбрать? В это время луч фар осветил деревья парка на окраине поселка. Летчик сделал незаметный доворот. Я его хорошо понял. Он хочет дотянуть до леса и спасти жизнь большинству членов экипажа.

Неужели не дотянем? При посадке на лес моя кабина будет смята, как яичная скорлупа. Я представлял только лишний груз.

Движением руки я показал борттехнику, что буду прыгать. Он или не понял, или не заметил, так как не сделал ни одного движения.

— Ну, Коля, тяни, дорогой, а я пошел, — сказал я сам себе и, взяв в руку кольцо парашюта, оттолкнулся от борта люка.

Не помню в какой момент я дернул кольцо. Видимо, сразу же после отрыва от самолета. Воздух, ударяющий в лицо с возрастающей силой, напомнил мне о том, что я падаю с большой скоростью. Мысли работают в таких случаях исключительно быстро, если человек не потерял самообладания. Я подумал:

«Что-то долго не раскрывается парашют. Все ли я сделал?» Правая рука моя была вытянута и составляла с туловищем тупой угол. Я попытался приблизить руку к себе и почувствовал сильный рывок вверх. Я повис на парашюте.

В это время самолет был перед моими глазами, и мне почему-то показалось, что моторы работают.

— Ну вот и хорошо, — сказал я сам себе, — моторы заработали, и они теперь благополучно сядут, а я приземлюсь.

Не приготовившись к встрече с землей, я сильно ударился. Весь удар пришлось принять левой ногой. Она хрустнула с сильной болью и сразу же потеряла упругость. Я ударился туловищем и потерял сознание. Очнулся я в придорожной канаве.

Только я отстегнул лямки парашюта и попытался встать, как все вокруг содрогнулось. Я понял, что летчику удалось дотянуть до парка. Дрожь прошла по моему телу. Скорее на помощь. Сделал несколько скачков на правой ноге, — нет, ничего не выходит. Решил ползти. Преодолев метров сто, измученный, я лег на землю отдыхать. В это время из ближнего дома вышли два мальчика. Они что-то горячо обсуждали.

— Ребята! Помогите мне! — тихо, чтоб не испугать их, позвал я. Мальчики нерешительно остановились. Я объяснил, что мы потерпели аварию и недалеко упал самолет. Ребята посоветовались. Меньший сделал несколько шагов в сторону. Видимо, они мне не поверили и хотели позвать на помощь.

— А как ты сюда попал? — помолчав осведомился старший.

— На парашюте, — отвечал я. Ребята, очевидно, приняли меня за диверсанта.

— А где же парашют? — строго допрашивал старший.

— Да метров сто отсюда, на дороге.

— Колька, — сказал паренек, — сбегай посмотри — там парашют или нет?

Через несколько минут мальчик с трудом, волоком притащил мой парашют.

Я был проверен. Теперь уже вдвоем мои ребята дотащили парашют до своего дома, бросили его через высокий забор во двор и быстро вернулись ко мне.

Опираясь на старшего мальчика, подпрыгивая на правой ноге, я стал медленно передвигаться.

Прошли метров 150 и остановились у небольшого дома.

— Вот и станция, — пояснил старший, — Настоящая-то была на той стороне, да сгорела от немецкой бомбы.

Теперь в моем распоряжении были телефоны. Я быстро связался с местной властью, и медицинские работники отправились к месту катастрофы. За мной пришла легковая машина, чтобы отвезти в ближайший госпиталь воинской части. Но меня страшно беспокоила судьба экипажа, и я приказал шоферу ехать в район парка. Через несколько минут мы были на месте посадки.

Рассветало. Среди лиственных деревьев парка — каждое в один-полтора обхвата — лежал наш самолет. Сзади, в 30—50 метрах по линии полета, деревья были сломаны и искоркены. Сломав последние четыре дерева лоскостями и воткнувшись в два дуба средними моторами, самолет повис на пнях сломанных им же деревьев. Моя кабина представляла бесформенную массу..

Я вышел из машины... Навстречу мне шел Николай Ищенко, низко опустив перевязанную голову.

— Сергей! Жив? А мы тебя похоронили. Борттехник сказал, что ты выскочил, когда высота была 100 метров. Это же невозможно. Почему ты не прыгнул раньше?

— Во-первых, не сто метров было, а больше, — возразил я, — а во-вторых, не мог я покидать самолет — пока не убедился, что я, как член экипажа, вам не нужен. Ну, это в общем не так уж важно, ты мне скажи, что с народом?

— Борттехник с переломанной ногой отправлен в госпиталь, у радиста и второго пилота — повреждение позвоночника. Они отправлены тоже. А у остальных ушибы.

— Трудно поверить, что после этого люди могли остаться в живых, — сказал я, осматриваясь кругом. — Твоя заслуга в этом, Николай. Поздравляю!

Подождал врач, чтобы сделать мне перевязку. Мы сели на срубленное самолетом дерево.

— Ну расскажи, Николай, как все это произошло?

— Как только я включил фары, я понял, что все безнадежно, — начал Николай. — Не только сесть, а сломать самолет так, чтобы спасти экипаж, нелегко было. Кругом дома. Но ты сам знаешь, что летчик не сдастся до конца. Вдруг луч фары лизнул по деревьям. У меня появилась надежда. Чуть-чуть не делая крена, я повернул самолет в сторону леса, а высота все падала. Казалось, что самолет вот-вот врежется носом в лес. На самом деле я был на 1—1,5 метра выше деревьев. Чувствуя, что самолет становится неуправляем, я его резко дернул вверх, на густой лес. Вот этого-то я и ждал. Остальное тебе ясно.

Через несколько минут мы были в поезде. На станции нас встречали взволнованные боевые друзья. А через час в лазарете, выпив по стопке водки, мы с Николаем, несмотря на боли, уснули крепким сном.

СТИХИ

ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ

★

РАССВЕТ В САЯНАХ

Я ночь провел в глуши урочищ,
Где сосны стерегут покой
И в темноте невольно хочешь
До них дотронуться рукой.
Форель плескалась в сонной Локше,
Олень с горы спускался пить...
Но уж не мог тальник продрогший
Ночные шорохи тайть, —
И я застал тот миг единый,
Когда на сопках вспыхнул снег.
Я знал, что горные вершины

Зарю увидят раньше всех,
Я знал, что стоило родиться
Хотя б затем, чтоб слушать здесь,
Как плещут рыбы, и синица
В кустах налаживает песнь.
Лицом к востоку, не мигая,
Смотрю, заря, в глаза твои,
Сияй, сияй же, золотая!
Я видел смерть
И цену знаю
Нетленной жизни и любви.

★

БИРЮСА

Золотая Бирюса
От меня бежит в леса.
Бирюса, как бирюза:
Небо смотрит ей в глаза.
Воды быстрые речонки, —
Ясны, чисты, как слеза.
И бегу я им вдогонку.

Бирюса ты, бирюзинка.
Мнится каждая песчинка
Драгоценной золотишкой!
Ты куда бежишь? Постой!
Я ловлю тебя рукой.
Натыкаясь на корягу.

Погоди! Поставим драгу.
Не уйдешь от нас в леса,
Золотая Бирюса.
Мы невестам приисковым
Принесем тогда обнови,
Мы подарим им бусинки,
Купим серьги-бирюзинки.
Бирюса ты, бирюза,
Словно девичьи глаза.
И зовешь ты, убегая,
Как девчонка молодая,
Манишь в темные леса,
Золотая Бирюса.

ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАПИСИ*

А. РУБАКИН

★

ЧАСТЬ 4-ая

ЛАГЕРЬ ЖЕЛЬФА

Из вагонов мы вылезли усталые, скрюченные от неподвижного сидения, голодные, мучимые жаждой. Станция была маленькая, темная, горел только один керосиновый фонарь. Мы навьючили на себя все, что могли, и по команде двинулись в путь.

Мелькали во тьме дома без света в окнах, деревья. Потом мы поднялись на холм, прошли в ворота и очутились на большом дворе, со всех сторон окруженном низкими одноэтажными зданиями. Мы пришли к зданию, где стояли солдаты-арабы в бурнуссах и чалмах, с ружьями. У них был вид разбойников, притом опереточных. Нас повели в большое сырое помещение с решетками на больших окнах. Здесь не было ни кроватей, ни столов, ни стульев, не было даже соломы на полу. Щелкнул замок.

Мы сбросили вещи на пол, в абсолютной темноте. Стали стучать в дверь — хотелось пить, нужно было в уборную. Дверь долго не открывалась. Из-за двери арабы грубо спрашивали: «чего тебе?» — А когда мы объясняли в чем дело, они отвечали: «сидите смирно».

Мы стали стучать все громче и громче. Тогда дверь открылась, вошел какой-то штатский с опухшим лицом алкоголика, в сопровождении двух солдат-арабов, несших фонарь.

— Чего вы скандалите? Чего вам нужно? — грубым тоном спросил он.

Мы объяснили в чем дело.

Штатский устал на сказавшего бессмысленные оловянные глаза (он был пьян вдрызг).

— Завтра утром вы получите кофе. Есть у вас у всех вилки, ножи, ложки, котелки?

Мы ответили, что есть почти у всех.

— Ну смотрите, чтобы завтра утром у всех было, — он говорил так, словно за ночь мы могли где-то купить недостающие нам предметы.

Мы повторили ему нашу просьбу. Но тот, словно не слыша, упрямо и глупо твердил:

— Вы будете ночевать здесь, завтра утром вы получите кофе.

И собрался уходить. Кто-то бросился за ним вслед, повторяя нашу просьбу. Тогда штатский (позже мы узнали, что это был Гравель, правая рука коменданта лагеря Кабоша), обращаясь к арабам, бросил им на ходу:

— Вы можете водить их в... — он сказал грубое французское слово, — по-двое или по-трое зараз, не больше. — И ушел.

Пришлось располагаться на цементном и сыром полу. И вдобавок в полной темноте. Впрочем, у некоторых нашлись спички, у некоторых даже свечки, и огромное унылое помещение слабо осветилось. Одежда разложили на полу. У выходных дверей стояла очередь в уборную. Арабы принесли нам ведро воды — и ведро и вода были грязные. Но воду мы всю выпили тотчас же. Нас зудило от вшей, мы были грязны, измучены дорогой, на цементе лежать было нестерпимо жестко и холодно.

Утром нас стали выпускать во двор, к умывальнику, где с наслаждением мы окатились ледяной водой. Во дворе мы увидели товарищей из лагеря, которые здесь работали. Украдкой они рассказали нам, что мы находимся в форту Кафарелли, что лагерь в полутора километрах отсюда, что комендант лагеря Кабош настоящий палач и зверь, а его помощники Гравель и араб Ахмет — не лучше его.

Вскоре нас стали вызывать для допроса. Вел допрос сам комендант и его помощники. Тут мы впервые увидели знаменитого Кабоша. Высокий, молодой, с большой нижней челюстью, с бледно-голубыми глазами, он производил впечатление человека крайне жестокого, даже не нормального, всех нас он ненавидел какой-то личной ненавистью. Впрочем, это было понятно. Работник «второго бюро» французского генерального штаба (разведка) Кабош задолго до войны попал в Польшу, где сшибился против России. Здесь он женился на богатой польке и приобрел немало движимого и недвижимого имущества около Белостока. Все это имущество у него пропало после возвращения Западной Белоруссии в состав СССР. Поэтому он люто ненавидел все советское. Кабош недурно говорил по-польски и с самого начала стал заигрывать с интернированными поляками, в глазах которых хотел играть роль покровите-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир», 1945 г., № 1.

ля. Вся его политика в лагере сводилась к тому, чтобы сорвать между собой национальные группы, разъединить их и этим ослаблять наше сопротивление.

Ответив на обычные формальные вопросы, я сказал Кабошу, что рассматриваю себя как военнопленного, ибо был арестован и интернирован без всяких к этому оснований, уже не говоря о том, что немцы напали на мою родину. Кабош слушал, глядя в сторону, а потом скучно сказал:

— Для меня вы являетесь таким же интернированным, как и другие.

Увидев из моих бумаг, что я был единственным советским гражданином в лагере, имеющим советский паспорт, он меня особенно возненавидел.

После всей этой процедуры нам велели идти в лагерь.

Лагерь Джелифа был создан как дисциплинарный лагерь для иностранцев, иначе говоря, как каторга, на которую посылали без суда, простым решением префекта департамента. Таким этот лагерь и оставался до самого конца. Вначале он официально назывался, как это значилось на печати, «концлагерем для политических интернированных». Потом, уже при нас, его переименовали в «центр пребывания под надзором» — иностранцы могли подумать, что речь идет о каком-то курорте, где люди живут, как хотят, а за ними только надзирают власти. На деле же это был и остался тюремный лагерь. Мы все знали и любили Францию как наиболее яркую представительницу культурной Европы, как страну, первой провозгласившую великие революционные лозунги и принципы, как страну Парижской Коммуны, страну великих и глубоко человеческих писателей. Но был у Франции и задний двор, где люди остались первобытно жестокими, хотя их жестокость и стала более утонченной.

Нам в лагере пришлось увидеть именно этот задний двор.

Расположенный на склоне холма, лицом к северу, открытый холодным ветрам, лагерь в Джелифе имел форму огромного прямоугольника, обнесенного тремя рядами колючей проволоки, прикрепленной к высоким деревянным столбам. Вдоль проволоки, снаружи и на углах, стояли жалкие соломенные шалаши, у которых несли охрану закутанные в бурнусы, мерзнувшие на ветру часовые-арабы. Против каждого угла была устроена башенка, с которой на лагерь глядело дуло пулемета.

Скользякая глинистая дорога шла с одного конца лагеря до другого, по обе стороны ее стояли грязные палатки. Мы прошли мимо них — на нас с симпатией глядели оттуда наши товарищи. В другом конце лагеря высиделись два длинных барака, один уже законченный, другой еще с неоконченной стеной и без крыши. Бараки были построены из кирпичей, сделанных из глинистой гряды, смешанной с соломой. В самом конце лагеря было небольшое пространство, огороженное новым рядом колючей проволоки. На этом пространстве высидилось семь пала-

ток. Вход в закут был через ворота, запиравшиеся на замок. Туда-то нас и провели.

Это был так называемый «специальный лагерь». Только на-днях оттуда вышли товарищи, прибывшие на три недели раньше нас из Верне. Но там еще оставалась группа немцев-антифашистов, бывших бойцов интербригад. Высокий аджодан-араб с красивым жестоким лицом, по имени Ахмет, велел нам здесь располагаться.

Палатки были военного образца, рассчитанные на шесть человек. нас было 10 человек. Пол в палатках земляной, сырой от дождя, между краем палатки и землей — щели, откуда дуло, полотнище в дырах. Вся палатка держалась на центральной мачте, поставленной на камень и не прикрепленной к земле. Не было в палатках ни дышювок, ни соломы. Пришлось разостлать одеяла прямо на земле. Мы легли ногами к мачте, по радиусам палатки. Все так устали, что думали только о сне. К счастью, ночь не была очень холодной.

Из лагеря видна была внизу железнодорожная станция, а вокруг унылые голые горы, по которым бродило стадо овец. Где-то на горизонте, на отлогом склоне, синел далекий лес. Более унылого пейзажа нельзя было найти нигде в окрестностях Алжира.

Комендант лагеря Кабош, как я уже сказал, был офицером из числа тех, чья служба прошла во «втором бюро». Хорошо известно, что «второе бюро» всегда играло крупную политическую роль в стране. Достаточно вспомнить знаменитое дело Дрейфуса. Но после мировой войны 1914—18 гг. «второе бюро» стало органом политической разведки. Оно занималось, главным образом, политическим сыском, дополняя работу французской охранки (Sûreté Générale). Это была высшая инстанция политического сыска.

На работу во «второе бюро» брали преимущественно офицеров-реакционеров. В этом смысле подбор был строгий.

Но, в отличие от других разведок, «второе бюро» менее всего было заинтересовано в собирании объективных фактов и установлении действительных настроений разных общественных групп. «Второе бюро» приспособляло события и факты к заранее определенным мнениям — знать не то, что есть на самом деле, а то, что соответствует уже принятой точке зрения.

Уже в лагере я читал в швейцарских газетах текст доклада начальника «второго бюро» военному министру о состоянии Красной Армии. Доклад этот был составлен в 1937—38 гг. В нем говорилось, что Красная Армия технически слаба, что ее военное руководство не отвечает современным требованиям. И это писалось накануне Великой Отечественной войны, в которой Красная Армия показала себя сильнейшей армией мира! Такова была информация «второго бюро».

Неудивительно, что представители «второго бюро», в руках которых мы оказались, проявили такое же непонимание политических событий, как и само бюро.

Кабош работал во «втором бюро» лет тридцать, также как и его ближайший начальник, полковник Бро, комендант военного округа Лагуа, в ведении которого находился лагерь Джелифа. И эти матерые разведчики теряли всякое самообладание, когда им приходилось сталкиваться с русскими людьми, представителями советской страны. В этом суть французской буржуазии, боящейся за свои сейфы, банки и предприятия и выдающей в СССР угрозу своему благополучию. Будучи сами оскорблены, унижены немцами, эти чиновники из петеновских ведомств не имели ни достаточного патриотизма, ни силы воли, ни желания бороться с гитлеровскими агрессорами.

В этом отношении очень характерна позиция Кабоша. Нас он ненавидел как коммунистов. Нам он говорил, что ненавидит немцев — а перед ними он трепетал. Но он ненавидел и американцев и англичан — он и полковник Бро. Когда, после высадки 8 ноября в Алжире, пошел слух, что английские отряды идут к Джелифе, Кабош велел своим арабам подготовить позиции и установил на них лагерные пулеметы, взяв под обстрел дорогу, по которой ожидалось прибытие англо-американцев. Правда, пулеметы были старые, ржавые, патронов для них было мало, никакого вреда англичанам они причинить не могли. Но в тот момент Кабош об этом не думал. Так как пулеметы стали бы стрелять со стороны нашего лагеря, англичане, отвечая на огонь, обстреляли бы лагерь, и плохо пришлось бы нам, а не Кабошу. Быть может, он имел в виду и это.

В Африке французы господствовали, непосредственно немецкий гнет не чувствовался, можно было жить спокойно, сытно, тепло.

Когда английские комиссии стали приезжать в наш лагерь, нужно было видеть с каким почтением принимали их Кабош и Бро. Нам же после отъезда англичан они заявляли:

— Здесь еще, слава богу, распоряжаемся мы, французы!

Помощники Кабоша были французские чиновники, бездушные, робкие перед начальством, наглые с нами. В лагере их больше всего интересовала возможность использовать для себя бесплатную рабочую силу. Воровали в лагере все, начиная с Кабоша и кончая последним арабом, крали явно, нагло, на наших глазах. Когда в лагере началась борьба против сыпного тифа, интендант должен был прислать для отбираний против вшей смесь из равных частей оливкового масла и керосина. Керосин был дешев, масло дорого. Интендант прислал почти чистый керосин, заработав на этом литров десять масла.

Весь лагерь Кабош превратил в мастерские, а интернированных — в рабочих. В этом отношении он оказался блестящим организатором. В своей деятельности он вдохновлялся, можно сказать, принципом, общим для всех чиновников правительства Виши: награть возможно больше в наиболее короткий срок.

Первой мыслью Кабоша, когда он был назначен начальником только что созданного прави-

тельством Виши лагеря Джелифа, было: использовать рабочую силу интернированных. Среди них оказалось огромное количество специалистов. Но работать никто не соглашался — значит, надо было их заставить. И тут Кабош стал действовать очень умело, со всей ловкостью старого колониального служаки.

Он созвал заключенных и посулил тем, кто будет работать, усиленный паек, а тем, кто продолжал отказываться, угрожал репрессиями. Часть наименее сознательных поляков и испанцев поддавалась искушению.

Поляков послали на работу в лес, километров за сорок от Джелифы. Испанцев засадили за работы в самом лагере. Не работающий Кабош перевел на голодный паек. Кроме того, «зачинщики» были изолированы и отделены от прочих колючей проволокой. Обнаружить зачинщиков Кабошу удалось очень просто. В это время интернированные составили заявление на имя Петена, требуя уважения к своим человеческим правам, и все те, кто подписал заявление, были включены в число зачинщиков. Из их числа человек десять, считавшихся главарями, посадили в «специальный лагерь», в одну палатку, с запрещением выходить из нее. Норму хлеба им снизили по 150 г в сутки. В лагерной лавке запрещено было продавать им что бы то ни было. Такой режим означал медленную смерть. Три месяца они просидели, не выходя из палатки, нагретой палящим африканским солнцем (дело было летом.) Нужно было всё самоотвержение товарищей, чтобы доставлять хоть кое-какие продукты этим «заключенным на солнце». Тех, кого ловили на передаче, немедленно сажали в тюрьму. Через три месяца эти десять человек вышли из заточения пожими на скелеты.

На другой же день после приказа о работе не работающим стали давать только воду с плавающей в ней кожурой от бобов. Началась настоящая голодуха. Кабош явно шел на провокацию. Чтобы избежать новых издевательств и голодной смерти, мы все порешили стать на работу.

Работу можно было выбирать: постройка кожевенного завода, кирпичный завод, изготовление кирпичей из гравия, каменоломни, изготовление изделий из альфы и т. д. Я записался на плетение альфы. Этому обучали особые мастера-испанцы, работать можно было в своей палатке, сидя, и мне казалось, что это наиболее подходящее для меня занятие. В конце концов я научился плести из альфы веревки и широкие полосы, из которых делались цыновки.

На изделия из альфы Кабош зарабатывал огромные деньги. Особенно велик был спрос на сандалии и мешки из альфы. Сандалии продавались в магазинах по 47 франков. Кабошу они обходились в 300 г. хлеба — kilo хлеба тогда стоило 3 франка, прибавьте к этому стоимость материала, т. е. меньше франка. Такие же сандалии, но поуже, сделанные нами же, выдавались нам, когда у нас не было обуви, и выдавались платно — по 5 франков за пару.

На альфе я работал месяца три, потом долго еще на пальцах не заживала кожа.

Некоторые заключенные работали в каменоломне — подрывали скалу динамитными патронами, потом разбивали кирками и ломами камень и складывали его в кучи около дороги. Из камня строили мало, только дом для лагерного начальства и склад. Но все местные подрядчики покупали камень в лагере, и доход от него шел в карман коменданта.

При свете лампы раскладывали свои «постели». Днем они должны быть свернутыми — по приказу коменданта, который сам следил за этим при своих обходах. Первые дни мы спали просто на одеялах, разостланных на холодной и сырой земле. Раздеваться было, разумеется, бессмысленно. Снимали только пальто, ботинки, шляпу.

Дрожа от холода, мы забирались под одеяла. От холодной, жесткой земли веяло сыростью. Сверху дул холодный ветер, проникающий всюду. Дня через три нам выдали по охапке соломы, так мало, что ее хватало только на то, чтобы подложить под бока. Позже мы раздобыли мешки и из них сшили чехлы для соломы.

Так жили мы в островерхих полотняных палатках «марабу», раскиданных в пустыне, у предверья Сахары. Кроме редких селений вдоль шоссеной дороги, ведущей в Алжир, на сотни километров кругом не было жилья, не было людей.

Ветер в лагере дул день и ночь, всегда холодный. Он яростно бился о палатку, качал тонкую мачту, на которой держался ее свод, и подвешенные к мачте наши котелки стучались и звенели. Порой порывы его были так сильны, что мачта гнулась, и, казалось, палатка рухнет.

Впрочем, это не только казалось. В темные зимние ночи не раз порыв ветра вырывал из земли колышки, к которым полусгнившими веревками были привязаны концы — края палатки. Обрушивалась мачта, леденящий ветер и поток дождя будили нас. Придавленные полотнищем, мы вскакивали и в кромешной тьме замороженными пальцами нащупывали концы веревок, вбивали камнями в оледеневшую землю колышки, поднимали мачту.

Сквозь дыры в палатке, сквозь разрывы свободно проникал дождь. Порой мы просыпались, занесенные снегом, и долго счищали его с одеяла.

Спать приходилось недолго. Все мы от хронического голодания и холода, от соприкосновения поясницы с ледяной землей страдали полнурией, а многие и поносом. Приходилось по нескольку раз в ночь вылезать из-под одеяла и наваленной на них одежды, в темноте нащупывать ботинки и пальто и бежать в «куборную».

За проволокой, во мраке, за несколько метров от нас, у своего шалаша торчал часовой араб. Не полагалось выходить из палатки, не известив его, и тишину пререзал крик (акцент менялся в зависимости от того, кто кричал — русский, немец, поляк):

— Sentinelle! (Часовой.)

В ответ из тьмы гортанный голос араба спрашивал:

— Чего ты хочешь?

— Я иду...

Мы не стеснялись в выражениях. И часовой, считая это вполне нормальным, ибо и сам выразился не мягче, отвечал:

— Иди, мой друг!

Иной раз мы забывали известить часового о наших намерениях. Если часовой спал, все обходилось благополучно. Но в противном случае часовой кричал:

— Ты куда идешь?

— Иду...

— А почему меня не позвал?

— Забыл.

— Ступай обратно.

Если опрошенный возражал, спорил, араб кричал:

— Ступай обратно!

В темноте слышался злоеющий стук затвора. Ничего не оставалось, как вернуться в палатку, посидеть в ней минут пять и снова выйти, на этот раз крикнув во всю глотку:

— Sentinelle!

И услышать благосклонный ответ:

— Иди, мой друг.

В семь утра, в самый холодный час, когда небо уже побелело, а солнце еще не взошло, в час, когда палатки покрывались инеем и из грязно-серых становились ослепительно-белыми, надо было выстраиваться на поверку.

Джельфа была обнесена узкой кирпичной стеной с бойницами. А теперь форт Кафорелли служил казармой для арабских стрелков и... тюрьмой.

Обычно зимой из тюрьмы на третий или четвертый день людей направляли прямо в больницу.

В августе 1942 г. Кабош, увидев меня в лагере, позвал к себе и хрипящим от злобы голосом сказал:

— Вы в ваших письмах разводите политику. Вы знаете, что это запрещено?

— Господин коменданта, я пишу только жене — и никогда о политике.

— Что? Вы лжете! Вы писали, что в Европе умирают от голода.

— Но ведь об этом пишут все французские газеты.

— Что? Вы хотите сказать, что я морю людей голодом?

Очень мне хотелось ответить, что, разумеется, он это и делает. Но я сдержался и заметил:

— Я пишу об Европе, а наш лагерь в Африке.

Кабош погрозил мне пальцем:

— Если это еще повторится, я пошлю вас в тюрьму.

Случай ему представился очень быстро. Несколько дней спустя он встретил меня в лагере и опять злобно набросился:

— Я вас предупреждал, чтобы вы не писали о политике, а вы все-таки пишете. Это вам будет дорого стоить.

— Господин комендант, я не писал писем с тех пор, как вы мне сказали.

— Что? Вы еще спорите? Я лишаю вас права переписки.

Он отошел, трясясь от злости, и вдруг закричал:

— Ступайте в тюрьму на 15 дней! Вы — врач, вы — советский, так идите же.

Он придирался ко мне еще и за то, что я тайно читал товарищам лекции по биологии, по истории русской литературы, сочинял поэмы и пьесы к празднованию разных годовщин. Обо всем этом он знал через своих шпииков. В тюрьме я просидел не 15, а 17 дней. Товарищи с большим трудом доставляли мне туда пищу, папиросы, газеты, даже передали лишнее одеяло. Без этого я вряд ли выдержал бы эти бесконечно долгие 17 дней. Умываться было нечем — воды для питья и для умыванья давалось по две кружки в день.

Дни и ночи тянулись бесконечно долго. По ночам появлялись мыши, пищали, залезали на мою «кровать», но, увидев, что есть нечего, уходили.

Из тюрьмы я вышел как после долгой болезни — бледный, страшно ослабевший. К счастью, помогли товарищи, дав мне из средств коллектива усиленный паек.

За эти годы жизни мы все сжились друг с другом, как братья. Теперь, когда мы расстались по СССР, мы не потеряли надежды встретиться и вместе вспомнить о тяжелой неволе. Каким далеким все это кажется!

С первых же дней заключения я вел дневник. Писать было нелегко: надо было тщательно прятать его от начальства, от обысков, от шпииков. Это удалось, и дневник мой ни разу не попал к ним в руки.

Выдержки из дневника:

«13 октября 1942 г. Вчера испанцы праздновали «испанский день». Шел спектакль — живой, остроумный. Устроили выставку из наших «изделий»: из костей верблюда (мясо нам давали в пищу, когда верблюдов колевали), из волоса, самолеты из алюминия, туфли из... алыфы.

15 октября. Из Берруагия привели в лагерь немца Карла Фолькхарда. Это — шпиик, провокатор. Его узнали и избили. Вокруг него в барак столпился народ — все ходило смотреть. Он — небольшой, щуплый, сидел на нарах, как загнанный зверь, с безумным ужасом глядя на толпу. Кто-то предупредил об этом Кабоша. Тот сказал:

— Мне наплевать, это не мое дело, пусть его бьют!

В ту же ночь его серьезно избили. В темноте, по ошибке, избили и его ни в чем не повинного соседа.

Днем опять ходила мимо него, били. Вечером он открыл себе вены на руках. Его увезли в больницу. Раны оказались пустячными, притворными. В барак он больше не вернулся.

17 октября. В лагерь приезжал пастор, служил в бараке. У нас теперь имеются три «религиозных» группы: еврейская, протестантская и православная.

Вчера приезжала итальянская комиссия. Кабош к ее приезду велел убрать пулеметы, переодел солдат в штатское — по условиям перемирия. Объявлен обед из четырех блюд. Впрочем, только объявлен — мы его так и не получили.

В январе 1942 г. лагерь посетил алжирский генерал-губернатор Шатель. К его приезду на кухню привезли 10 бараньих туш, картошку, финики, апельсины. Мы радовались — хоть раз да поедем!

Шатель приехал, пришел на кухню:

— Вы им даете слишком много мяса, — заметил он Кабошу.

— Да ведь они работают, их надо кормить, — лицемерно ответил Кабош.

Шатель уехал. А час спустя из города приехала повозка, забрала мясо, картошку, апельсины — и увезла. Так мы ничего и не получили.

8 ноября. Вчера тайно праздновали Октябрьскую годовщину: доклады, декламация, песни — всё прошло с большим подъемом. Вести из Союза хорошие, у всех радость на сердце.

Невероятный слух: англичане и американцы сегодня высадились в Алжире.

9 ноября. Слух подтверждается. В лагере неописуемое волнение. Арабам розданы папроны и пулеметные ленты. Вероятно, скоро свобода.

10 ноября. Американцы и англичане — в Алжире. Вчера из Джельфы отправлен против них отряд спаги с 8 орудиями. В дороге оказалось, что у двух орудий нет замков — вещь, мыслимая только у французов. Орудия оставили на какой-то станции, а отряд вернулся, так как поезд дальше не шел, американцы велели остановить движение.

В лагере работаем как обычно.

Кабош сегодня отправил в тюрьму двух испанцев. Дело было так. Он проходил мимо группы интернированных. Один из группы ему не поклонился. Кабош на него набросился. Испанец ответил, что он ему уже кланялся. Кабош резко заметил, что ему должны кланяться каждый раз, когда его встречают. Испанец спокойно возразил, что Кабош уже не комендант, что теперь командуют американцы. Вбешенный Кабош позвал Гравелла и солдат, и испанца с его соседом увели в Кафарелли.

Полковник Бро в Лагуате заявил, что будет сопротивляться американцам «до конца». И... уехал в Алжир. Петеновские легионеры, отцепившие вчера свои значки, снова их нацепили.

12 ноября. Вчера через Джельфу проезжали англичане, интернированные в Лагуате. В Джельфе их отлично накормили. Они едут в Алжир в классных вагонах. А мы всё сидим в лагере.

В нашем лагере тоже освободили единственного англичанина. Я пошел к Кабошу. Спрашиваю, почему нас, русских, не освобождают.

Кабош ответил:

— Вас это не касается.

В бюро лагеря вывешено объявление о том, что никакие просьбы об освобождении не бу-

дут приниматься, даже письма и телеграммы родным об втом.

4 декабря. Вокруг лагеря появились огромные стада баранов. Раньше, боясь немецкой реквизиции, владельцы угоняли их и прятали где-то в горах.

В Алжире были манифестации, требовали нашего освобождения, полиция рассеяла манифестантов.

Когда мы узнали об англо-американской высадке в Алжире, то сразу подняли головы, а начальство, наоборот, поджало хвост. Теперь Кабош видит, что о нас никто не заботится, и начинает снова поднимать голову. Странно все-таки, что англичане и американцы нас не освободили. О существовании лагерей они знают, и своих освободили в первые же дни.

5 декабря. Сегодня наша группа праздновала день Сталинской Конституции. Теперь празднуем открыто, с соответствующими речами. Праздник очень удался. С гостями в бараке собралось человек 150, нельзя было пробыться. Был настоящий кофе, пирожное из фиников и из желудей.

7 декабря. Сегодня утром Кабош вызвал поляков и спрашивал их, не хотят ли они служить в польской армии. Ответы были разные. Большинство ответило: «да, если меня призовет польское правительство». Кабош пришел в ярость, кричал: «я здесь представляю польское правительство». Один поляк сказал: «нет, пан комендант, я два года дрался в Испании, сижу четыре года в лагере, с меня хватит». 3. заявил, что он никогда не служил в армии. Тогда Кабош записал его не поляком, а апатридом. Потом опять спросил у него: «а служить все-таки хотите?» 3. ответил, что хочет. Кабош тогда записал его «волонтером». Многие поляки отвечали, что они не польские граждане, а советские. Тех Кабош с яростью выгонял.

9 декабря. Полковник Бро из Лагуата вызвал шефов бараков и потребовал, чтобы они следили за дисциплиной. Прошил, что у него есть 200 штук и пулеметы, чтобы заставить нас слушаться.

Зима началась. Весь день и всю ночь дует ветер. Топлива не дают. Пища все хуже.

18 декабря. Сегодня алжирские газеты напечатали послание адмирала Дарлана американскому генералу Эйзенхауэру. Дарлан заявляет, что все заключенные и интернированные, поданные Объединенных Наций, им уже освобождены. На основании этого послания я написал заявление Дарлану. Секретарь Кабоша, фашист Гризар, сказал мне, что вряд ли оно дойдет. Я ему: «Но ведь мы, на основании послания Дарлана, должны быть уже освобождены?» Гризар нагло: «Это относится только к гражданам Объединенных Наций, а я не знаю, являются ли русские таковыми».

24 декабря. Сегодня сочельник. Вчера мы праздновали в нашей группе день рождения тов. Сталина. Из Кафарелли вернулся двое арестованных — совершенно больные. Их освободил врач, даже не осматривая. Кабош встре-

тил на дороге молодого испанца, дал ему за что-то две пощечины и послал в тюрьму.

25 декабря. Рождество. Сыро, холодно. Кабош лишил нас праздничного обеда за то, что наш хор отказался петь в городе. На обед вода с макаронами и картошкой, вечером вода с картошкой. Кабош потребовал у наших музыкантов, чтобы они сдали ему свои инструменты. Те отказались. Год тому назад Кабош послал бы арабов с винтовками, чтобы их отобрать. Теперь он этого не смеет сделать.

Прибыло двое новых интернированных: один бельгийский граф, фашист, другой молодой бельгиец, тоже фашист. Их арестовали как шпионов американцы. Граф вербовал в Алжире добровольцев в «антибольшевистский легион». Кабош устроил графа на теплое местечко — в интендантстве.

29 декабря. В коллективе деньги кончились. Последние затрачены на расходы по встрече Нового года. Мы сидим на чемоданах — каждый день ждем от англичан освобождения. В этом месяце, из-за высадки англо-американцев, мы устроили столько праздников, что растратили все деньги и продукты. Мы думали, что теперь нам все это уже не нужно.

1 января 1943 г. Незабываемый торжественный день. Мы сделали два больших плаката из одеял — на них буква V из флагов Объединенных Наций. На польском плакате — фамилии советских и союзных генералов, посередине слово «единство» на всех языках лагеря. Были речи, пел русский и испанский хоры. Все это в пещерной обстановке барака, заставленного старыми, грязными, рваными вещами. Сделали пудинг из фиников, пошло на брата, все съели дочиستا. В 12 часов ночи все вышли наружу. Ночь была темная, звездная, холодная. Дрожа от холода, накрывшись одеялами, собрались на площадке между бараками. Там — большие чучела Гитлера и Муссолини, привязанные к железной штанге. В полночь их зажгли. Они запылали гигантским костром, осветив наши бараки, людей в дохмотьях и в одеялах, колючую проволоку. Искры летели в звездное африканское небо. При свете этого костра один испанец сказал речь о победе и единстве. Пламя бушевало, пока мы пели, чучела корчились в огне. Потом хороводом мы плясали вокруг костра. Все поздравляли друг друга с близкой победой, со скорым освобождением. Плакали от волнения, обнимались. Потом в темноте побрели в свои бараки, показавшиеся нам еще грязнее и унылее, чем раньше. Джельфа спала, сонные замерзшие часовые-арабы молча глядели на нас через проволоку.

3 января. Никаких намеков на наше освобождение. Газеты публикуют приказ Жиро об освобождении «некоторых» политических заключенных, «отличившихся на войне или проявивших патриотизм». К иностранцам и интернированным это не относится. Нам ясно, что для нас не будет никаких перемен, пока англичане и американцы не обуздают французских фашистов.

6 января. Сегодня из лагеря освобожден французами бывший атаман Белый, первокурс-

сний бандит, питлеровец. Значит, фашистов освобождают, а нас нет.

В Лагуат из Алжира привезли немцев и итальянцев, членов германской и итальянской комиссии перемирия в Алжире. Высадка англо-американцев произошла так внезапно, что эти господа даже не успели удраить и были захвачены в плен. В Джелифе их накормили отличным обедом, потом на автокарах отправили в Лагуат.

11 января Кабош свирепствует. Вывесил объявление, запрещающее приближаться к проволоке ближе, чем на 6 метров, а за «саботаж» внутри лагеря вводит суровые наказания. Дело в том, что мы сплели на топливо несколько столбов, на которых держалась проволока.

Поляков снова позвали на комиссию — но только католиков, а не евреев. Их допрашивал польский «консул» в Алжире, граф Чапский, который в прошлом году так горячо вербовал рабочих-поляков для Германии. Он продолжает оставаться консулом и теперь. На этот раз он приглашал поляков записываться в польскую армию Сикорского.

Потом Чапский собрал всех поляков в новом бараке и сказал им речь. Суть ее в следующем: «речь идет для вас не о борьбе против Гитлера, это дело союзников, ваше же дело — восстановить великую и свободную Польшу, борясь против всех, кто этому мешает». Затем у каждого он спросил: «а будете ли вы драться, если это понадобится, против России?» Все поляки в один голос сказали, что против СССР никогда не пойдут. Хорошо «дипломат»!

21 января. В лагере объявился случай сыпного тифа. Начальство напугано. По предложению врача лагеря, комендант поручил мне борьбу с тифом. Наш коллектив меня энергично поддерживает.

Вчера приехала долгожданная комиссия — английский вице-консул и с ним один офицер. Кабош вызвал меня в бюро для составления списка русских. Консул любезно пожал мне руку, осведомился о здоровье. Кабош вертелся рядом, челюсть у него прыгала от злости. Он задыхался. Кабош всячески пытался меня поскорее удалить. Но мне удалось сказать англичанам главное. Они ответили, что все это уже знают.

Сегодня же эта комиссия уехала, ничего не сказав и забрав наши списки.

24 января. Вчера освободили одного испанца-фашиста, который раньше служил у Франко, а потом занимался спекуляцией в Алжире.

28 января. Масса событий — конференция Рузвельта и Черчилля в Касабланка, встреча де Голля и Жиро. У нас без перемен. В управлении лагеря служат молодые здоровые французы. Так как в Алжире теперь объявлена мобилизация, то мобилизованы и они. Надежда военную форму, кроме своего гражданского, получают еще и военное жалованье и... никуда не едут.

16 февраля. В последние недели я был представителем советской группы, вроде как председателем, и все переговоры с Кабошем

велись через меня. Кабош вчера вызвал меня в бюро. Он был в штатском, и, к моему изумлению, весьма вежлив. Говорит: «Извините, что вас беспокою (!). У меня срочное дело. Завтра, в 9 часов утра соберите всех русских на площадке перед метро (так мы называли безобразный, темный барак, построенный по плану Кабоша и похожий на станцию метро). Повидимому вами серьезно занимаются».

Пошел в лагерь — еще не дошел, а уже весь лагерь знал об этом приглашении. Волнение страшное. Из Кафарелли выпустили, по моему требованию, сидевшего там русского. Кабош вспомнил о нем: «а, это тот, которого я посадил за то, что он воровал ячмень у наших свиней». Хорош же лагерь, где людям приходится воровать пищу у свиней!

Рано утром все собрались в указанном месте. Пришел Кабош, злой как собака. Увидел за нашими спинами любопытных испанцев, накричал на них, прогнал. Потом злым голосом пролаял:

— Приготовьте ваши вещи, сейчас за вами придут грузовики и отвезут вас в Алжир.

Сказал и ушел.

Волнение неопишемое. Стали проверять списки русских. В лагере вдруг объявилось множество «русских», которые до сих пор никогда не заявляли, что они русские. Все они просят включить их в список. Мы их не записали, но Кабош, видя это, насильно включил их в список.

Всем нам велено сдать казенные вещи.

В 3 часа Кабош сообщает, что грузовики вызваны в другое место, а мы поедем поездом, и не сегодня, а через несколько дней. Нам вернули только одеяла и посуду. Все спят прямо на голых досках.

Сегодня в лагерь приехала французская санитарная комиссия для осмотра. В лагере, после нашего отъезда, будут размещены немецкие и итальянские пленные. Комиссия нашла, что помещение околотка не годится для больных, велела построить новое. Для фашистов оно не годится, а для нас?

19 февраля. Кабош хотел выкинуть из нашего списка трех украинцев под предлогом, что они поляки и записались добровольцами в польскую армию. Я их спросил, они говорят, что никогда не записывались. Из лагеря освобожден еще один русский — бело-эмигрант, фашиствующий. Он уехал в Алжир. Интересно, что в справке об его освобождении Кабош не проставил числа.

20 февраля. Приехал в лагерь полковник из Лагуата, велел созвать представителей всех групп и стал на нас кричать:

«Я хочу, чтобы вы меня оставили в покое! Если вы этого не хотите, я сумею вас обуздать, у меня есть для этого танки и самолеты. Испанцы в этом лагере — это убийцы и воры, осужденные у себя в стране за воровство и за убийства. А немцы здесь не должны забывать, что они выходцы из держав оси. А русские еще отсюда не уехали. Здесь командуют французы, а не англичане и американцы» (он произнес последние слова с ненавистью в голосе).

Речь глупа до безнадежности. Испанцы возмущены. Испанский шеф лагеря, анархист Доменек, был при этой речи и ничего не возразил. Все испанцы в лагере требуют отставки Домека.

23 февраля. С огромным успехом праздновали день Красной Армии. Кабош был вынужден разрешить нам официально это празднование. На эстраде, на красном фоне, сделали надпись — 25 лет РККА, и пятиконечную звезду из имен советских генералов. В центре — портрет товарища Сталина. Хор пел лучше, чем обычно. На другой день меня вызвал Кабош.

Необычайно мягким тоном он сказал:

«Мне кажется, что вы вчера нарушили дисциплину, вывесив на эстраде красное знамя».

Я ответил, что его плохо информировали, что никакого знамени не было, а была только декорация. Кабош ответил, что нашего заявления достаточно. Я еще никогда не видел Кабоша таким.

Газеты сообщают, что в Алжире выпущены на свободу из тюрьмы 27 бывших депутатов коммунистов.

Приехал полковник Бро из Лагуата. Вызвали нас, «делегатов» групп, теперь мы как бы узаконены в лагере. Бро толстый, грубый, самодовольный и... очень неумный. Память у него полицейская. Он сразу меня заметил и спросил: «Вы не были в мой прошлый приезд?» Бро осмотрел других и начал речь. Привожу ее почти буквально:

«Я был в Алжире. Там образована смешанная комиссия: один француз, один американец, один англичанин и один представитель Международного Красного Креста. Она должна была завтра приехать в Джельфу. Но ей пришлось поехать в другой лагерь, так как там началась голодная забастовка. А потом она поедет в лагерь Колон Бешар, где сидят 5.000 человек. Вас же тут всего 800. Она допросит каждого отдельно. Испанцев отправят в Мексику, если их примет мексиканское правительство. Вопрос о русских стоит эсобо. Русские должны ждать грузовиков. Если грузовики придут до комиссии, русские уедут, если позже, русские тоже пройдут через комиссию. Поняли? Всех прочих отправят в рабочие команды. Все лагеря будут ликвидированы. Вы можете мне верить или не верить, это ваше дело. Не я вас посадил в лагерь. Я не требую ничего большего, как чтобы вы убрались ко всем чертям! Но пока вы не уехали, вы — интернированные и должны держаться тихо. Вы, представляющие лагерь, несете за него ответственность. (Это к нам, делегатам). Если в лагере что-либо случится, я вас так закучу! (Он сделал жест рукой). А теперь убирайтесь вон!» (Он сделал грубый жест).

27 февраля. Сегодня газеты печатают декрет Жиро об освобождении из лагерей коммунистов, де-голлистов и интербригадцев. А мы все еще сидим. Русские в эту категорию, по мнению Жиро, не входят.

Вчера я отправил от имени нашей группы телеграмму английскому консулу в Алжире. Кабош ее пропустил, даже советовал составить в

более энергичных выражениях — очевидно, намерен поссорить нас с англичанами. Мы текста не изменили.

5 марта. Кабош внезапно объявил нам, что, согласно полученному им от полковника Бро приказу, он должен всех нас, русских, отправить в форт Кафарелли. Я спросил: «это для отъезда?» Кабош ответил уклончиво: «вы должны уехать или сегодня, или завтра, или ночью, вы должны быть готовы к отъезду, поэтому мы вас и переводим в форт». Нам всё это показалось подозрительным. Уехать ведь мы могли и прямо из лагеря. Во-вторых, Кабош о времени отъезда говорил очень неопределенно. Удастся все-таки от него добиться, чтобы нас отправили в Кафарелли не сегодня вечером, а завтра. Нам нужно этот вопрос обдумать. Кабош согласился.

На другой день Кабош вызвал нас утром в бюро и велел немедленно же собраться для переезда в Кафарелли. Мы возражаем, Кабош раздражен и в то же время смущен. Говорит, что грузовики могут приехать в любое время. Кабош злится, нервничает, начинает кричать. Мы уходим, собираем всю нашу группу перед бараком. Вещи у всех уже уложены с 15 февраля. Все высказываются против перехода в Кафарелли. Мы передаем наш ответ Кабошу. Тот приходит в ярость, но все-таки вежлив.

В 4 часа нас опять вызывают к Кабошу. Он говорит, что получил приказ от полковника, чтобы мы были в 5 часов в Кафарелли. И этот приказ он выполнит во что бы то ни стало.

Мы возвращаемся в наш барак. Видим, что к лагерю едут конные спаги. С общего согласия принимаем решение идти только под давлением силы, без вещей, но не сопротивляться французским солдатам. В лагерь въезжают спаги и с ними пехота — алжирские стрелки. Арабы тащат с собой пулеметы, винтовки с примкнутыми штыками, держат их на изготовку. Они медленно окружают барак, отгоняя всех. Весь лагерь сбегается, смотрит, как на нас идет «войска». Меня вызывают к Кабошу. Он стоит рядом с офицером спаги, молодым, улыбающимся французом, и с другим капитаном — военным комендантом Джельфы — выским, с неприятливым красным лицом, по имени де Брошар. Мы заявляем протест против применения силы к нам, советским гражданам. Офицеры молча слушают. Комендант де Брошар сухо спрашивает: «Среди вас есть офицеры?» «Да, — говорю, — я и мой помощник». Тогда он говорит: «Велите вашим людям собраться перед бараком».

Мы уходим с тем, чтобы не выходить из барака, пока нас оттуда не выгонят силой. Вскоре в бараке появляются солдаты с ружьями на перевес и выгоняют нас не грубо, но решительно. На площадке нас всех строят в три ряда. Приходит Кабош со списком и велит мне вызвать по нему. Я отказываюсь. Тогда Кабош дает список Гравелло, и тот вызывает наших товарищей, грубо переворачивая русские фамилии. Затем нас окружают арабы с ружьями и ведут из лагеря, не дав взять вещи.

Мы, выстроившись по три, шагаем в ногу, как солдаты, смеясь и шутя. Так идем через весь лагерь, испанцы шумно нас приветствуют. На перекрестке лагерной дороги мы встречаем грузовики с французскими летчиками, те удивленно глядят на нас.

Доходим до Кафарелли. Нас вселяют в две большие залы. На другой день опять является полковник Бро в сопровождении Кабоша, команданта Джельфы, военного врача и администратора города. Бро опять произносит речь.

«Я, — сказал он, — перевел вас сюда, чтобы изолировать от лагеря, на который вы имеете дурное влияние. Вы должны здесь сидеть тихо, а то у меня для вас есть 60 камер и даже, если понадобится, стенка за фортом. Вы не имеете права обращаться со мной, как равные с равным. Для меня все вы — интернированные. Среди вас есть преступники. Вашей дисциплины я не желаю, вы должны подчиняться моей». Обращаясь ко мне, Бро добавил: «Вы хотите обратиться к французским властям? Власть — это я. Вы спрашиваете, почему я перевел вас сюда? Потому что я этого хотел, потому что мне это нравится. Поняли?»

9 марта. Сегодня опять холодно, в разбитые окна дует ледяной ветер. Нам дали доски, чтобы забить окна. Развлекаемся как можем, каждый день устраиваем доклады на научные и политические темы, вечером песни и декламация, залпом играем в шахматы.

15 марта. Третьего дня, наконец, к нам приехала комиссия: один английский майор, один американский и один французский, а также штатский — представитель Международного Красного Креста. Англичанин — британец, очень молодой, серьезный, а американец — высокий, с орденами, с живыми и умными глазами. Позвали опять меня. Пока я говорил с комиссией, Кабош стоял рядом молча, на него никто из комиссии не обращал внимания. Я изложил события в лагере, выразил наш протест против обращения с нами как с союзниками и потребовал нашего освобождения до репатриации.

Мы преподнесли англичанину и американцу наши изделия из кости. Я пояснил: «Пусть это будет для вас не только напоминанием о лагере, но и символом того, что мы глодаем кости, а потом делаем из них изделия на продажу, чтобы заработать денег на еду». Потом мы разбили на группы и подробно рассказали комиссии о нашем положении в лагере, об избиениях, о хроническом недоедании, о тюрьме...

Прошло четыре с половиной месяца со дня высадки англо-американцев в Алжире, мы все еще сидим. Комиссия говорит, что англо-американцы не желают вмешиваться во внутренние дела французов, а наше освобождение — это, мол, внутреннее французское дело. Странно: ведь высадка в Алжире — тоже вмешательство во внутренние французские дела, и повнушительнее, чем наше освобождение.

27 марта. Неожиданно приехали два коммуниста-депутата из Алжира, из числа 27-ми освобожденных. В 2 часа в лагерь пришел Кабош, с ним двое штатских, один маленький, толстый, с живыми глазами, другой

белокурый, сухощавый. Оба сердечно пожали нам руки и пошли в бюро форта. Первый оказался депутатом от Парижа — Демозуа, другой от департамента Севера — Мартель. Я их приветствовал от имени нашей группы и объяснил, что освободить нас в Алжире до репатриации французские власти не хотят.

2 апреля. Все слухи о комиссиях опять замолкли. Сидим и ждем с какой-то безнадежностью.

В Алжире министром внутренних дел Жиро назначен известный алжирский хирург, доктор Абади, которого я лично хорошо знаю и который ездил в СССР лет десять назад. Я ему написал личное письмо, в котором рассказывал о лагере.

15 апреля. Из лагеря пришел араб с запиской. Меня вызывают в контору к Кабошу. Мелькнула мысль — это освобождение? Иду в лагерь, вхожу в бюро. Кабош сидит, но, когда я вхожу, встает, первым здоровается и нескладно говорит:

«Господин доктор (раньше он меня называл просто по фамилии), я получил телеграмму о вашем немедленном освобождении. Вы свободны с этого момента и можете ехать, куда вам угодно. Вы, наверно, очень довольны?»

Сдержав себя, я сказал, что поеду в Алжир, и пошел в лагерь прощаться с товарищами. А там уже все каким-то чудом знали о моем освобождении. Собралась толпа испанцев, все поздравляла меня, жали руки, хлопали по спине, по испанскому обычаю. Я шел, как во сне, глупо улыбаясь. Потом вернулся в город, купил вина, соленой рыбы и понес все это в Кафарелли. Часовые-арабы изумленно на меня смотрели — я шел без стража. Вероятно, Кабош уже дал им приказ обо мне. В Кафарелли все наши товарищи тоже уже знали о моем освобождении через араба-солдата и меня чуть не задавили, обнимая и поздравляя. В форту был испанский оркестр, сейчас он играл. Сварили суп из риса, привезенного нам американцами. Годы лагерной жизни кончились.

В эту ночь я заснул только на рассвете...

Утром пошел в лагерь за деньгами и документами. Товарищи в лагере устроили для меня душ. Испанцы рагладили шляпу, костюм. Потом пошел в контору за пропуском. Гризар, секретарь Кабоша, и тут не удержался от галости. Написал бумагу обычным канцелярским французским стилем, в котором говорилось, что «так называемый Рубакин» («le nommé Roubakine») освобожден и едет в Алжир. «Так называемый» — официальный французский тюремный термин, которым стараются унижить заключенного — его не называют «мсье», как принято во французском обхождении, а просто «так называемый», будто и фамилия под сомнением.

Трудно расставаться с товарищами — столько пожила вместе! Уложив вещи, роздал что мог. Всю ночь провел с небольшой группой друзей в маленькой комнатухе рядом с залами форта. Устроили ужин — я опять купил в городе вина, ели рыбу, консервы, финики. Всю ночь разговаривали, шутили, вспоминали прошлое, пели. В час ночи пришел за мною

Гравелль. Он уже купил для меня билет на автокар до Алжира. За билет с меня в лагере тоже вычли деньги. Я пошел в город. Мрак был полный, какой бывает только в африканские ночи. Автокар приехал в темноте. Арабы лезли в него, грубо толкаясь, Гравелль расчищал мне дорогу, крича на арабов. Я сел в автокар, прислонился к окну. Уже начинало светать. Автокар быстро покатился в полумраке. Мы ехали через африканскую пустыню к Алжиру, к свободе».

ЧАСТЬ 5-ая

В АЛЖИРЕ

В Алжир я приехал только поздно вечером. Автокар был переполнен — ехали арабы, французы-колонисты. Все они, видно, прошли хорошую немецкую выучку — о политике никто не проронил ни слова. Пассажиры везли с собой картошку, яйца, даже живых кур, которые клахотали под журнусами арабов. Все это говорило о том, что в Алжире, вероятно, жизнь не такая уж сытая, как мы думали.

Пустыня вокруг Джелдыфы сменялась холмами, покрытыми виноградниками, в которых копались толпы арабов. Виноградники были густые, нарядные под солнцем и тянулись по склонам гор, спускались в долину. Арабы, работавшие на них, были оборванные, грязные, с обожженными солнцем лицами. На холмах виднелись нарядные шикарные домики с террасами, — там сидели колонисты в европейских костюмах. Порою они что-то грозно кричали арабам. По дороге попался большой лагерь французской молодежи — молодые здоровые парни в полувоенной форме возились с американскими машинами: «петеновская молодежь», с помощью которой дряхлый властелин Виши пытался построить свой фашистский строй.

Автокар шел только до Блиды. Поезда пришлось ждать долго — он запоздал на четыре часа. Мимо станции, по путям, тянулись бесконечные товарные составы, груженные американскими автомобилями, орудиями, снарядами. Рядом с грузом на открытых платформах сидели английские солдаты — здоровые, белокурые и совсем юные по сравнению с черными усатыми алжирскими французами. Наконец пришел и мой поезд. Я сел в купе и жадно оглядывал немногочисленных пассажиров. Все это были женщины. Они судили о ценах на продукты, обменивались сведениями, где их можно достать на черном рынке.

За два года немецкого хозяйничанья в Алжире, этой житнице Франции, постепенно исчезало все: и масло, и мясо, и молодые овощи, которыми раньше Алжирия снабжала Францию. Богатейшая и цветущая страна была доведена до голода. Как солигер, присосавшийся к кишечнику, немцы высосали из нее все, не думая о будущем, стремясь только награбить побольше и накормить свои разнузданные орды, двинувшиеся на разграбление и уничтожение Европы. Даже апельсины и финики, эти основ-

ные продукты алжирского хозяйства, стали исчезать в стране.

В Алжир мы приехали вечером. Город был абсолютно тише. В порту, у самого вокзала, чернели громады кораблей, кое-где на них сверкали огоньки. Над городом темными зловещими каплями повисли загадательные баллоны. Вдоль берега моря, на десятки километров, копошились люди, выгружая с причаливших пароходов огромные ящики с автомобилями, с консервами, орудиями, танками. Весь берег был заставлен ими. Тысячи автомобилей стояли на набережной, выстроившись в ряды, местами их вереница прерывалась тяжелыми танками, грузовиками, броневиками. На перекрестках дорог виднелись английские солдаты, регулировавшие движение бесчисленных грузовиков, джипов, автомобилей с английскими и американскими военными.

Прямо с вокзала я попал в отель на набережной. Там мне уже была заказана товарищами комната. Перед отелем стояли зенитки, обложенные мешками с песком, грозно задрыв к небу свои тонкие стволы. Вокруг них сидели и ели из котелков английские солдаты. Толпы арабчат вертелись вокруг них, предлагая всякую дрянь и жадно заглядывая в котелки.

И вот я в комнате, один, совсем один!

«Какое великое слово — дом, даже когда он не твой». — Я лег в постель. Было тепло, уютно, по-домашнему горела лампочка над кроватью. Улегшись, я взял газету. Но лежать пришлось недолго. На улице послышался резкий свисток. Еще, еще. Я невольно встал и подошел к окну. Грубый голос прокричал с улицы:

— Эй, там, в третьем этаже, гасите свет!

Я успел забыть о войне! Из лагерь война казалась далекой. Забыл о затемнении: мое окно было раскрыто, шторы не спущены. Пришлось закрыть окно, спустить тяжелые занавеси.

Но едва я закрыл глаза, как резко и влоще завывали сирены. Весь город, казалось, выл, как дикий зверь перед смертью. На лестницах слышались торопливые шаги спешно спускающихся людей, взволнованные женские голоса. Была воздушная тревога.

Пальба длилась около трех четвертей часа, потом сразу всё стихло, только где-то на высотах, над Алжиром, время от времени полнзали пулеметы и автоматические пушки.

Такие налеты мне пришлось пережить еще не раз. Немцы хвастались, что уничтожили Алжир. «Раз как-то, — рассказывали мне английские офицеры, — мы привезли в Алжир пленных немецких генералов и офицеров из армии Роммеля. Увидя большой город, они спросили: «что это?» Им ответили, что это Алжир. Они недоверчиво засмеялись и сказали, что Алжир давно разрушен немецкими самолетами».

В начале высадки англо-американцев Алжир был сравнительно плохо защищен от налетов. В первые дни после высадки немцы своими налетами разрушили несколько домов, перебили немало народа. Но потом это кончилось. Ни разу они не попали в порт или в какой-либо другой объект военного назначения.

На другой день в пять часов утра я уже проснулся. Алжир был залит солнцем. Прямо передо мною расстилался порт с красавцами броненосцами, минными катерами, десятками пароходов. Синело древнее Средиземное море — но на нем не дымили пароходы, не белели паруса рыбацких лодок. Моря перестали быть обитаемыми, стали джунглями, в которых подстерегали друг друга подводные лодки, эсминцы и самолеты. Несколько тяжелых, как утюги, английских линкоров, с гордо развевающимися на корме «Юнионом Джэком», были причалены к самому берегу. Очевидно, после долгой и тяжелой работы на море они теперь отдыхали. Военные суда долго не стояли в порту — дня два-три, и опять в море, для охраны караванов, для бомбардировки портов, для борьбы с врагом.

По лестнице, поднимающейся на набережную из порта, шли в город сотни нарядных моряков. Наверху их уже ждали всякие сомнительного вида арабы в грязных бурнусах и европейцы в потертых пиджаках, показывая им из-под полы порнографические открытки, зазывая в публичные дома, в кабаки.

Вечером движение совершалось в противоположном направлении — из города в порт.

Многочисленная толпа заливая улицы Алжира. Как всюду на Востоке, казалось, что людям нечего делать и они могут весь день шататься по улицам и сидеть в кафе, хотя теперь в кафе уже ничего, кроме вина, не подавали. Все кино-театры были полны — у них стояли огромные очереди, хотя в Алжире было несколько десятков кино, и притом огромных.

С неповторимым наслаждением шел я по городу, вглядываясь в лица, наблюдая за людьми, заглядывая в витрины магазинов, вдыхая запах моря, впивая солнце и морской ветер. Друзья уже знали, что я в Алжире. Много знакомых и незнакомых друзей ждали меня к себе, к обеду, в день моего приезда в Алжир. Большие друзья, когда я был в лагере, помогал мне последнее время известный алжирский врач Каттуар, старый мой знакомый по Парижу.

Упомянув о Каттуаре, я не могу не вспомнить о другом французе, представителе противоположного лагеря.

Когда я был переведен из Франции в лагерь Джельфу, то вспомнил, что у меня в Тунисе был старый знакомый, известный французский ученый и писатель, директор Пастеровского института в Тунисе, Этьен Бюрне. Бюрне работал вместе со мною много лет в Лиге Наций, приезжал в 1934 году в Москву, был женат на русской. Я написал ему из лагеря с просьбой указать мне адреса магазинов в Алжире или в Тунисе, куда я мог бы посылать деньги для уплаты за посылки с продуктами — о другой помощи я его не просил. Бюрне ответил мне холодно и официально, на официальной бумаге, что он ничего не может для меня сделать, и посоветовал обратиться к Алжирскому Красному Кресту. Бюрне стал петеновцем и даже председателем петеновской организации «Национальная помощь» (Secours National). Куда

он делся после овобождения Туниса от немцев, я не знаю. Но в газетах я читал, что директором Пастеровского института в Тунисе был назначен кто-то другой. Быть может, Бюрне ушел с немцами — вся его ставка была на них.

Мне надо было начать обход американского и английского консульств, чтобы добиться скорейшего освобождения и перевода в Алжир моих товарищей, оставшихся в лагере. И прежде всего я пошел к американскому консулу.

Меня очень любезно принял сам консул — ведь он видал меня в лагере, куда приезжал с американской комиссией всего месяц назад. С ним я был краток — сказал ему, что еще до приезда советской делегации необходимо перевести советскую группу в Алжир, вырвать ее из когтей французских фашистов. Ведь сам консул сказал мне в Джельфе, что помещение для наших товарищей уже готово. Если не все из них окажутся советскими гражданами, это не беда. Нельзя заставить страдать всю группу из-за нескольких сомнительных граждан.

Консул слушал меня, улыбаясь. Потом сказал: — Мы обсудим этот вопрос с майором И. из английского консульства, который тоже был со мною в Джельфе. А, между прочим, где вы остановились в Алжире? — спросил он у меня.

— В отеле «Руайяль», — ответил я.

— А, знаю, — хитро заметил консул, — ведь владелец этого отеля сидит у вас в лагере, он бельгиец.

Он все знал, все помнил. И так же хитро добавил:

— Ведь Д. (владелец отеля) коммунист. Но вряд ли он чего-либо добьется от бельгийского консула, тот слишком большой формалист.

Формализм бельгийского консула заключался в том, что он был ярым фашистом. При немцах, как и польский консул граф Чапский, он вербовал бельгийцев для работы в Германию. На заявление Д., что он хочет поступить в бельгийскую армию для борьбы с немцами, консул ответил официальным письмом, утверждая, что Д. слишком стар, и в его возрасте в армию не принимают. Это было, конечно, неверно.

Старые законы рушились один за другим. С ними никто не считался и, прежде всего, сами власти. Интересы властей были направлены на нечто иное. На что? Об этом я расскажу дальше.

★

От американцев я узнал точно, что наши советские делегаты — уже в пути. В Каире они ждали самолета для дальнейшего следования.

Оставалось ждать их в Алжире. Вряд ли можно было рассчитывать на то, что до их приезда наших товарищей переведут из Джельфы в Алжир.

Больше наслаждение мне доставляло шататься по алжирским улицам. В трамваях преобладали французы, но были и английские солдаты. Американцам же было запрещено на них ездить под предлогом, что они могут захватить

там инфекционные болезни, широко распространенные среди арабов — трахому, чесотку, даже сифилис. Что же касается арабов, обычно выполнявших обязанности кондукторов, то при малейшем недоразумении и ссоре европейцы высаживали их из трамваев. Помню, как-то раз высадили молодого араба, на вид довольно культурного и хорошо говорящего по-французски. Он долго не хотел сходить, упрямо повторяя:

— Вы меня гоните потому, что я араб, потому, что я не человек. Если бы я был французом, вы бы меня не посмели согнать.

Публика молча его слушала, не вмешиваясь, не выражая своего мнения. Мне на каждом шагу приходилось наблюдать у сколко-нибудь культурных арабов это чувство постоянного морального унижения перед французами. В лагере даже наш тюремщик, аджудан Ахмет, незадолго до нашего освобождения, жаловался нам, что арабов не считают за людей, что даже в армии простой солдат-француз может командовать арабскими унтер-офицерами. Так оно и было на самом деле. Разрешение арабского вопроса, в смысле уравнивания арабов в правах с французами, несомненно, назрело, а между тем, правительство ничего не предпринимало в этом отношении. Более того, когда я был в Алжире, оно издало закон, возвращавший алжирским евреям все их права, уничтоженные Виши, но в смысле политических прав, в смысле голосования на выборах, приравнивало их к арабам, иначе говоря, лишило избирательных прав. Не расширение прав всех народов, населяющих французскую империю, а сужение их — такая политика, безусловно, была опасной. И неудивительно, что французы в Алжире и все правительства Алжира постоянно жили в страхе арабского восстания. Ведь не далее, как в 1941 году в Блida произошло крупное восстание арабских солдат, в результате которого французы перебили около 400 арабов, затнанных ими во двор казарм. Все это не могло пройти незамеченным в арабском мире.

В один из первых дней после моего освобождения я пошел к доктору Абади, новому министру внутренних дел правительства Жиро. Его министерство помещалось за городом, в великолепных зданиях женского лицея, откуда открывался чудный вид на Алжир и на море. В сад, где находились разные министерские бюро, пропускали только по пропускам после предъявления документов. Я вытащил мой советский паспорт. Солдат при входе опешил, увидя его, но тотчас же, не спрашивая даже о цели моего прихода, выписал пропуск. Я увидел, какое магическое действие оказывают теперь советские бумаги на французские власти.

Абади принял меня крайне любезно, внимательно выслушал все, что я ему рассказал о лагере, о Кабоше, изредка возмущенно повторяя:

— Какой позор, какой позор для Франции!

В заключение я ему сказал, что пишу книгу о Франции и о лагерях, но в ней не хватает последней главы.

— Какой? — спросил Абади.

— Главы о наказании виновных.

— Ничего, мы эту главу дополним, — серьезно ответил Абади.

После этого он сам провел меня в соседнюю комнату, где представил трем каким-то видным членам своего «кабинета», говоря им:

— Я давно знаю доктора Рубакина, он пробыл два года в лагере и рассказал мне ужасные вещи о лагерях. Это возмутительно!

Но собеседники выслушали его молча, глядя на меня с нескрываемой враждебностью. Все это были старые испытанные фашисты, служившие еще при Виши. Они и сами великолепно знали обо всем, что делалось в лагерях.

Мне показалось, что Абади — просто вывеска для французов и союзников, а в министерстве его сидят все те же лица, что и раньше, которые, несомненно, будут всячески саботировать все его мероприятия. Так оно и оказалось на деле.

Когда я выходил от Абади, в порт входил огромный караван судов, конвоируемый грозными английскими линкорами и миноносцами. Прохожие глядели на караван и промолко говорили:

— Сегодня ночью, значит, опять будет налет.

Немцы знали все, что делалось в Алжире. Немецкие шпионы продолжали кишеть в городе.

★

Город был полон военных всех союзных наций. По улицам шатались долговязые американские солдаты и офицеры. Шли сухопарые, но крепкие английские солдаты и матросы. Появилось множество французских солдат — при немцах их не было, так как французская армия при них перестала существовать.

И среди этого военного люда ходили своей развалистой походкой арабы, одни в лохмотьях, с худыми загорелыми лицами, истощенные работой, другие в белых нарядных бурнусах, в красных фесках.

Женщины-арабки в белых платьях, с лицом, окутанным чадрой, из-под которой были видны красивые лукавые глаза, ходили пруппами. А больше всего было ребят-арабчат. Они шмыгали в толпе, спрашивали все что могли у американцев, продавали им всякую дрянь, чистили сапоги.

Американцы и англичане жадно поглядывали на женщин, как глядят на женщин военные всего мира, долго лишенные женского общества. А смотреть было на что. Редко где я видел таких красивых женщин, как в Алжире. Помесь испанцев, француз и итальянцев создала здесь исключительно красивый женский тип, недаром с таким увлечением писал о них Мопассан.

Вся эта толпа заливала узкие алжирские улицы, сжатые красивыми современными десяти- и двенадцатитажными громадами домов. Алжир, безусловно, один из красивейших городов

Африки. Он вытянулся узкой полосой вдоль моря, стекая к синим волнам Средиземного моря своими столпившимися ослепительно-белыми домами.

Алжир был переполнен, в нем было свыше полумиллиона жителей. Найти комнату было трудно. Еще до высадки англичан сюда бежало множество французов из метрополии, спасаясь от немцев, бежало множество евреев, одни — спасая свою жизнь, другие — спасая имущество. Но и теперь через Испанию продолжали приходить беженцы, вырвавшиеся из Франции. Состав их был иной, чем раньше: бежали фашисты, бывшие приверженцы Виши, делавшие раньше ставку на немцев, а теперь, убедившись в силе англичан и американцев, делавшие ставку уже на этих. Сюда прилетел один из главных палачей пегеновского режима, бывший министр внутренних дел Лавалья, Пюше. Теперь он надеялся сделать карьеру при американцах. К счастью для Франции, его здесь арестовали и, после суда, расстреляли. Но при мне он еще преспокойно жил в своем имении, и только после продолжительной кампании демократических элементов был арестован и судим. А сколько осталось подобных ему, но более мелких сошек, которых освобожденная Франция еще не судила и не покарала?

Выдержки из дневника:

«28 апреля 1943 г. Третьего дня, наконец, в Алжир прилетели наши делегаты из Москвы.

Немедленно делегаты побывали у министра иностранных дел Жиро, Сент Ардуэна и у Абади. Иначе говоря, прием был официальный, несмотря на то, что правительство СССР не имело никаких отношений с Жиро. Жиро дал нашим делегатам в полное распоряжение автомобиль и даже прикомандировал двух офицеров для сопровождения. Один из них, герцо де К. Т., был летчиком, побывал в СССР в 1935 г. вместе с французскими парламентариями и с восхищением говорил о виденных им в СССР авиационных заводах. Он был, кроме того, депутатом — и притом реакционным — от департамента Соммы.

Вместе с ними мы на другой же день на двух машинах поехали в Джельфу, до которой было 350 километров.

Приехав в Джельфу, мы сразу же прошли в форт Кафарелли, где нас с горячим нетерпением ждали наши товарищи. Я даже не узнал их — все оделось в лучшее, что у них было: в пиджаках, в галстуках, прямо хоть сейчас на свободу. В огромной камере были вывешены красные плакаты с надписями:

«Привет советским делегатам, привет родине, привет товарищу Сталину, привет непобедимой РККА!»

До часу ночи мы работали с нашими товарищами при свете самодельных масляных лампочек.

В 7 часов утра надо было уезжать обратно в Алжир. Наши спутники очень торопили нас. Дело было ясно: они боялись, что делегаты увидят лагерь. Но мы хорошо помнили: в лагере находились товарищи из Западной Белоруссии,

которые не были включены в советскую группу. Наши делегаты потребовали встречи с ними.

Кабош услужливо подскочил:

— Вам незачем будет терять время и идти за ними в лагерь. Их приведут сюда.

Действительно, их немедленно привели. Так наши делегаты и не увидели лагеря».

★

Почти каждый день в Алжирский порт прибывают огромные караваны по 40—60 пароходов под охраной грозных английских судов. Выгружаются тысячи танков, автомобилей, самолетов, ящиков со снарядами, с консервами. Французские и арабские рабочие выгружают их днем и ночью, — и караваны в тот же день ульывают обратно, окруженные серыми миноносцами, гигантскими броненосцами, другими судами. На десятки километров вдоль берега тянутся склады выгруженных снарядов и транспорта. Десятки тысяч «пионеров» живут тут же на берегу в удобных и просторных английских палатках. С ними работают сотни наших товарищей, сидевших вместе с нами в лагере и принятых теперь в английскую армию — тут и испанцы, и венгры, и румыны, и немцы, и австрийцы. Странно видеть их в английской форме, в коротеньких трусиках цвета хаки, с голыми ногами. Англичане их отлично кормят, платят по 100 франков в неделю, дают панталоны, одежду, белье. Наши товарищи отъелись, поздоровели, трудно узнать в них истощенных, бледных, небритых людей, с которыми мы вместе сидели под властью Кабоша.

Вдоль дорог на сотни километров от Алжира тянутся склады орудий, танков, грузовиков, снарядов, ящиков с горючим. Снаряды сложены штабелями в полях около дорог. Их даже никто не сторожит. На равнинах простираются на десятки километров только что отстроенные аэродромы, на которых выстроились рядами тысячи «летающих крепостей», истребителей, транспортных самолетов. Над городом непрерывно жужжат эскадрильи английских самолетов. И в самом Алжире, и по всем дорогам вокруг него тянутся военные автомобильные колонны с американскими и английскими солдатами, штыряют тысячи американских «джипов», афибий, грузовиков. В порту, прямо против моей гостиницы, у самых пристаней прилепились гигантские английские линкоры, могучие крейсера, толпятся эсминцы и торпедные катеры, пришвартовались вдоль пристаней подводные лодки. Иногда в порт заходят английские авианосцы, громадные, размалеванные, с плоской палубой, на которой, как игрушки в магазинной витрине, расставлены рядами кажущиеся крохотными самолеты. Странный это корабль. Сбоку он похож на любой другой военный корабль, с мощными трубами, с башнями, как у крейсера, с грозно торчащими из-под палубы орудиями. Но когда на него смотришь спереди или сзади, то видишь, что все эти трубы, башни и самый капитанский мостик прилажены как-то сбоку, с одной только стороны.

★

Американцы и англичане раздают детишкам-французам шоколад, сгущенное молоко, бисквиты. Питаются наши союзники замечательно — мы об этом можем судить, так как в нашем лагере под Алжиром нам дали английский военный паек: три раза в день мясо, яйца, колбаса, масло, варенье, фрукты, овощи, чудесный белый хлеб, чай с молоком и сахаром в неограниченном количестве, по две пачки бисквитов и по плитке шоколада в день.

Американцы и англичане ничего не закупали в Алжире, кроме фруктов и вина. Они все привезли с собой. Больше того, они стали снабжать продовольствием французов и арабов.

Но с тех пор, как Алжирия освободилась от немцев, вывозить ей продукты стало некуда, а страна была очень богата. До войны она сама снабжала Францию мясом, овощами, фруктами, оливковым маслом, вином. Самоснабжение союзников вызвало теперь недовольство крупных французских колонистов, которым принадлежали почти все плодородные земли в Северной Африке и на которых работали местные арабы. Колонисты продавали немцам все свои продукты по высокой цене — ведь немцам французские деньги не дорого стоили. Так уходила в Германию зерно, мясо, овощи, масло, фрукты. Колонисты, хищники по натуре, скрытые или явные фашисты, были материально заинтересованы в немецкой оккупации. Но от нее страдало городское и сельское население, рабочие, служащие, арабы-земледельцы. Французская колониальная администрация, сплошь фашистская, наживавшаяся на эксплуатации страны, также была глубоко враждебна союзникам. Мы достаточно испытали это на нашей шкуре в лагере. Фашисты не только ненавидели англичан и в особенности Советский Союз, они боялись и арабов.

Выдержки из дневника:

23 мая. В наш лагерь под Алжиром привезли красноармейцев. Они были взяты в плен немцами на советском фронте в самом начале войны. Немцы сперва отправили их в Италию на работы, оттуда перевезли в Тунис на самолетах. В Тунисе они работали вблизи фронта. Немцы их почти не кормили, но зато местное население — французы и арабы — всячески им помогали. В Италии население тоже хорошо относилось к ним — давали папиросы, хлеб. Почему-то итальянцы просили их снять шапки и, когда те снимали, внимательно осматривали их головы. Оказывается, немцы убеждали их, что у русских на голове под волосами рожки. Красноармейцы — необычайные здоровяки. Объяснение простое: все, кто послабее, плена не выдержали и умерли. В иных лагерях для советских военнопленных за первую же зиму умерло до 80% пленных. Беря в плен, немцы обдирали их до нитки — отбирали все личные вещи, часы, снимали одежду, сапоги, и пленные ходили всю зиму босиком и почти без одежды. Командиров и комиссаров, а также евреев немцы расстреливали немедленно же. Среди наших красноармейцев есть два лейтенанта. Говорят, немцы послали в

Африку против англичан не самых лучших своих солдат, а тех, в которых они были не очень уверены: чехо-словаков и словаков, поляков и тех из немцев, которых, по политическим соображениям, они боялись послать на советский фронт.

30 мая. Де Голль приехал сегодня в 11 часов утра. Жиро встречал его на аэродроме.

В городе говорят, что Черчилль и Иден второй день находятся в Алжире. Это держится в тайне, но знают все.

2 июня. Сегодня вечером в Алжире объявлено «тревожное положение» (état d'alerte). Радио-Франс занято войсками Жиро, все солдаты заперты в казармах. Адмирал Мювелье, бывший раньше у де Голля, а потом перебежавший в Алжир, назначен помощником Жиро. Ожидают крупных беспорядков. Де-голлисты тщательно охраняют своего вождя. При нынешних обстоятельствах покушение на него считается возможным. Ведь убили же адмирала Дарлана!

3 июня. Был у Лабарта, нового министра информации Жиро. Когда я пришел в бывший лицей, в котором теперь помещаются различные министерства, и спросил Лабарта, никто о нем ничего не знал. Швейцар спросил меня, кто это такой? Меня он принял немедленно. В Лабарте нет ничего «министерского» — он остался студентом по своим привычкам. В разговоре остроумен и зол. Он «отстал» от де Голля, но и у Жиро его не считают своим. Все фашистское окружение Жиро его терпеть не может, он считается у них де-голлистом.

Я просил у Лабарта разрешение на собрания Общества друзей СССР, которое только что образовалось в Алжире. Лабарт сказал, чтобы они подали ему письменное заявление, и он им сейчас же даст разрешение.

Пока я сидел у Лабарта, в приемной его ждал бывший французский посол Рюю. Я напомнил об этом Лабарту. Он только махнул рукой: «мало ли их тут шатается, бывших послов и генералов!»

В Алжир понаехало множество генералов из Франции. Приехал сюда и небезызвестный генерал Жорж. Как им удалось бежать из Франции? Это тайна. Но все они идут к Жиро, а не к де Голлю.

Сегодня в 2 часа подписан договор между де Голлем и Жиро.

7 июня. Вчера утром в Алжире состоялся конгресс «Сражающейся Франции». Организаторы прислали нашей делегации и мне официальное приглашение. Конгресс происходил в огромном кино-театре «Мажестик» на 3.000 мест. Зал был переполнен, и огромная толпа стояла на улице. Ведь это был первый открытый митинг «Сражающейся Франции» в Алжире. Все ждали первого публичного выступления де Голля. На сцене в первом ряду почетного президиума сидели депутаты-коммунисты, среди них длиннорылый Моке, у которого немцы расстреляли 17-летнего сына как заложника. А рядом с ним сидел не кто иной, как бывший главный помощник пресловутого полковника де ля Рока, депутат

Валлен, ставший французским патриотом. Перед эстрадой, в помещении для оркестра, стояли с автоматами на-изготовку два молодых солдата из армии Леклерка. Мне навсегда запомнились их лица — молодые, бодрые, решительные, покрытые загаром Ливийской пустыни.

Де Голль быстро вошел в зал из боковой двери, длинный, тонкий, узкоплечий, с маленькой головой на длинной шее, с большим кадыком. Шел он огромными шагами. За ним двигалась свита штатских, военных, охраны. На де Голле был простой мундир с тремя генеральскими звездочками на рукавах, без всяких орденов. Движения у него были быстрые, нервные, глаза слегка на выкате, нос длинный, лоб низкий и покатый.

Де Голль заговорил при молчании всего зала. Говорил он гладко, литературно, но очень обще. В своей речи не упомянул о программе, не наметил политических перспектив, говорил только общими фразами о борьбе. Шумная овация покрыла его последние слова. Снова спели Марсельезу.

После де Голля должен был выступить от имени депутатов-коммунистов Вальдек Роше. Но едва де Голль кончил свою речь, как председатель группы «Конба» Капитан тронул его за руку, весь комитет «Конба» поднялся и вместе с де Голлем побежали из зала. Конгресс был окончен. Вальдек Роше не успел раскрыть и рта. Большинство в зале было возмущено, публика громко требовала, чтобы Вальдек Роше говорил, но было уже поздно. Коммунисты и сочувствующие им негодовали — ведь компартия была самой сильной из всех политических партий в Алжире. Больше того, по существу она была единственной партией во Франции со времени оккупации, и только она вела борьбу с немцами.

Интересно, что де-голлисты полагали, что после де Голля вообще никто не должен говорить.

Лабарт и тут не смог удержаться от злой шутки. Посланный им кино-оператор снял всю сцену митинга. А когда в публике начали кричать, требуя слова Вальдеку Роше, оператор повернул микрофон к публике, и все эти крики запечатлелись на пленке. Больше того, как только де Голль окончил свою речь, Капитан вполголоса и быстро сказал своим соседям: «Идем скорее из зала, пока Вальдек Роше не начал говорить. Поставьте пластинку с маршем». И эти слова Капитана запечатлелись на пленке, так как кино-оператор успел повернуть свой микрофон в его сторону. Так для истории будущей Франции были увековечены некоторые детали ее алжирского периода.

8 июня. На будущей неделе наш эшелон покидает Алжир. Кончилась африканская эпопея, нас ждет наша родина. Перед отъездом состоится в Опере первый митинг Общества сближения с СССР. Я должен сделать доклад, а наш хор будет исполнять советские песни. Хор у нас чудесный, исключительно музыкальный, есть и хорошие солисты. Учредители Общества выполняют формальности по устройству собрания. Лабарт дал

разрешение. Но вчера произошла смена правительства Жиро, и Лабарт не вошел в новое правительство: де Голль не пожелал его видеть в правительстве. Впрочем, это не удивило Лабарта, он этого ждал. В помещениях «министерств», или, как их называют, комиссариатах, полная пустота, никого, кроме швейцаров, нет, никто ничего не знает, швейцары не знают даже имен новых «министров», только что назначенных, министры не знают, где они будут заседать. Новые министры называются «комиссарами». Почти все они — старые чиновники, массам неизвестные, многие из них определенно профашистского настроения и связаны с крупными финансовыми кругами и даже 200 семействами, как, например, Ренэ Мейер. Министр труда Тиксье еще в Америке. Это социалист, бывший сотрудник Альбера Тома в Международном Бюро Труда. Я его знал пятнадцать лет назад в Женеве. Но главный вершитель судеб — это все-таки Жан Монне, крупный финансовый агент в прошлом и, вероятно, в настоящем.

В Алжире в изобилии появились продукты: овощи, фрукты, хлеб, мясо — все мясные полны мясом.

13 и 14 июня. Сегодня утром в Опере состоялся первый митинг Общества сближения с СССР. Хотя о нем было объявлено всего лишь за три дня, зал был переполнен, огромная толпа ждала на площади. Билетов не было — их не успели напечатать. Поэтому, по алжирскому обычаю, все входящие клали деньги при входе на подносы — кто сколько хотел. На подносах были пруды билетов — давали щедро. Надо было оплатить наем зала — 3.000 франков, была и другие расходы. Публика собралась пестрая. После вступительного слова председателя, профессора Даллона, слово взяла молодая 25-летний алжирский поэт Жербо, секретарь нового общества. Его речь была очень интересной и искренней. Он говорил от имени поколения французских, которое родилось после Октябрьской революции. Оно тянулось к СССР, стремилось узнать о нем возможно больше. Затем вышел наш хор. Жербо объявил, что хор споет русский и французский национальные гимны, и просил выслушать их стоя и без всяких манифестаций. И вот, впервые со времени освобождения от немцев, и вообще впервые со сцены Оперы зазвучали Марсельеза и Интернационал. Оба гимна были выслушаны с необычайным вниманием. После их окончания зрители устроили настоящую овацию. Наш хор пел очень хорошо, был в ударе. Такой же овацией публика встретила и мой доклад. А когда я заявил, что отношу эти аплодисменты не к себе, а к Советскому народу, сыном которого я являюсь, аплодисменты долго не замолкали.

Когда мы после собрания уезжали на грузовиках и автомобилях, французы обступили наши машины, жали нам руки, кричали «Да здравствует Советский Союз!», «Да здравствует Красная Армия!»

14 июня. Сегодня в семь утра мы сложили наши пакатки — вещи были уже уложе-

ны. Да и много ли их у нас было? За нами приехали английские грузовики. Начинаясь долгий путь на родину, через равнины и горы Туниса, пески Ливийской пустыни, по синим волнам Средиземного моря, через Египет, Палестину, Багдад и Тегеран. Уже близкой казалась нам озаренная победами Красной Армии Советская страна...»

★

Почти два года провел я в фашистских тюрьмах и концлагерях Франции. Я видел французский фашизм. Он обращается к тому, что есть самого скверного в человеке, стремится создать бандитов и негодяев из людей малокультурных, малоустойчивых, малосознательных. Путем подачек, милостей, почестей он привлекает к себе сторонников — трусливых, жадных, жестоких, вероломных людей.

В Алжире я увидел возрождающуюся Францию, проснувшуюся после многолетней спячки.

Я увидел французов, французский народ таким, каким знал его раньше и любил. Все живые силы Франции объединились в борьбе с темными силами, угнетавшими страну. Речь шла не только о борьбе с немцами — главное для Франции было найти силу в самой себе, снова поверить в себя, бороться против своих собственных внутренних врагов, которые привели ее к деморализации и поражению. Борьба с немецкими оккупантами была общим стремлением, объединившим все живые силы Франции. Эта борьба, благодаря Красной Армии и союзникам, окончилась победой. И для Франции останется задача: найти самое себя, стряхнуть с себя последствия деморализации и разложения этих лет, занять в мире место, на которое она имеет право. Все признаки возрождения налицо — сплочение демократических элементов, геройская борьба партизан, вольных стрелков и «Фронта сопротивления». Если первые главы моей книги говорили о крушении Франции, последнюю главу ее можно было бы назвать «Возрождение Франции».

МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ

А. ДЕРМАН

★

I

Характер отношения широких масс народа к стихам и особенно к песням Исаковского нетрудно определить просто и точно. Это подлинная любовь. Стихи его и песни не только безгранично популярны. Народ как бы присвоил их себе в качестве своего собственного создания. На глазах у современников стирается грань между ними, как произведениями личного творчества и произведениями фольклора.

Иногда, при полной неизменности, так сказать, материального состава произведения, характер его восприятия читателем преобразуется до полной неузнаваемости под влиянием времени. «Бедная Лиза» Карамзина в конце XVIII века и та же «Бедная Лиза» сейчас — это два несхожих произведения, хотя ни одной буквой они меж собой не отличаются. Бывает, однако, и наоборот: происходит порой очень значительная трансформация произведения, но характер его восприятия остается прежним.

Не так давно И. Н. Розанов сделал на собрании московских поэтов доклад о судьбе знаменитой «Катюши» Исаковского. Мы не станем излагать его содержание, отметим лишь, что за короткое время исследователь собрал свыше сотни различных вариантов «Катюши». Некоторые из них лишь в незначительном отличаются от авторского текста, другие далеко отходят от последнего, в ряде случаев продолжают песню, повествуют о дальнейшей судьбе Катюши и т. д. и т. д. Катюша становится поэтическим символом русской девушки-патриотки, а пограничник, которому она приветствует, превращается то в летчика, то в танкиста, — в зависимости от того, в какой конкретной боевой обстановке происходит это «освоение» песни; видоизменяется содержание приветствия Катюши; стихотворение дополняется ответом ей бойца и т. д. В иных вариантах Катюша уже не только обращается к бойцу, но и сама представлена как боец:

Ты, Катюша, извергам проклятым
Посылаешь тысячу смертей.
Ты их бьешь не только автоматом,
Но и песней звонкою своей.

Едва ли возможно сейчас с документальной точностью установить, каким образом произошло присвоение имени «Катюша» грозному оружию нашей Красной Армии, гвардейскому миномету. Но трудно сомневаться в том, что здесь имело место хотя и редкое, но очень простое явление: отраженное влияние поэтического образа на чувства людей, выходящие за пределы поэзии, подобно тому, как мы называем «солнышком» или «цветком» тех, кого любим.

Трансформация «Катюши» происходит с поразительной быстротой и гибкостью. Ширится партизанское движение — и Катюша уже партизанка. Красная Армия вступает на рубеж Восточной Пруссии — и Катюша — пленница немцев в этой цитадели германского милитаризма, откуда с мольбой об освобождении протягивает руки навстречу идущему ей на выручку бойцу, и т. д. и т. д.

Нужно ли доказывать, что только внутренняя близость, любовь могла до такой степени обратиться литературный образ в живое лицо с собственной, развивающейся судьбой? Катюшей не только восхищаются, не только радуются ее удачам и скорбят о ее печалих — за нее порой и вступаются, как за реальную девушку. Один писатель-фронтовик рассказывал мне про случай такого заступничества на фронте. В час боевого затишья со стороны переднего края противника патефон донес к нам в окопы звуки «Катюши». Среди бойцов поднялась буря возмущения против румын, занимавших вражескую линию: как они смеют играть «нашу «Катюшу»! Произошла короткая схватка, и «Катюша» вскоре была возвращена «домой».

Все эти примеры, — а их можно привести множество, — явно свидетельствуют об исключительной близости поэзии Исаковского внутреннему миру, душе читателей. В одном его стихотворении, где он с глубокой любовью описывает русскую природу, есть такая заключительная строка: «Всё мое, и всё родное». Вот это самое чувство испытывают миллионы людей, читая стихи Исаковского: «моё», «родное», любимое.

Анализ творчества поэта должен вскрыть истоки этой любви.

II

Начинать приходится, однако, не с рассмотрения отдельных, хотя бы и важнейших элементов, из которых складывается творчество поэта, а с указания на общую особенность его поэтического лица: Исаковский отразил в своем творчестве определяющую черту нашей эпохи: ее переломный характер. В той или иной мере черта эта отражена в творчестве всех без исключения современников. Исаковский в числе тех поэтов, для которых это составляет органическую сущность. А в особенностях его таланта заключались необходимые данные для ее поэтического воплощения в народном духе. Когда стихи Исаковского читают или песни его поют люди нашей страны, то каждому из них кажется, что стихотворение написано, а песня сложена именно для него, и даже более того, — что он сам ее сложил. Он как бы не отделяет себя от поэта. И в этом нераздельном слиянии — истоки той любви, о какой мы выше говорили.

На первый взгляд представляется, что общность между читателями и поэтом уместается в рамках того поколения, которое непосредственно участвовало в событиях великого исторического перелома, и для дальнейших поколений, вышедших на сцену жизни в послеоктябрьский период, значение этого момента постепенно утрачивается.

Но это, конечно, неверно. В Октябре 1917 года страна вступила в длительный процесс всестороннего и глубочайшего преобразования народной жизни. И трудно представить срок, в течение которого ощущение этого процесса для современников будет оставаться непосредственным, медленно уступая место чисто историческому его восприятию. Вспомним, что уже много лет спустя после французской революции — события, неизмеримо меньшего значения, Гейне писал: «Мир раскололся пополам и трещина прошла по сердцу поэта». Эта великолепная метафора одновременно свидетельствует о том, как долго остается живым ощущение великих исторических переломов и как резко воспринимается это ощущение поэтом, который по самой своей духовной природе — отзывчивое эхо.

Но, конечно, разнообразны характер и окраска этой отзывчивости. Складом своей поэтической натуры Исаковский был как бы предназначен отразить в наиболее близком народу духе великий перелом.

III

Михаил Васильевич Исаковский родился в 1900 году в деревне Глотовке Выходского района Смоленской области, в бедной крестьянской семье. Деревня была глухая, заброшенная, даже начальной школы в ней не было, и будущий поэт овладел грамотой самоучкой. Ему было десять лет, когда в Глотовке открылась школа. Он стал посещать ее. Но наступили холода — и

ученье прервалось: не в чем ходить в школу, — ни обуви, ни одежды... Мальчик занимался дома, а весной сдал экзамены в школе. Со второго года посещение школы возобновилось, и в 1918 году мальчик отлично выдержал выпускные экзамены.

Поэтические наклонности Исаковский стал проявлять в первые же годы учения. Уцелевшие в памяти поэта обрывки его ранних стихов представляют определенный биографический интерес, указывая, куда было направлено внимание мальчика, степень его развития и т. д.

Повидимому, школьные учителя проявили незаурядную чуткость к детским опытам Исаковского, распознав в них зерно поэтической одаренности. Это видно из того, что на выпускных школьных экзаменах тринадцатилетнему мальчику было предложено выступить с чтением стихов. Приводим из них два отрывка.

М. В. ЛОМОНОСОВ

Жил у нас в былые годы
Ломоносов Михаил.
Я читал его походы —
Как учиться он ходил.

Тайно вышел он из дома,
И никто про то не знал, —
Как в Москву с обозом рыбы
За наукой он бежал.

СВЯТОЙ

В бедном уголочке,
На краю села,
Со внуком Ванюшей
Бабушка жила.

Хижину плохую
Имели они, —
Прозябнут, бывало,
В ненастные дни.

Дровец у них нету —
На чем привезешь?
На себе из леса
Много ль принесешь?

Связь между этими стихотворениями ясна: неприглядная жизнь «в бедном уголочке» питает увлекательную мечту о славном ломоносовском «походе» в Москву за наукой...

Как бы то ни было, стихи доставляли юному автору большой успех, вызвали толки и в какой-то мере определяли дальнейшую судьбу Исаковского. Первое выступление его в печати связано также с вниманием к его ранним опытам со стороны школьных учителей. Учительница школы показала его стихи знакомому педагогу, печатавшему корреспонденции в столичной прессе, и одно из них, «Просьба солдата», на мотив, вызванный происходившей тогда войной,

было помещено в московской газете «Новь» в 1914 году.

Самое важное и ценное в этих замечательных для будущего поэта эпизодах заключалось в том, что учителя стали настойчиво советовать мальчику во что бы то ни стало продолжать образование.

Но как мог бы он совет этот выполнить?

Для переезда в город и обучения в гимназии необходимы были средства, которыми отец его не обладал. Путь самоучки преграждало почти полное отсутствие книг. Жадная любознательность мальчика питалась из самых скудных и случайных источников, вроде обрывков газет и т. п. И порой это приводило к самым неожиданным результатам. В письме ко мне М. В. Исаковский рассказал об одном таком курьезном случае:

«Мое знакомство с поэзией было крайне опрощенным. Я лишь прочел несколько случайно попавших ко мне стихотворений, в которых фигурировали Музы, Фебы и т. д. Все это было совершенно непонятно для тринадцатилетнего деревенского мальчишки. Однако кто-то мне объяснил, что Муза — это богиня поэзии, Феб — бог неба и т. д. И у меня в то время сложилось такое мнение, что стихи без Муз, Фебов, Вахвов и пр. — это не стихи и что для стихов требуются слова необыкновенные, красивые и пр.

И вот однажды зимой, в воскресном приложении к какой-то газете я прочел стихи, начинавшиеся так:

«За окошком плакала соната».

Непонятное слово «соната» очень понравилось мне. Я стал думать, что же оно может означать. И так как была зима, то я решил, что соната — это, очевидно, поэтическое название вьюги. Иначе что же может плакать зимою за окошком?..

«Расшифровав» таким путем «сонату», я немедленно же решил ввести это красивое слово, поразившее меня, в свои стихи. И написал следующее:

В вечерний час, когда по небу
Луна серебристая катилась,
Ко мне вновь Муза возвратилась
И стал я поклоняться Фебу.

И тишиной морозной ночи
Кругом была земная обьята.
Уж сладкий сон слипал мне очи,
Как вдруг заплакала соната.

Меня соната оживляла,
Я стал прислушиваться к ней.
Она ужасно завывала
И с часом делалась сильней.

...Впрочем, — прибавляет М. В. Исаковский, — справедливость требует сказать, что Фебами и сонатами я увлекался недолго и перешел на вещи, более мне близкие и понятные».

Счастливым случай помог Исаковскому совершить этот переход, для чего необходимо было

прежде всего вырваться из той темноты, в которой протекало его детство: на мальчика обратил внимание член уездной земской управы в городе Ельне М. И. Погодин, заведывавший отделом народного образования. Он свез его на свои средства в Москву к знаменитому окулисту Авербаху, который, прописав Исаковскому очки, разрешил продолжать учебу, рекомендуя при этом крайнюю осторожность. Нашлись чуткие люди, педагоги Горнская и Свистунов, организовавшие правильные занятия, и осенью 1915 года Исаковский был принят в IV класс частной гимназии Воронина в Смоленске с освобождением от платы за учение.

Стихотворные опыты мальчика продолжались и в гимназические годы, однако отношение к ним со стороны новых учителей было уже иное. Когда однажды была задана классу домашняя работа на тему: «Природа Кавказа по стихам Пушкина», мальчик и самую работу выполнил в стихах. В ней он писал:

Так вот ты каков, мой священный
Кавказ! —

Я всю душою стремился
Тебя посмотреть еще в детстве хоть раз,
К тебе я мечтой уносился.

Получив от учителя обратно свою тетрадку, Исаковский не нашел под своим сочинением обычной отметки. Вместо нее красными чернилами было написано: «Прошу точно выполнять заданные работы, не допуская неуместных вольностей...»

В гимназии Исаковский проучился недолго: небольшая стипендия от ельнинской земской управы, которую выхлопотал Погодин, не извлекла юношу от материальных лишений, и в конце концов Исаковский после двухлетнего пребывания в гимназии, вынужден был прервать учение и заняться поисками заработка.

В 1917 году он определился учителем в сельскую школу, а после революции перешел на работу секретаря в волполкومه.

В 1918 году Исаковский вступил в партию большевиков. Со следующего, 1919 года началась его продолжительная редакторская работа, сначала в провинциальной прессе: до 1921 года — он редактор газеты в Ельне, с 1921 по 1931 — работает в смоленской газете «Рабочий путь». С 1931 по 1932 год редактировал московский журнал «Колхозник», издававшийся «Крестьянской газетой».

Одну черту в его провинциальной редакторской деятельности нельзя обойти молчанием даже в самой краткой биографии: исключительное внимание к начинающим авторам. Оно было щедро вознаграждено результатами: Исаковскому довелось стать «крестным отцом» таких поэтов, как Твардовский, Рыленков и др.

Первый сборник стихов Исаковского, под характерным названием «Провода в соломе», вышел в 1927 году. Его появление в свет прошло не совсем гладко: рецензенты Госиздата, куда поэт направил свою рукопись, дали о стихах отрицательный отзыв, что предвещало печаль-

ской столицей, самый его идеологический замысел в этом сближении, в неразрывном сплетении деревенского «огня рябины» с «огнем московских кумачей». т. е. в раскрытии их внутреннего единства.

В дальнейшем мы увидим, какое важное значение имеет данная черта в идеологии Исаковского, сейчас мы ограничиваемся лишь указанием на эту стойкость и органичность «деревенской» сердцевины в его творчестве.

V

Столь же пристального внимания, как значение среды, заслуживает значение момента, когда складывался духовный облик поэта, момента великого исторического перелома жизни нашей страны: он определил и колорит творчества Исаковского.

Дореволюционное прошлое русской деревни для Исаковского — не историческая категория, не «сведения», почерпнутые из книг, не объект «изучения». Для него — это острая, неумирающая печаль лично пережитого, глухая тоска детства и юности, тяжкие страдания самых любимых, близких и родных людей. И когда все это было снесено волной революции, оно не ушло из памяти сердца поэта, но осталось в нем как фон, на котором он воспринимает новую жизнь. Между этими двумя стихиями — тяжким прошлым и светлым настоящим — в поэтическом творчестве Исаковского установилось очень характерное для него взаимное воздействие: новое не только не погасило в нем скорби о прошлом, но, наоборот, обострило горечь воспоминаний. И точно так же по другой линии восприятия: минувшие тяжкие испытания обострили ту радостную и светлую эмоциональность, какую проникнуты его стихи, посвященные изображению жизни новой, послереволюционной деревни. Совершенно несомненно, что именно этот прогресс взаимного усиления старой печали новой радостью и новой радости — прежней скорбью создает во всем творчестве Исаковского атмосферу редкой цельности, ясности и полноты поэтического чувства. Его печаль — очень горькая; его радость — насквозь светлая; то и другое — до конца искренно; в весьма значительной степени этим именно обстоятельством объясняется большая эмоциональная заразительность стихов Исаковского: захватывает их лирическая безраздельность.

Сопоставьте, например, такие его стихотворения, как «Я вырос в захолустной стороне» — с одной стороны, и «Весна» или «Вдоль деревни» — с другой. В первом читаем:

Я вырос там, среди скупых полей,
Где все пути терялись в тумане,
Где матери, баюкая детей,
О горькой доле пели им заране.
Клочок земли, соха да борона —
Такой была родная сторона.

Теперь из «Весны»:

Весна, весна кругом живет и дышит,
Весна, весна шумит со всех сторон!..
Взлетел петух на самый гребень крыши
Да так поет, что слышит весь район.

Из «Вдоль деревни»:

Нам такое не встречалось и во сне,
Чтобы солнце загоралось на сосне,
Чтобы радость подружила с мужиком,
Чтоб у каждого звезда под потолком.
Небо льется, ветер бьется все больней,
А в деревне частоколы из огней.
А в деревне — и веселье и краса,
И завидуют деревне небеса.

На чем построены все три стихотворения? На лирической гиперболе. «Весна шумит со всех сторон!» и сейчас точно так же, как шумела тысячу лет назад и будет шуметь тысячу лет спустя; и в поведении петухов ничего за это время не изменилось: поют, как и пели. И т. д. и т. д.

Любые «поправки» здесь утрачивают всякое значение для чувства поэта, для его ощущения правды наблюдаемой исторической тенденции.

Происходит великое преобразование родной поэту русской деревни, и он с обостренной тоской вспоминает, какую она была, и с обостренной радостью воспринимает ростки ее грядущего развития.

В стихотворении «Земля» (как и в ряде других) ярко выступает двусторонность этого процесса.

Земля, земля! Горит рассвет,
И ты для нас — кругом открыта..
Земля, земля! А сколько ж бед,
А сколько ж горя пережито!

Эти строки выражают сущность поэзии Исаковского, поэзии великого исторического перелома: лично глубоко пережитая скорбь о прошлом и светлая радость созидания счастливой, обновленной жизни.

VI

На первый взгляд — это угол зрения опротивленного большинства, почти всех современных повтов. В чем же здесь отличие Исаковского от других? В цельности, непосредственности, насыщенности и диапазоне лирического выражения чувств. В том, что горе и радость, о которых он пишет, — это его глубоко личные горе и радость, и перелом между ними — это перелом в его личной жизни.

В творчестве Исаковского, как и в отзывке, какой оно находит со стороны читателей — момент лично пережитого имеет очень большую роль. Он, как сказано, придает цельность, законченность и полноту его поэтической эмоции. Какое бы мы ни взяли стихотворение Исаковского, тональность чувства в нем всегда и без всякого исключения — полная и определенная: радость — ликующая, печаль — глубокая. Этот момент лично пережитого создает прямой ток от образов поэта к сердцу читателя.

Если попытаться выразить в самой краткой формуле, каково ощущение жизни миллионов масс нашего народа в наше время, то над всей сложной пестротой этого необозримого многообразия встанет один неоспоримо-явственный общий признак: ощущение новизны. Пусть одни ее благословляют, другие на нее ворчат, иные даже проклинают,—все равно, ощущают ее все без изъятия. И таким образом у поэта перелома народной жизни происходит «встреча» с миллионами его читателей на этом универсальном и важнейшем ощущении новизны, свежести становления жизни. Само собою разумеется, что «любобной» эта встреча бывает не со всеми, но всех она задевает за живое. И особенно радостна эта встреча тем, кто заодно с поэтом со всей полнотой чувства и радуется и скорбит, т.-е., в целом, всему народу.

VII

Необходима, однако, существенная оговорка, когда мы говорим об особенно тесной связи Исаковского с русской деревней — связи, определившей, прежде всего, тематику его творчества (стихов, в которых не фигурировала бы деревня или люди деревни, у него почти нет).

Это — отнюдь не ограниченный провинциализм в идеологии поэта. Он пишет о том, что ему всего ближе и дороже, но его подход к данной теме не только лишен малейшего привкуса того эстетического консерватизма, который не разлучен с «деревенским провинциализмом», с предпочтением «патриархальности», в чем бы она ни выражалась, хотя бы в солоньевых крышах и лаптях — напротив, он резко ему враждебен. Как уже указывалось, его отношение к темным сторонам деревенской жизни не просто скорбное, но обостренно-скорбное. Например, в цикле стихотворений «Былое» Исаковского почти стерта грань между жизнью и смертью деревенских жителей, которые

Звали счастье под свое окно,
Только счастье не спешило в гости.
И надежным было лишь одно —
В три аршина место на погосте.

Но Исаковский верит в расцвет русской деревни, который ясно рисуется ему в изживании деревенской обособленности от культурной жизни страны. Очень просто и выразительно это высказано в уже цитированном нами стихотворении «Большая деревня»:

И оттого-то все напевней
Шумит полей родных простор,
Что в каждой маленькой деревне
Теперь московский кругозор.
Москва в столетях не завянет
И не поникнет головой,
Но каждая деревня станет
Цветущей маленькой Москвой.

Эту черту в поэзии Исаковского, кажется, раньше всех (уловил Горький, когда по поводу

выхода первой книги стихов Исаковского отметил в посвященной ей рецензии, что автор ее «знает, что город и деревня — две силы, которые отдельно одна от другой существовать не могут, и знает, что для них пришла пора слиться в одну непоборимую творческую силу, слиться так плотно, как до сей поры силы эти никогда и нигде не сливались. В сущности именно этот мотив и звучит во всех стихах Исаковского». Несомненно, что и поэт видел в этом основной смысл своей поэзии, метко, просто и образно назвав первый сборник своих стихов «Провода в соломе».

Есть у Исаковского стихотворение, где он сам указывает истоки своего творчества, не отделяя при этом последнее — и с полным на то основанием — от песенного народного творчества: «Догорай, моя лучина». И как характерно, что «героем» этого стихотворения является все та же символическая электрическая лампочка и что написано оно по случаю открытия электростанции в одном из колхозов. Вот несколько заключительных строк из него:

До конца
до предела
догорела сегодня лучина,
И тоскливая русская песня
с лучиной сгорела до тла.
.....
Под счастливой звездой,
пришедшей с электростанции,
Мы сегодня
исторично на свет рождены.
Наши звезды плывут,
вековечную ночь сокрушая,
Раздвигая глухую
ненасытную тьму.
Наша жизнь поднялась
словно песня большая-большая, —
Та,
которую хочется слушать
и хочется петь самому.

Конечно, формально поэт как будто неправ, утверждая, что «тоскливая русская песня с лучиной сгорела до тла», и творчество Исаковского, в котором не мало тоскливых песен о прошлом русской деревни — красноречиво опровергает это утверждение. Но совершенно ясно, что слова его имеют иной смысл: не «песня с лучиной», а в сопоставлении лучины, ее опозитивирование, ее возведение в эстетическую категорию, довольно богато представленное и в письменной и в устной поэзии дореволюционной России, — сгорело до тла. И поэт Исаковский является как раз характернейшим и органическим выразителем этого переломного момента, этого перехода русского села от лучины к электролампочке.

Именно органически им. Самое звучание его стихов, тембр и сила его поэтического голоса, страстность, вкладываемая в слова,—все это у него резко меняется в зависимости от того, изображает ли он, выражаясь условно, «лучину» или то, что охватывается противоположным по значению термином «электролампочка» или, на-

конец, самый переломный момент от «лучины» к «электролампочке».

Есть у Исаковского большое стихотворение, где мы сразу встречаемся с отражениями этих трех элементов, из коих в целом складывается вся картина творчества поэта. Это — «Четыре желания» («Песни о жизни батрака Степана Тимофеевича»). Здесь и безрадостные картины жалкого прозябания батрака («лучина») и картины его несбывшихся мечтаний («электролампочка») и, наконец, призыв поэта ко всем обездоленным Степанам Тимофеевичам переломить свою горькую судьбу и ринуться навстречу новой, радостной жизни. Мы встречаем здесь сначала хорошо знакомую щемлящую печаль, неизменно сопровождающую у Исаковского изображение постылого прошлого, и столь же знакомую почти детскую радость, когда на смену старому приходит «счастье долгожданное». Но как характерно для поэта переломного момента русской народной жизни, что наивысшим лирическим подъемом отмечены у него те строфы, где он обращается к обездоленным батракам с призывом «разбить свою горницу тесную».

Вставай же, Степан Тимофеевич!

Вставайте, раздетые, босые,
 Чьи годы погибли бесследно,
 Чьи жизни погасли во мгле;
 Чьи русые кудри нечесаны,
 Чьи темные хаты нетесаны,
 Чьи белые кости разбросаны
 По всей необъятной земле;

Вставайте, сермяжные пахари,
 Ораган вечно голодные,
 Вахайте широкими крыльями,
 Не знавшие взлета орлы!

Не только в строе и в стиле, но и в лирической силе, в эмоциональной выразительности этих строф есть поистине что-то некрасовское. И это потому, что поэт коснулся здесь мотива, составляющего глубинное ядро его подлинного призвания.

VIII

Таковы узы, соединяющие нашего поэта с его многомиллионной аудиторией. Но все сказанное еще не даёт полного ответа на вопрос, поставленный в самом начале нашей статьи: откуда идут потоки этой особенной интимной любви к поэту? Никто ведь не станет спорить против того, если мы скажем, что его поэзия не отличается какой-либо исключительной силой и мощью выражения, широким полетом фантазии, многообразием страстей. Напротив, она проста и скромна.

Заметим мимоходом, что в критической литературе последнее нередко расценивается, как «недостаток», что безусловно неверно: это свойство, но не недостаток, подобно тому, как неверно было бы отнести к недостаткам пейзажа среднерусской полосы отсутствие скал, водопадов и горных стремнин или отсутствие пальм в березовой роще. И «недостатком» благородного камня не может служить то, что он, допустим,

не алмаз, а изумруд: недостаток его может быть лишь в том, если он не настоящий, фальшивый, если это страж, выдаваемый за бриллиант.

Но в том-то и дело, что Исаковский — редкость «настоящий»! Ни одна пылинка фальши не пятнает его лирической искренности и чистоты. Секрет его обаяния в значительной степени в том, что он обладает превосходным чувством меры, этим внутренним регулятором искренности, правдивости и целомудрия слова. Он не останавливается на полдороге при выражении своих чувств, но и не переступает за ту черту, где кончается их полнота и начинается наигрыш.

Дар душевной открытости, полноты самоотдачи — и редок и драгоценен в поэте. Он потому именно редок, что труден. Тут требуется большая смелость лирического движения, но непременно в сочетании с тонким и безошибочным чувством меры. Не дойдешь в этом движении на какой-то волосок — доверчивость поэта обратится в жеманную позу. Переступишь на волосок за какую-то грань — получится сентиментальная болталовость. А встанешь на самое острое грани — в восприятии читателя сразу родилось живое созвучие.

Поясним на примере сущность этой магии лирики. В величайшем шедевре мировой поэзии, в стихотворении Пушкина «Для берегов отчизны дальней», первая строфа заканчивается так:

Я долго плакал пред тобой.

Нужна была предельная открытость лирического движения души, чтобы их произнести без обиняков, без затинок и смягчений, без страха перед наивностью их звучания. И вот они сразу хватают за сердце.

В меру своего таланта поэт Исаковский обладает этим даром полной душевной открытости. Вот его незамысловатое стихотворение «В прифронтовом лесу». Гармонист перед собравшимися в лесу бойцами играет старинный вальс «Осенний сон»:

Под этот вальс ловили мы
 Очей любимых свет,
 Под этот вальс грустили мы,
 Когда подруги нет.

И вот он снова прозвучал
 В лесу прифронтовом,
 И каждый слушал и молчал
 О чем-то дорогом.

Приглядевшись к этим двум строфам, мы замечаем, что в сущности они построены из весьма опасного материала. Можно ли себе представить что-либо более избитое и затрепанное, чем грусть под звуки старинного вальса, исполняемого вдобавок на гармонике. Того же порядка и словесный состав этих строф: «свет очей», «мы грустили под вальс», «молчали о чем-то дорогом». Как будто нарочито — что ни слово, то банальность. Но вот подите же — хватают за сердце.

А дело в том, что никакие слова сами по себе, как таковые, не бывают поэтичны и хороши,

либо банальны и плохи. Тем и другим делает их то или другое употребление. В данном примере избитый мотив, привычные слова и фразы освежены и возвращены к своей первоначальной чистоте — безбоязненной и доверчивой открытостью высказывания, искренним волнением ясного до прозрачности душевного процесса. Характер общения поэта с его читателем и тут, как прямой ток от сердца к сердцу.

IX

Возникновению этого тока способствуют и все другие главнейшие элементы поэзии Исаковского. Взять хотя бы такую черту, как конкретность, определенность, предметность его лирики. Когда он изображает какое-либо чувство или душевное состояние, когда говорит о взволновавшем его событии или явлении, то редко в отрыве от человека, который все это переживает; чаще всего — это живые Степаны и Маруси, Любаши и Катюши, тетушка Христина и тракторист Мишель, сплошь да рядом со своими индивидуальными чертами, личными радостями, печальями, удачами и невзгодами. И когда он говорит о событиях широчайшего значения и масштаба, то они у него всегда связаны с конкретным жизненным моментом, с появлением в деревне электролампочки или молотилки и т. п. Конкретность в стихах Исаковского читателю передается так, словно участвовавший поэт любовно вник в его личную судьбу.

Поэт, как уже было сказано, не изображает героев равнодушно, а всегда с любовью, с лаской, с гневом или возмущением. И чаще всего — с любовью. А это — безмерно важно, важно главным образом потому, что любовь обостряет поэтическое зрение художника. В этом секрет того, чем поэзия Исаковского подкупает читателя.

Когда-то у нас было очень популярно небольшое прелестное стихотворение Полонского:

Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним;
Но солнца нет — и по земле
Тьма стелется, как дым.
Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним;
Но нет любви — и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.

В этих строках не просто некая прекрасная метафора. Нет, здесь выражена большая и верная мысль, в частности, многое объясняющая в процессе художественного творчества. Вот отрывок из письма Л. Н. Толстого к жене, где он говорит о постигшем его душевном недомогании: «Больнее мне всего на себя то, что я от нездоровья своего чувствую себя 1/10 того, что есть. Нет умственных, а главное, поэтических наслаждений. На все смотрю, как мертвый, то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам только вижу, что есть; понимаю, соображаю, но не вижу насквозь, с любовью, как прежде».

Здесь — полное совпадение с мыслью стихотворения Полонского: смотреть без любви, значит видеть поверхностно, значит не видеть главного.

Есть область литературы, где преобразующая сила любви художника к тому, что он описывает, выступает с особенной наглядностью, потому что он определяет собою самый вид данной области: есть у художника любовь к изображаемому миру — получится один вид литературы; нет этой любви — и вид будет другой, в известном смысле противоположный. Это — область изображения смешного.

«Смех» в творчестве Исаковского предстает перед нами в виде редкого примера чистого, беспримесного юмора и с этой стороны заслуживает самого пристального внимания.

Есть у него, правда, стихотворения, высмеивающие то или иное отрицательное явление, но их, во-первых, немного, главное же — они мало для него характерны: в своих отрицательных изображениях он гораздо чаще печален и серьезен, смех саркастический ему в общем чужд. Даже простая насмешка — редкая гостья в его стихах.

Но ему органически свойственна ласкающая усмешка любования своими героями.

Она подобна той улыбке, с какою мать смотрит порою на своего ребенка, еще житейски невооруженного, наивного, трогательного своею непосредственностью, смешного своими повадками казаться «большим».

Вот небольшое стихотворение Исаковского «Первое письмо»: лишь недавно обучившаяся грамоте девушка пишет свое первое любовное письмо. Какая «опасная» тема! Как легко здесь соскользнуть на шаблон сентиментального дидактизма — с одной стороны («Безграмотность, это проклятое наследие прошлого, быстро ликвидируется в нашей великой стране. Вчерашняя темная батрачка, овладев знаниями и культурой...») или на душевную насмешливость чванного превосходства — с другой. Исаковский прошел по этому узкому фарватеру между Сциллой и Харибдой, и посмотрите, какое честное и справедливое получилось у него стихотворение! Ни лжи, ни поучительства, ни насмешливости, а как раз та самая усмешка любви, с какою мать наблюдает первые успехи в грамоте своего ребенка. И какую большую, серьезную правду освещает эта любовь! Девушка, одолев «научную книгу букварь», испытывает удивление, радость и гордость и в упоенье восклицает:

Я читаю и радуюсь каждому звуку,
И самой удивительно — как удалось,
Что такую большую мудреную штуку
Всю, как есть, изучила насквозь.
Изучила и знаю... Ванюша, ты
слышишь?..

И такой на душе занимается свет,
Что его и в подробном письме не
опишешь,
Что ему и названия нет.

Совершенно открытая усмешка освещает здесь каждое слово, и читателя она заражает: вместе с автором он улыбается, глядя на эту гордость девушки. Читатель заражен и другим: какою-то нравственной справедливостью этих строк и по

существо совершенно правильным ощущением будто он присутствует при чуде прозрения слепца. А как характерно для Исаковского это сочетание простоты с тонкостью, это умение подать чувство в его индивидуальном воплощении: героиня стихотворения, молодая девушка, находит такое выражение для своего внутреннего слова.

Будто я хорошею от каждого слова.

Да, вслед за автором мы невольно улыбаемся по поводу стилистических «шероховатостей» в письме его героини, этих «ненаглядных пособий» и прочего, но мы вместе с ним и радуемся за нее и любим ее.

Юмор Исаковского — не единственная форма, в которую выливается его чувство любви к своим героям, но, быть может, одна из самых заразных и привлекательных. В той любви широких народных масс к своему поэту, о которой мы говорили, значение этого фактора совершенно бесспорно: ласковая усмешка, обращенная к тому, что мило и дорого, это как раз народный колорит и восприятия и выражения дорогого, — без декламации, внешнего пафоса, без театральности, потому что юмор — это одна из форм сдержанности чувства, а сдержанность появляется там, где чувство настоящее: искреннее, правдивое и сильное.

X

Некогда Чехов написал в одном из рассказов: «Высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие; влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая, страстная речь, сказанная на мигле, трогает только посторонних, вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной».

В этих скупых словах совершеннейшего из художников — настоящий манифест принципа сдержанности в литературе.

И ни в чем, быть может, народный колорит поэзии Исаковского не выступает с такой выразительностью, как именно в целомудрии сдержанности. Это положение можно иллюстрировать на опромном количестве его стихотворений, но мы остановимся лишь на двух, изображающих чувства противоположного характера: счастливые и печальные.

Вспомним всем известное «И кто его знает». В чем, употребляя излюбленный термин Беллинского, пафос этого стихотворения? В чудесной сдержанности. Целомудренная сдержанность глубокой и потому робкой любви здесь и воплощена в форме цепочки сдержанных намеков — трогательных, простых, нежных и тонких, — хотя бы, например, эти поэтически драгоценные «два загадочных письма», состоящие из одних точек! Мудрено ли, что песня на эти стихи стала поистине любимейшей для всего нашего многомиллионного народа: ведь поэтический «намеком» — подлинное ядро народного поэтического творчества, как раз та самая форма, в которую отливаются самые глубокие и живые движения народных чувств. Не говоря уже о

пословицах, поговорках, загадках, явно построенных на «намек», разве вся беспредельно богатая символика обрядов и обычаев, связанных с важнейшими моментами жизни народа, не есть творчество «намеками»?

Вот второй пример — грустное, чрезвычайно задушевное стихотворение «Спой мне, спой, Прокшина». Оно посвящено поэтом памяти его матери, и в нем описана разлука с матерью, когда поэт в юности покидал родной дом. Вся картина прощания уместена в двух строках:

Обняла, заплакала:
«Ну, сынок, иди!..»

Подробности прощания опущены, но никак нельзя сказать, что их «недостает», что в данном месте стихотворения какая-то пустота. Напротив, у читателя остается впечатление полноты драматического содержания сцены, насыщенности глубокой печалью, но в то же время волнующей недоговоренности, родившейся из переполненности чувства, — то, что у Некрасова, — творческое воздействие которого на Исаковского совершенно бесспорно и весьма значительно, — выражено в знаменитом двустишии, давно вошедшем в обиход народной речи:

Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!..

XI

Возьмем такую, казалось бы, нейтральную, чисто-эстетическую область, как пейзаж, мы увидим, что и в его изображении есть у Исаковского нечто такое, что обеспечивает поэту сердечную симпатию его читателя. Чаще всего пейзаж связан у него с трудовой жизнью крестьянина: то с самим процессом труда, то с отдыхом после труда. Но и те картины природы, где труд отсутствует, близки народу своим колоритом, составом своих элементов, общим своим тоном и настроением.

Попрощаться с теплым летом
Выхожу я за овин.
Запылали алым цветом
Кисти спелые рябин.

Все молчит — земля и небо,
Тишина у всех дорог.
Вкусно пахнет свежим хлебом
На току соломы стог.

Или:

Стали сосны сдержанней и глуше,
Все о чем-то шелчутся во сне,
Словно чьи-то старческие души
Запустили о былой весне.

Как и в поэзии, творимой самим народом, здесь простота сочетается с нежностью, а тонкость свободна от малейшего привкуса изысканности и придуманности: все естественно, метко и очень задушевно.

Примеров слияния творчества поэта с творчеством народа можно почерпнуть в стихах Исаковского множество. Таково «Пели две подруги», откуда приведем лишь одну строфу — тонко-артистическую и вполне народную:

Улетали гуси;
Лето закатилось.
По лесам брусника
В кузовок просилась.

Такова «Белорусская песня» с ее началом:

Ой вы, вольные птицы,
Ой вы, серые гуси!
Долетите вы, гуси,
До моей Беларуси;
До мей Беларуси,
До родимой сторонки,
А в родимой сторонке —
До деревни Сосонки.

По складу, по лексике, по инструментовке — совершенно натуральный стародавний фольклор, между тем — песня эга злободневная, тема ее — Отечественная война.

Толстой, повторяя изречение художника Брюллова, некогда написал в своем трактате об искусстве, что искусство начинается там, где начинается «чуть-чуть». Это «чуть-чуть» приобретает сулубый интерес у Исаковского в тех случаях, когда оно стоит на грани, отделяющей устное творчество народное от творчества литературно-индивидуального. Этим отмечено, например, «И кто его знает», очень народное по духу, по характеру и сверкающее тонкой литературной шифровкой. Подобных произведений у Исаковского не мало. Но, быть может, еще яснее выступает у него это «чуть-чуть» в отдельных эпитетах, метафорах и сравнениях, когда, например, лес он назовет «зеленокудрой сходкой», что будет принято, как «свое», народным читателем и что, однако же, заключает в себе несомненный литературный оттенок. Или когда назовет луну «круглой сиротой»: здесь литературный оттенок проступает в каламбурной игре слов, хотя сама по себе эта простая метафора — вполне народна. Мать назовет у него ребенка «сыночек-звоночек», и это также и народно и литературно. И т. д., и т. д. Иными словами: литературно-индивидуальные элементы поэзии Исаковского находятся где-то очень близко от поэтического народного творчества. И подобно тому, как в одном из своих стихотворений он сказал о русской деревне:

Все мое, и все родное, —

точно так же миллионы простых русских людей относятся и к его стихам: все мое и все родное.

XII

Еще одно и притом важнейшее обстоятельство питает любовное принятие народом поэзии Исаковского: мысли и чувства поэта никогда не носят печати мелочности, замкнутости, комнатности. Даже в стихах на первый взгляд строго личного характера Исаковский всегда говорит

лишь о том, что близко тысячам и миллионам. Но, с другой стороны, и о темах, волнующих всю страну, он говорит так, что вы ясно чувствуете: не только для читателя написаны эти строки, но и для самого поэта, для удовлетворения внутренней потребности откликнуться на то, что его лично глубоко волнует.

Покажем эту счастливую слиянность личного с общим на одном лишь примере, на стихотворении «Отцовский дом разграблен и разрушен». Вот небольшие выдержки из него:

Отцовский дом разграблен и разрушен,
В огне, в дыму Смоленщина моя.
Кругом война. И, в руки взяв оружие,
Спешат на фронт и братья, и друзья.

И горько мне, что я больной и хворый,
Что без меня идут они на бой.
На бой за Родину, судьба которой
Навеки стала нашею судьбой.

Глаза мои померкли раньше срока,
Слабей, слабей заря моя горит.
И тяжелее тяжкого упрека
Нерадостное слово — нивалид.

А дни бегут. А сила не вернется.
А старость бродит по моим следам...
Пусть будет так. Но все же сердце бьется,
И это сердце — без остатка — там.

Назвать это стихотворение совершенным никак нельзя. Несомненно, оно выиграло бы в выразительности от некоторого сжатия, оно несвободно от стилистических шероховатостей. «Больной» и «хворый» — это, в сущности, очевидная тавтология.

Тем характернее выступает в нем указанная выше особенность творческого лица Исаковского: слиянность личного с общим, естественный переход одного в другое. С покоряющей доверчивостью и безбоязненностью он вслух скорбит о своей физической неполноценности, о том, что глаза его «померкли раньше срока». Но со всей справедливостью, с полным на это правом он заявляет, что даже из этой обиды, нанесенной ему судьбой, пытается его поэтический родник.

Излишне подчеркивать, как велико значение этого фактора в сумме тех причин, которые делают поэзию Исаковского любимой для народа: ведь эта слиянность личного с всенародным означает, что творчество поэта патриотично в точном и полнейшем смысле этого слова, потому что в самых истоках своего лирического чувства Исаковский не отделяет от страны, его родившей, от народа, его воспитавшего.

XIII

В «Воине и мире» Толстой пишет об одном из героев великой эпопеи: «... жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как от-

дельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка».

Мне кажется, то, что здесь сказано, очень близко подходит к определению характера поэзии Исаковского. Слова его стихов и песен так искренни и задушевные, так просты и естественны, так органично и непринужденно сложены, что действительно представляются отделяющимися, подобно запаху от цветка. Когда в одном из стихотворений он говорит, что его слово — это «живое слово сердца моего», то это очень точно. И далее, — восприятие мира у поэта, как оно рисуется в его стихах, именно хоровое:

жизнь имеет для него смысл в неотрывной связи с «целым», с жизнью его народа, с которым он находится в процессе постоянного двустороннего общения: все соки своего духовного питания поэт получает от народа, возвращая их ему в форме своего творчества. Каждой своей новой книгой, каждым отдельным стихотворением он как бы обращается к народу: твоя от твоих тебе приносяща. И в свою очередь миллионы людей подхватывают его стихи и песни, как «свое», и несут их на высокой волне любви к поэту, который с такой простотой, чистотой и ясностью говорит о том, что для них всего важнее и дороже, что глубоко их волнует, радует и печалит, и который говорит это именно так, как сами они хотели бы сказать.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ГОРЬКОМ

АН. ВОЛКОВ



Третий том «Материалов и исследований» о Горьком¹, подготовленный к печати Институтом литературы Академии наук СССР до войны, вышел в свет в 1945 году. Так же, как и первые два тома, он дает обширные публикации архивных и малоизвестных материалов.

Большой интерес представляют публикуемые в сборнике многочисленные письма Горького к В. М. Миролубову — редактору демократических изданий: «Журнал для всех» и «Знание», к известным историкам литературы и редакторам С. А. Венгеру и Д. Н. Овсяннико-Куликовскому. Эти письма раскрывают нам Горького в роли идейного вдохновителя передовой литературы, учителя и наставника молодых писателей, показывают, как заботливо относился Горький ко всякому честному таланту, способному служить делу культурного возрождения своей родины.

Вот характерные строки из письма Горького к Миролубову (1900 г.) о только начинавшем тогда писательскую деятельность С. Скитальце (С. Г. Петрове):

«...Возвращаю переделанный рассказ Петрова. Петров — растет, дай ему боже всего доброго. Голову даю на отсечение, из него выйдет крупная сила или я — осел. Посылаю три стихотворения. Автор — из простых, бывший солдатшико. Прекрасно владеет стихом, но как-то туманен».

В 1911 г. Горький пишет Миролубову о К. А. Треневе: «Зачиная новый журнал, поимели бы в виду Тренева: его следует извлечь из педагогики, человек умный и может быть прекрасным работником».

Д. Овсяннико-Куликовскому для «Вестника Европы» Горький рекомендует стихи пролетарского поэта, сотрудника большевистского журнала «Пролетарий» Л. Старка: «Старку — 22 года, он довольно интеллигентный парень, любит учиться; мне кажется, что в нем есть что-то свое, оригинальное и здоровое, очень хочется, чтоб его стихи появились в «Вест(нике) Евро-

пы» — это подействовало бы хорошо на юношу».

Вновь публикуемые письма Горького наряду с уже ранее опубликованными показывают нам, какое большое значение приобретает изучение роли Горького как руководителя прогрессивной литературы своего времени, дающее возможность полнее раскрыть литературный и общественный облик великого писателя.

Горьковские письма также интересны для уяснения его отношения к явлениям политической жизни России. В письмах Овсяннико-Куликовскому — редактору «Вестника Европы», относящимся к предвоенному периоду (1911—1913 гг.), Горький выдвигает как важнейшую задачу — борьбу с зоологическим национализмом, усиленно пропагандируемым реакционной прессой. «Весьма басовито и внушительно, — пишет Горький, — прозвучало бы на страницах «Вестника Европы» указание на то, что нам, России, весьма грозит участь Австрии, где огромное количество духовной энергии поглощается борьбой племенной, а общекультурный рост — застыл почти.

Простите, что открываю Америку! Мне кажется, что «национализм», хотя и не сильно, а все-таки просачивается в массу российского народа, я его — знаю и, естественно, побаиваюсь эффектов нежелательных, а в то же время мне думается, что встать поперек этого течения можно и должно. Да, помимо массы народной, ведь и «культурное» наше общество весьма нуждается в том, чтоб ему разъяснили какую рукой от чертей отмахиваться надо».

В другом письме Горький подчеркивает важность этой борьбы «теперь, когда в России главенствующее ее племя постепенно поддается внушениям зоологического национализма, когда внутренне расшатанное и усталое культурное общество, видимо, не в силах противопоставить возрождению азиатски деспотических идей, и проповедь порабощения племен в состав империи входящих, не встречает в литературе и душе общества достаточно обоснованного, энергичного и необходимого отпора».

Эти строки в общем контексте с раньше опубликованными статьями и письмами Горького предвоенного периода показывают, какое боль-

¹ М. Горький. «Материалы и исследования». Т. III. Под редакцией С. Д. Балухатого и В. А. Десницкого. Издательство Академии наук СССР, Ленинград, 1945 г.

шое значение придавал Горький борьбе с национализмом за равноправие всех народов нашей страны.

В ряде писем к Миролюбову, относящихся к 1901 г., Горький выступает против реакционных «богоискателей» типа Мережковского, которые «речами о боге, о Христе» прикрывают гнусную практику царизма. «Суть в том, — пишет Горький, — соединимо ли учение Христа — бога или человека, — которого вы любите, по словам вашим, — с той жизнью, которой живете, с тем порядком, которому вы рабски служите, с тем угнетением человека, которое вы — не споря против него — утверждаете? Где установил ваш Христос то, чтоб человек на человеке верхом ездил — а вы везущего, озеревшего от усталости, кроткому терпению учили?».

Интересное мнение Горького, высказанное им в письме к Иванову-Разумнику (1912 г.) по поводу утверждения этого эсеровского литературоведа о «внеклассовости русской интеллигенции». Горький пишет: «Что интеллигенция суть группа внеклассовая и внесловная, в это я никогда не верил, особенно трудно это принять теперь, после того, как интеллигенция, в ряде поколений воспитывавшаяся социалистами, ныне столь легко отбрасывает не только идею социализма, но и обнаруживает крайнюю неустойчивость своих демократических чувств. Вы скажете — марксист! Да, но марксист не по Марксу, а потому, что так выдублена кожа. Меня марксизму обучал лучше и дольше книг казанский булочник Семенов и русская интеллигенция, которая наиболее поучительна со стороны своей духовной шаткости. Видите, как мы с вами расходимся. В литературных вкусах и в оценках тоже непримиримо разоидемся».

В одном из писем к С. А. Венгеру (1912 г.) интересно мнение Горького о Льве Толстом, которое дополняет ранее опубликованные мысли Горького по этому поводу. «Граф Лев Толстой — гениальный художник, наш Шекспир, быть может, это самый удивительный человек, которого я имел наслаждение видеть. Я много слушал его и вот теперь, когда пишу это, он стоит передо мною — чудесный, вне сравнений». Но в то же время Горький считает необходимым резко высказаться о толстовской проповеди: «Слишком двадцать лет с этой колокольной раздачей звон, всячески враждебный моей вере. Двадцать лет старик говорит все о том, как превратить юную, славную Русь в китайскую провинцию, молодого, даровитого русского человека — в раба».

В разделе «Статьи о Горьком» опубликованы исследования С. Балухатого — «Песня о Соколе», В. Голубева — «К вопросу о литературных источниках пьесы «Дети солнца», С. Касторского — «Из истории создания повести «Мать», В. А. Десницкого — «Неосуществленный замысел Горького — роман о российском Жан-Вальжане, добродетельном каторжнике».

В исследовании С. Д. Балухатого прослеживается история творческой работы Горького над «Песней о Соколе». Опубликовав первый вариант «Песни» в 1895 г., Горький в последующие

годы перерабатывает ее «в сторону усиления призывного революционного звучания ее героической темы». Автор на обширном материале доказывает, что эта работа велась Горьким в соответствии с его идейно-политическим ростом в годы растущего революционного движения пролетариата. Новый вариант «Песни о Соколе» отвечал задачам борьбы народа накануне и в эпоху первой русской революции. С. Д. Балухатый показывает, как образы «Песни» прочно вошли в словарь революционных прокламаций, листовок и публицистики, а после победы Великой социалистической революции наполнились новым идейным содержанием. Народная мысль перенесла образ Сокола на самого создателя «Песни». Характерны строки из «Прощания» пионеров Игарки, обращенные к погибшему от рук фашистских убийц великому писателю:

«О, смелый Сокол, ты над землею, дыша борьбою, парил высоко. Из битв жестоких ты вынес сердце любовью полно.

Ты гордо бросил проклятье жадным, живущим праздно чужою кровью. Ты подал руку несчастью бедных, и раб увидел дорогу к свету.

Для поколений, идущих к жизни, ты будешь вечно светящим солнцем.

Ты славно пожил. Твоею жизнью учиться будем и будем вечно дышать борьбою, как ты, любимый, как ты, наш Сокол.

Мы будем помнить и славить вечно твои заветы и будем сильны, как ты, любимый, — о, смелый Сокол».

В исследовании В. А. Десницкого освещается интересный момент в литературной биографии Горького. Автор доказывает, что Горький оставил свой замысел о романе на тему о добродетельном каторжнике неосуществленным, ибо релязировал его в качестве одной из боковых тем в «Жизни Клима Самгина». Публикуемые В. А. Десницким заготовки к роману вводят нас в творческую лабораторию великого писателя и при всей их фрагментарности представляют художественную ценность.

В рецензируемом сборнике опубликованы статьи американской прессы о Горьком (относящиеся к 1907 г. — времени появления в США перевода повести «Мать»), показывающие, как высоко оценила творчество Горького демократическая американская общественность. Американский критик Луиз Коле Уилкоккс на страницах «Северо-Американского обозрения», противопоставляя «Мать» Горького «кипе ходячих романов», пишет: «Как ничтожно, как эгоистично и как нелепо кажется все, когда вы только что закрыли великую книгу Горького о воплощенных идеалах жизни!» В произведении Горького автор статьи видит выражение «высшей формы» «социальной сознательности»: «Нам действительно кажется, что мы вступили в новый, другой круг существования».

На страницах другого издания — «Католический мир» отмечается, что в повести Горького «дух и методы революции описаны хорошо, а безнадёжная доля низших классов изображена очень выразительно», и делается следующий знаменательный вывод: «Надо полагать, что америка-

нец средней руки не колебался бы ни минуты присоединиться к революционерам, если бы он был перенесен из нашей страны свободного слова, свободной прессы и демократии во владения царя, где угнетенный и попруженный во тьму народ лишен этих существенных благ». По мнению того же автора, «повесть дает хорошее понимание сути русского социалистического движения и, как документ, она будет ценна для всех изучающих социализм».

Автор статьи о «Матери» на страницах газеты «Нация» видит в горьковских образах революционеров воплощение гуманизма: «Среди большой группы русских социалистов, изображенных Горьким, а многие из них ярко индивидуализированы, — нет ни одного, который не становился бы более гуманным, благодаря своим убеждениям и той бескорыстной деятельности, к которой они его приводят. Прежде всего это относится к главной фигуре — матери, чей однажды пробужденный дух витает над всем движением и которая, в конце концов, с торжеством отдает свою жизнь за это движение». Передовая американская печать уже тогда видела, что Горький и русские революционеры-большевики выражали великую историческую правду, призывая народные массы к борьбе с реакционным царским режимом. «Сторонники свободы, — писала газета «Независимый», — желающие знать источники родников, которые, разливаясь по России, соединились в мощную реку революции, упряжающую онести разлагающее самодержавие, сочтут эту книгу одновременно и поучительной и интересной».

Не во всем американская критика правильно понимала Горького, многое для нее осталось «тайной» в его писательском облике, но она поняла главное — то, что Горький, опираясь на революционную правду большевиков, выражал самые передовые идеи, победа которых вывела Россию на путь прогресса.

Со страниц произведений Горького мир увидел все величие и гуманизм русской революции. «Едва ли где-нибудь еще социализм говорил таким глубоким, таким нежным голосом», — читаем мы в цитированной статье газеты «Нация». Гуманистические идеи Горького оказали большое влияние на передовых писателей за рубежом. Показательны слова Эптона Синклера:

«Я был еще совсем молодым, когда слава Горького прогремела в Америке. И я учился у него тому, что великая литература не может быть в стороне от великой борьбы бедных и угнетенных».

В сборнике опубликованы отзывы царской цензуры о заграничных изданиях произведений Горького с неизменной резолюцией «Запретить». В действиях цензуры мы видим стремление реакции всячески нейтрализовать популярность Горького, не допустить правду о Горьком, сказанную за рубежом, до русского читателя. В докладах цензоров о зарубежных критических работах, посвященных Горькому, уже сама положительная оценка его произведений служит достаточным основанием к запрещению издания. Зато с какой радостью отмечает цензура охаивание Горького в зарубежной критике! Так цензор Ф. Ламкерт с большим удовольствием отзываясь о реакционной квиге Е. Диллона «Максим Горький, его жизнь и творчество», вышедшей в Лондоне в 1902 г., считая «ее распространение полезным в смысле отрезвления той части общества, которая, по ироническому замечанию Диллона, признала в Горьком какого-то нового мессию». И, вопреки своим обычным резолюциям о запрещении, цензурный комитет постановил: «Допустить названное издание к обращению в публике».

Это показатель не только бескультурия царских холопов, но и отсутствие у них элементарной гордости за сокровища своей национальной культуры.

Цензура видела в Горьком стойкого борца за равноправие народов России, и это вызывало ее злобу и репрессии. Так ею была запрещена брошюра Горького «О кавказских событиях» на том основании, что Горький, как пишет цензор, «рекомендует всем честным людям без различия национальностей соединиться в одну семью друзей-бойцов, в дружину истинных и бесстрашных, и спросить себя: «Кто наш враг?» Ответ гласит: «У всех нас один враг—это та злая и бессмысленная сила, которая одинаково тяжело давит всех нас», т. е. реакционное царское самодержавие».

Включая в себя интересные материалы о Горьком, сборник вызывает интерес не только у литературоведов, но и у самых широких кругов читателей.

ПОЭТ-ПАТРИОТ

(К 150-летию со дня рождения К. Ф. Рыльева)

3. ПАПЕРНЫЙ

★

В одном из первых своих стихотворений, еще юношей, Рылеев писал, обращаясь к другу:

Все в нашей воле состоит,
Пусть лютый рок и разъяренный
Мне скорой гибелью грозит...
Но я коль тверд, коль презираю
Ударов тяжесть всю его... —
Тогда меня и рок устанет
Все с прежней ненавистью гнать.

Незадолго до казни, в заочении, считая последние мучительные часы перед смертью, Рылеев пишет:

Вас будут гнать и предавать,
Осмеивать и дерзостью бесславить,
Торжественно вас будут убивать,
Но тщетный страх не должен вас тревожить.

Так через все творчество поэта проходит одна тема, одна мысль — это мысль о бесстрашии человека в борьбе с «лютым роком», о бессилии смерти перед правдой.

Эта мысль — не просто одна из поэтических тем Рыльева. Она — лейтмотив, определяющий его творчество и его жизнь. Она глубоко проникла в сознание поэта, неразрывно связалась с его натурой — прямой, непримиримой, не знающей сделок и компромиссов.

Лирика Рыльева, мужественная, поистине героическая лирика, подстать его эпохе — грозному времени Отечественной войны 1812 года и декабрьского восстания.

Эта эпоха была столь же славной, сколь и трагичной. Нашествие Наполеона, отход русских армий, Бородино, пожар Москвы, поднимающаяся «дубина народной войны» (Л. Толстой), отступление неприятеля, поход русского войска 1814—1815 годов — вот события этой эпохи.

Наполеон был изгнан, его армии разгромлены. Образ пылающей Москвы, отданной, но не сдавшейся врагу, был заслонен в глазах современников иной картиной — победоносные войска входят в Париж.

А затем?

Затем наступает «тишина». Мятежные годы сражений с захватчиком сменяются новой эпохой — Меттерниха и Священного союза.

Вместе с падением Наполеона, совершившимся с народной помощью, самовластие не пало, — пишет Рылеев в заметках о Наполеоне, опубликованных в недавние годы, — «оно стало еще тягостнее... дари соединились и силою старались задушить стремление свободы. Они торжествуют, и теперь в Европе мертвая тишина».

И поэт многозначительно добавляет:

«Но как затихает Везувий...»

Вместе с наступившим переходом от «волнения, вызванного национальной войной, от славной прогулки через всю Европу, от взятия Парижа к мертвой тишине петербургского деспотизма» (Герцен), к прежнему рабски-крепостническому состоянию — резко обозначилось противоречие: Россия — освободительница Европы от наполеонова ига — сама является страной угнетения.

Воспоминания и переписка декабристов Вл. Раевского, Мих. Орлова, Петра Каховского и многих других полны горестных мыслей о том, что Россия сама внутренне порабощена, «захвачена изнутри», покорена «внутренними наполеонами-грабителями» (выражение Мих. Орлова). Нелегко было нашим соотечественникам осознать это противоречие. Гнетущей тяжестью ложилось оно на душу передового русского человека.

Рылеев мучительно бьется над его разрешением.

Для него борьба России против иноземных захватчиков неразрывна с борьбой народа против внутренних поработителей. Угнетатели-чужеземцы и притеснители «своего», «родного» народа словно выстраиваются в его сознании в один ряд.

В одном из стихотворений 1821 года он перечисляет внешних врагов России — «хищных печенегов», половцев, «злых татар», «крымских наездников». Заканчивается стихотворение так:

Благодаря творцу. Россия покорила
Врагов надменных всех
И лет за несколько со славой отразила

Разбойника славнейшего набег..
 Теперь лишь только при наездах
 Свиристуют одни исправники в
 уездах.

Два основных события современной поэту эпохи — борьба с Наполеоном и движение декабристов — наложили неизгладимую печать на его творчество. Они помогли ему создать идеальный образ патриота, верного сына своей родины. С одной стороны, это хранитель свободы и независимости своей страны:

Ковать ли станет на празддан
 Пришлец иноплеменный деци,
 Он на него — как хищный вран,
 Как вихрь губительный из степи.

С другой стороны, это человек, который

...с сильными в борьбе
 За край родной иль за свободу,
 Забывши вовсе о себе,
 Готов всем жертвовать народу,
 Против тиранов лютых тверд.

Так опять подходит Рылеев к своей излюбленной теме. Борьба против «лютых тиранов» и против «иноплеменных пришельцев» оказывается двумя сторонами патриотизма.

Но в каждую эпоху выдвигается то одна, то другая сторона. Когда «иноплеменный пришелец» угрожал родине, Рылеев вступил в армию и в качестве артиллерийского прапорщика проделал весь поход 1814—1815 гг.

Когда после разгрома Наполеона с новой силой обозначился гнет венценосного «лютого тирана» и его приспешников — поэт вступил в тайное общество и вскоре стал одним из его виднейших вождей и вдохновителей.

И сам поэт ясно осознает этот переход от национально-освободительной войны к революционно-освободительному движению.

В оде «Гражданское мужество» читаем:

Военных подвигов година
 Грозою шумной протекла.
 Твой век иная ждет судьбина,
 Иные ждут тебя дела.
 Затмится свод небес лазурных
 Непроницаемою мглой;
 Настанет век борений бурных
 Неправды с правдою святой.

«Подвиг воина гигантский» оказывается, по словам поэта, «ничто пред доблестью гражданской».

Так Рылеев осознает свою миссию — миссию поэта-гражданина.

Он относится к ней ревностно, с приверженностью фанатика. Очень скоро порывает он с традиционными литературными темами. Вместо любовных посланий, изящных эпиграмм, анакреонтических песенок, вздыхательных мадригалов, он пишет сатиры и оды, которые звучат, как революционные прокламации, как прямой призыв к действию.

Первой такой сатирой явилось его знаменитое стихотворение «К временщику». Его появление на страницах журнала «Невский зритель» в

1820 году было такой беспримерной смелостью, такой дерзостью, что современники недаром сравнивали его с ударом грома среди бела дня. «Все государство трепетало под железной рукой любимца-правителя, — пишет один из современников об Аракчееве, — никто не смел жаловаться. Едва возникла малейший ропот — и навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных skleпах крепостей...

Нельзя представить изумления, ужаса, даже, можно сказать, оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном».

Читатели не сомневались, что грозная кара обрушится на голову дерзновенного поэта. Они считали его обреченным. Однако «временщик» не мог принять вызова. Расправиться с поэтом значило для него расписаться перед общественным мнением в «получении по адресу».

Сатира «К временщику» — это первый удар, нанесенный Рылеевым самодержавию.

Исследователи поэта сопоставляли обычно эту сатиру с сатирой Милонова. Действительно, внешне обе сатиры удивительно схожи — во всем, начиная от общего построения и кончая отдельными выражениями. Но сказать о сатире Рылеева, что она построена по образу милоновской, это значит еще ничего не сказать.

«Предерзостное» произведение Рылеева должно быть поставлено в ряд с развитием гражданской поэзии всего предшествующего века. Рылеев наследует в нем традиции высокой оды и сатиры, идущей в нашей поэзии от Кантемира, Сумарокова, Державина.

Когда во мне, когда нет доблестей
 прямых,
 Что пользы в сани мне, и в почестях
 моих?
 Не сан, не род — одни достоинства
 почтенны,
 Сеян! И самые цари без них
 презренны, —

провозглашает Рылеев, повторяя тем самым любимую мысль передовых поэтов XVIII века, и в первую очередь Державина, автора «Вельможи», «Властителям и судьям». Преемственная связь между ним и Рылеевым, до сих пор не изученная в нашей литературе, составляет предмет самостоятельной работы.

Но читая знаменитую сатиру Рылеева, мы вспоминаем не только Державина.

Твои дела тебя изобличат народу,
 Познает он, что ты стеснил его свободу,
 Налогом тягостным довел до нищеты,
 Селения лиши их прежней красоты...
 Тогда вострепещи, о временщик
 надменный!
 Народ тиранствами ужасен
 разъяренный!

Последний стих особенно примечателен. Он звучит совсем по-радищевски!

Так, опираясь на наследие Радищева, Рылеев революционно претворяет традиционную те-

му противопоставления «сану» и «роду» — действительного достоинства, дела и заслуг.

Вслед за Радищевым и предвзяря Некрасова, призывавшего к «необузданной дикой вражде к угнетателям», Рылеев решительно отказывается от христианского прощения насильникам и угнетателям. В стихотворении, посвященном любимой женщине, он заявляет:

Прощаешь ты врагам своим,
Я не знаком с сим чувством нежным
И оскорбителям моим
Плачу отмицненьм неизбежным.

Он отрывается от самой любви во имя служения родине —

Любовь никак нейдет на ум.
Увы! моя отчизна страдает...

«Постоянная мысль, постоянная его идея была — пробудить чувствование любви к отечеству, зажечь желанием свободы», — пишет о Рылееве его друг Ник. Бесугужев.

Он всегда внутренне сосредоточен, он весь поглощен мыслью о пражданском служении обществу.

Вот человек, который мог бы сказать о себе словами лермонтовского героя:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть.

Он пишет дочери известного оппозиционного деятеля Н. С. Мордвинова, которого декабристы прочли в будущее правительство, желая ее детям:

Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят,
Неправду пламенной душой.

Так Рылеев учит ненависти.

В его стихах патристический пафос, чувство национальной гордости все теснее переплетаются с социальным протестом. В этом отношении весьма примечательно стихотворение «На смерть Чернова», написанное в связи с гибелью его друга Чернова, павшего на поединке со знатным аристократом Новосельцевым, оскорбителем чести его сестры. Яростное обличение поэтом «аристократов», «временщиков» незаметно переходит в резкие выпады против «не русских», «презренных прищельцев».

Вот эти стихи:

Клянемся честью и Черновым,
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым.

Нет! Не отечества сыны
Питомцы прищельцов презренных,
Мы чужды их семей надменных,
Они от нас отчуждены.

Так, говорят не русским словом,
Святую ненавидят Русь.
Я ненавижу их, клянусь,
Клянуся честью и Черновым.

Здесь Рылеев является наследником и продолжателем идей Радищева, автора «Путешествия» и «Беседы о том, что есть сын отечества», в которой находим строки: «Не все рожденные в отечестве достойны наименования сына отечества (патриота)...» и т. д.

Стихотворение «На смерть Чернова» близко своим пафосом гениальному лермонтовскому «На смерть поэта». И не только одним пафосом. Ведь и в лермонтовских стихах гнев поэта против жадной толпы «стоящих у трона», палачей «свободы, гения и славы» (социальная тема) неотторжим от ненависти к пришельцам-чужеземцам, «сотням беглецов» (национальная тема). В этом смысле «не русским» для поэта является не только Дантес, непосредственный убийца великого русского поэта, но и те, кто толкал его, раздувая «чуть затаившийся пожар» и приближая час гибели.

Не случайно одна из рылеевских песен начинается словами «Царь наш немец прусский...»

Эта песня, весьма популярная в 20-е годы, была впоследствии напечатана Герценом и Огаревым в «Полярной звезде». Мысль Рылеева была подхвачена и развита Герценом, называвшим русского царя «русским немцем», а самодержавие «прусским деспотизмом».

Беспокойная и неутомимая мысль поэта-декабриста идет все дальше и дальше в разрешении противоречий эпохи. С каждым годом он все отчетливее постигает разницу между нацией и ее самодержавным правительством. Он стремится как бы «расщепить» понятие национального, оставшееся неразделимым и цельным для большинства его предшественников и многих современников, стремится отделить паразитическую верхушку, правительство, противоречащее национальным интересам. В этом отношении весьма примечательны слова, сказанные Рылеевым и дошедшие до нас в передаче декабриста Д. Завалишина (см. его «Записки декабриста», 1904 г., I, стр. 237):

«Мы мало того, что не признаем законным настоящее правительство, — заявляет Рылеев, — мы считаем его изменившим и враждебным своему народу, а потому действия против него не только не считаем незаконными, но глядя на них как на обязательные для каждого русского, как если бы пришлось действовать против неприятеля, силой или хитростью вторгнувшегося в страну и захватившего ее».

Слова эти знаменательны во многих отношениях. Борьба против «своего», русского правительства названа здесь «обязательной для каждого русского». Она не объявляется вообще свойством русского; она продиктована именно данными, современными условиями. Настоящее правительство изменило народу, самодержавие перестало выражать интересы народа. Так в творчестве поэта-декабриста зарождается исторический взгляд на самодержавие.

Эта рылеевская мысль будет также унаследована Герценом. Достаточно вспомнить его слова, помещенные в «Полярной звезде» и впервые произнесенные им на польском митинге в 1853 году, чтобы почувствовать эту органическую связь двух эпох, двух поколений:

«Россия сильна, но императорская власть, так, как она сложилась теперь, неспособна вызвать этой силы. У ней нет корней в народности. Она не русская и не славянская... Она может исторически была необходима, но пережила себя, она совершила судьбы свои...»

Связь этих двух высказываний, двух приговоров самодержавию несомненна. В то же время ясно, насколько определеннее исторический подход в словах Герцена.

Мы видели на различных примерах с какой неизбежностью приводили Рылеева его искания к мысли о несовместимости интересов России народной и России царской, к мысли с революции.

Второй волной освободительного движения после славного 1812 года прокатились революции в Испании, в Неаполе, в Греции. Декабристы смотрели на запад с нескрываемыми надеждами. Но судьба этих революций хорошо известна. Они были подавлены, а Риего, вождь испанской революции, казнен 12 октября 1823 года.

Вместе с поражением европейского освободительного движения ослабли надежды декабристов:

Не сблизись, мой друг, пророчества
Пылкой юности моей:
Горький жребий одиночества
Мне сужден в крупу людей.
Слишком рано мрак таинственный
Опыт грозный разогнал, —

горестно восклицает поэт в стансах, написанных несколько времени спустя после разгрома европейских революций.

Кстати сказать, эти горькие мысли приходили на ум не одному Рылееву. Именно в это время (1823 г.) пишет Пушкин свои стихи «Свободы сеятель пустынный», перекликающиеся с рылеевскими стансами и по тону и в отдельных выражениях. Сюда же следует отнести и элегию Языкова (1824 г.) «Свободы гордой вдохновенье, тебя не слушает народ...»

В последний период творчества, наиболее напряженный и героический, Рылеев пишет лучшие свои произведения, поэмы и стихотворения. Они заставляют Пушкина резко изменить свое отношение к таланту Рылеева и отозваться о нем с высокой похвалой.

Отчетливо звучит в незаконченной поэме Рылеева тема беспощадного гнева к «тиранам родины». При чем разрешается эта тема уже не в личном плане, как это иногда было раньше, но в подчеркнуто общественном, общенародном плане:

Быть может, я еще могу
Дать руку личному врагу;
Но вековые оскорбленья
Тиранам родины прощать
И стыд обиды оставлять
Без справедливого отмщенья —
Не в силах я...

Наконец, Рылеев пишет свое знаменитое стихотворение «Гражданин», которое справедливо считается высшим поэтическим достижением писателя.

Не предназначенное для печати, оно было самим автором распространено в многочисленных рукописных копиях. Его передавали из уст в уста.

Позднейшая революционная литература так же широко использовала его. Так, в 1861 году это стихотворение открывало собою известную прокламацию «К молодому поколению», вышедшую из кругов «Современника» Чернышевского. Через все произведение проходит резкая антитеза двух начал: личного эгоизма, «постыдной праздности и неги» и — высокого гражданского пафоса, устремленного против «тяжкого ига самовластья».

С огромной силой раскрывается Рылеевым тема исторического возмездия. При чем носителем этого возмездия выступает уже не «бог» и не «рок», как это было, скажем, у Державина, но сам восставший народ, который «в бурном мятеже ищет свободных прав».

Так с каждым новым произведением растет революционный пафос поэта. Мысль о приближающейся катастрофической развязке не парализует его душу страхом — наоборот, она удесятерит его энергию, его революционную страсть.

И вот наступило 14 декабря.

«Когда я пришел из площадь с Гвардейским экипажем... — вспоминает Николай Бестужев, — Рылеев приветствовал меня первым целованием свободы и, после некоторых объяснений, отвел меня на сторону и сказал: — Предсказание наше сбывается: последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы: мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою!»

★

Теперь, в дни 150-летия со дня рождения, Рылеев особенно близок нам своей неиссякаемой, героической и жертвенной любовью к России, к ее народу.

БИБЛИОГРАФИЯ

ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДЕ *

Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, то сам виноват.
М. Пришвин

Случается так, что человек прямо из огня боя попадает на побывку домой, в отпуск, в командировку. Поезд на полном ходу влетает в густые леса, ветки бьют в окна, косой дождь, отсвечивающий солнцем, оставляет отблеск на стёклах вагона...

Войти в мир Михаила Пришвина — значит подлинно, с полным ходом, из огня, с фронта ворваться в распахнутые ворота удивительного лесного царства, погрузиться в затишье дремучих чащ, в светлое мерцание лиственных навесов, в сияние залитых солнцем открытых полей.

Обаяние пришвинских описаний природы в том, что они подлинно проникнуты тем «родственным вниманием к жизни природы», которое и в левитановских пейзажах, где не было ни одной человеческой фигуры, заставляло незримо ощущать человека. Непонимание этого свойства дарования Пришвина было причиной многих досадных недоразумений в суждениях критики о творчестве одного из наиболее самобытных мастеров русской прозы.

В творчестве Пришвина поразительно сочетались наблюдательность натуралиста и проникновенность лирика. Отсюда слепящая яркость красок и вместе с тем редчайшая точность его описаний, и какой-то особый, «дурнопахнущий», употребляя выражение Шолохова, густой, медовый аромат их. «Над этими долинами, простыми и прекрасными цветами, всюду летали бабочки, похожие на летающие цветы, жёлтые с черными и красными пятнами аполлоны, кирпично-красные, с радужными переливами крапивицы и огромные, удивительные тёмносиние маконы».

Это способность подмечать в природе удивительные вещи и свойственный только живописцам прием их запечатления: «Пятнистые олени, полежав, наверно, где-нибудь тут вбли-

зи, встали и пошли, перемещая свои пятна среди солнечных зайчиков, на водопой». Отсюда та особая интонация влюбленности в природу и вместе с тем равноправного, хозяйского обращения с ней, которая присуща, может быть, только Пришвину из старых наших мастеров, и лишь в следующем писательском поколении — в Паустовском, Багрицком — нашла своих продолжателей.

Со временем эти свойства дарования Пришвина не тускнели, а становились всё ярче и очевиднее. В последних его предвоенных произведениях видимо-невидимо «золотых, чудесных, нерукотворных», употребляя его же выражение, образов. Для него дерево «целое государство, объединенное одной державой ствола». Морозной осенью, на рассвете он видит, как «в полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белые холсты. Первые же лучи солнца убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое всё исчезает, и только в тени деревьев и кочек долго ещё сохраняются беленькие клинушки». Ему известна тайна пленённого дерева, перекинувшегося аркой: под аркой всю зиму проходили звери и люди на лыжах, но стоит только стукнуть по склонённому дереву палочкой, как оно «прыгает вверх и уступает дорогу». Он замечает даже подземную работу леса: семечко ели, упавшее между обнажёнными корнями березы, принялось, елка стала расти и, когда ей некуда было девать своих корней, так как им мешали корни березы, она «подняла свои корешки поверх березовых, обогнула их и на той стороне впустила в землю». Природа в его глазах олицетворяется: «Выходила из-под земли посеянная рожь солдатиками: каждый из этих солдатиков был в красном до самой земли, а штык зелёный, и на каждом штыке висела громадная, в брусничину, капля, сверкавшая на солнце до прямо, как солнце, то радужно, как алмаз».

Во всех этих примерах бросается в глаза одна общая черта: всюду в природе писатель видит жизнь. Он не просто созерцает — он как

* М. Пришвин — «Избранное». («Курьмушка», «Чёрный араб», «Рассказы егеря Михаил Михайловича», «Корень жизни Жень-Шень», «Календарь природы», «Лисичкин хлеб», «Дедушкин валенок», «Фаделя»). ГИХЛ, 1944 г.

бы участвует в жизни природы. Это относится к пришвинским этюдам о нравах и повадках животных не в меньшей мере, чем к его пейзажам. Вот почему мы испытываем боль за «Анчара», вот почему живут в нашей памяти и «Удалец», и «Лимон», и «Пиковая дама», и «Хромка» — прелестные очерки, продолжающие гуманистическую традицию «Муму», «Каштанка», «Холстомера». К этим издавна знакомым нам образам прибавились новые любопытные зарисовки: «Отражение», «Беличья память», «Дятел», «Пауки». Дети прочтут эти рассказы, приучающие их и любить, и изучать природу с особенным удовольствием.

Замечательно: многие пришвинские этюды отличаются настолько глубоко-личным восприятием красоты и своеобразия природы, что звучат почти символически. Вот один из них — «Дорога»; «Оледенелая, нагруженная, набитая копытами лошадей и полозьями саней, занавоженная дорога уходила прямо в чистое море воды и оттуда, в прозрачности, показывалась вместе с весенними облаками, преображенная и прекрасная». В этот набросок можно внести очень многое.

Творчество Пришвина рождает человека с природой не через уподобления, а потому, что и в человеке, и в природе раскрывает жизнь, движение, энергию, могучие силы, побуждающие к творчеству, борьбе, соревнованию. В этом смысле пришвинского «родственного внимания».

«Удивительно богат и широк мир, познанный вами», — говорил Горький в статье о Пришвине, и тут же добавлял: «Так вот, М. М., в ваших книгах я не вижу человека коленапреклоненным перед природой... ваши слова о «тайнах земли» звучат для меня словами будущего человека, полновластного владыки и мужа земли, творца чудес и радостей её. Вот это и есть то совершенно оригинальное, что я нахожу у вас и что мне кажется и новым и бесконечно важным. Обычно люди говорят земле: Мы — твои. Вы говорите ей: Ты — моя!»

Хозяйское отношение к природе, то отношение, которое было в своё время замечательно выражено Базаровым: «Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник», это отношение создало лучшее произведение Пришвина «Корень жизни Жень-Шень». Эта книга вместе с «Колхидой» Паустовского, «Победителями» Багрицкого, «Юргой» Тихонова, «Летом» Рыльского составила первый круг произведений, отразивших победоносную деятельность советского человека, покоряющего себе природу. В книге «Корень жизни» советская действительность не фигурирует в терминах, в приметах быта, но книга эта пронизана ощущением нового. На ней знак времени — знак переустройства мира. Пусть здесь нет материала современности, здесь есть пафос её. Герой её действует в одиночку — это, конечно, не случайно. Но он делает то, что надо — а это не менее существенно.

Здесь мы сталкиваемся с одним из центральных вопросов творчества Пришвина — с вопросом о герое.

У Пришвина нет человека, — этот упрек часто обращался по адресу писателя. На первый взгляд он может показаться совершенно справедливым. Даже в одномомнике избранных произведений Пришвина большая часть книги — «Рассказы егеря Михал Михайлыча, «Календарь природы», «Лисичкин хлеб», «Дедушкин валежник» представляет собою заметки-наблюдения над животным и растительным царством.

Но Пришвину — преимущественно лирик, поэт. Не случайно «поэмами» названы два лучших его произведения: «Корень жизни» и «Фацелия». Поэтом «человек», о котором говорили всегда критики, раскрывается, главным образом, в лирическом герое Пришвина. Внутренняя жизнь этого героя сложнее, чем это порою кажется. Его характернейшая черта — «родственное внимание» к явлениям мира, интерес, любопытство, жажда познания. Но это лишь первая, очевидная черта. В герое Пришвина тонкое чувство красоты сочетается с волей к пересозданию мира, блаженная созерцательность с любовью к «благословенному человеческому труду», чуткая и нежная душевная организация с мужественным преодолением душевной боли. На этой последней черте особенно стоило бы остановиться. Пришвин — писатель очень крепкий, здоровый, «северный орех». И это сказывается в том, как герой его переносит испытания. В «Жень-Шене» рассказывается о том, как рухнуло с таким трудом созданное героем предприятие — пантовое хозяйство, питомник оленей. Из-за нелепой случайности перепуганные олени разнесли ограду и вырвались на волю. И вдруг в самую тяжелую для героя минуту за его спиной показались любимые его олени Хуа-Лу и Мишутка. «Какая глубина целины, какая неистощимая сила творчества заложена в человеке, и сколько миллионов несчастных людей приходят и уходят, не поняв свой Жень-Шень, не сумев раскрыть в своей глубине источник силы, смелости, радости, счастья! Вот сколько же было у меня оленей и какиек!.. Но разве я радовался когда-нибудь им всем, как обрадовался бешено, когда пришла одна Хуа-Лу? Я обрадовался потому, что разлука с оленями раскрыла мне самому, какие силы вложил я в это дело, я обрадовался потому, что мог теперь снова начать свое необыкновенно прекрасное строительство». Герою Пришвина доступна мысль, превосходно выраженная некогда Киплингом: «Всё потерять — и всё начать сначала, ни слова об утрате не сказав».

Мы видели пришвинского героя в минуту испытания, когда рухнуло, казалось, дело его жизни. Но уже здесь, в «Жень-Шене», а еще сильнее в поэме «Фацелия» видим мы героя в часы его глубоко-личных переживаний, и в том, как он выходит из них, тоже познается существо героя. Здесь, кстати, вскрывается нам подспудная движущая сила пришвинского отношения к природе.

«Ранняя весна возвращает меня к тому дню, от которого начинаются все мои сны. Мне долго казалось, что это острое чувство природы мне осталось от первой встречи себя, как ребен-

ка, с природой. Но теперь я хорошо понимаю, что само чувство природы начинается от встречи моей с человеком.

Это началось в далекой молодости, когда я был на чужбине, когда впервые мелькнуло, что, может быть, необходимо расстаться с этой любовью к Фацелии, и когда на этой стороне стало так больно, что пальцем потрогай по телу, и душа отзывается, то на другой стороне, взамен, встал великий мир моей радости. Казалось, так легко заменить свою боль от утраты Фацелии причастностью к благословенному человеческому труду, в котором живёт красота и радость. Тогда я и вспомнил и узнал себя ребёнком в природе. На чужбине родина моя оказалась во всей своей пленительной силе, и вот когда встала ярко первая встреча с природой, и родной человек в родной стороне показался прекрасным».

Горький говорил, что обыватель — это человек, который может восхищаться дикой красотой Кавказа, но стоит ему споткнуться один раз, чтобы горы превратились для него в безобразную гряду камней». Сильные люди умеют вспомнить добром даже большое испытание, если оно в какой-то степени возвысило, приподняло их дух, обогатило их душевный мир. Через утрату они могут что-то приобрести. Таков и герой Пришвина.

На первый взгляд может показаться, что творчество Пришвина «индивидуалистично». Это также, в значительной степени, происходит оттого, что Пришвин — лирик, и действует у него, главным образом, его лирический герой. Но какое у этого героя стремление к человеку? Мотив преодоления одиночества и отрешенности от людей — один из наиболее выразительных мотивов поэзии Пришвина. «Я боролся еще в ранней молодости с этим одиночеством пустыни, обращаясь в дневниках своих с призывом к неведомому другу... В этом преодолении пустыни и состоит цель моего писательства и смысл того «оптимизма» (радость жизни), о котором столько раз говорили мои критики». Это необходимое для художника саморазъяснение вызвано, очевидно, тем, что критика не уловила характернейшего этого побудительного мотива творчества Пришвина. Но сильнее всего быть может, выражен этот мотив в рассказе о художнике, которым завершается «Фацелия»: «— А мне этого и хочется, — ответил художник, — чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть, как все хорошие люди». Мотив о том, как «человек до последнего доходит в тоске по человеку», очень характерен для Пришвина.

Пришвин ненавидит страдание. И многочисленные его странствования «в краю непутанных птиц», и блуждания с ружьем по лесам России, и наблюдения над животными и над травами, и олений питомник в «Жень-Шене», и его мечта о Фацелии — всё это пути к преодолению душевной неустроенности, «охота за счастьем». Это не благополучное счастье обывателя, а неспокойное, ищущее, жадное. «Вся-то беда людей

и состоит в том, что они привыкают ко всему и успокаиваются.. Но творческое счастье — это счастье человека, живущего за тремя замками». Счастье пришвинского героя — «творческое счастье».

«Я переполнен счастьем, — говорит писатель, — мне хочется открыть всем глаза на возможности для человека жить прекрасно, дышать таким солнечно-морозным воздухом, смотреть и слушать лилии, угадывать их музыку...»

Но здесь мы сталкиваемся с наиболее серьезным противоречием в творчестве Пришвина.

То, что «Избранное» начинается отрывком из «Кашеевой цепи» и кончается «Фацелией», образует как бы замкнутый круг творчества Пришвина. «Кашеева цепь» — как бы исходная точка «охоты за счастьем», «Фацелия» — найденное счастье.

«Кашеева цепь» — наиболее «социальная» из всех произведений Пришвина. Здесь писатель, хотя и сквозь некую идеальную пелену, попытался увидеть страшные противоречия, развешивающие людей и уродующие их жизнь.

Но если «Кашеева цепь» оказалась разбитой, то звенья её остались. Гётевский мотив: «Мгновенье! Прекрасно ты. Остановись, постой!...» — может быть, слишком громко звучит в его творчестве... Чересчур блажен и безмятежен воздух его последних книг.

И в этом смысле острая полемичность некоторых высказываний Пришвина не кажется убедительной. «Враг мой! — говорит писатель. — Ты вовсе не знаешь, и если узнаешь, тебе никогда не понять, из чего я слёз радости людям. Но если ты не понимаешь моего лучшего, чего же ты хватаешься за мои ошибки, и на основе таких мелких пустяков людимаешь свое обвинение против меня? Проходи мимо и не мешай нам радоваться!».

О придирках опраниченных критиков вряд ли стоит говорить. Они не заслуживают даже такого краткого возражения. Но здесь затронут вопрос гораздо более существенный, чем мелкие придирки.

Речь идет об отношении к современности.

«Неизвестный друг», к которому обращается Пришвин, поймет и оценит высокое эстетическое и нравственное значение творчества замечательного русского писателя. Он не забудет ни прелести мира, открытой ему зорким и искусным мастером, ни тех уроков жизненной мудрости, которые передал ему крепкий, сильный человек-победитель. Но этому «неизвестному другу» не покажутся естественными в лесном царстве Пришвина — «колхозы», «парторги», «кооперация» и прочие термины нашей современности: таким наивным приемом нельзя ввести в свой творческий мир советскую действительность. Мы уже говорили: в «Жень-Шене» нет этих терминов, но современность скрывается в пафосе всей вещи. Не терминами действовал писатель и в «Кашеевой цепи»... И, принимая писателя таким, каков он есть, не может, однако, не пожалеть «неизвестный друг», что не найдет у любимого художника отклика многим своим тревогам и радостям, которыми живет современный советский человек.

Пришвин прошел огромный и сложный путь, хотя более цельного писателя в современной литературе трудно назвать. Сорок лет был он следопытом своей родины, изучал её леса, и поля, и пустыни, и горы и всюду искал места своему герою. Самоопределение человека в мире — вот подлинный смысл всей работы Пришвина. Творческий метод его при всём своём единстве также развивался. Прежде у Пришвина встречались еще суховатые заметки натуралиста, подобные наклейкам на гербарии, оставившие читателя равнодушным. С годами всё более выяснялась истинная природа творчества Пришвина, — не натуралиста — лирика. Всё эмоциональнее становился его слог. Изданная Пришвиным в годы войны книга «Лесная капля» — торжество лирики в его творчестве.

Последние произведения Пришвина — подлинники «стихотворения в прозе». Здесь встречаются отдельные изъяны, своего рода «сприччи», которые могут показаться «мелкой философией на глубоких местах», но не они определяют книгу. В общем это новая ступень в многолетней плодотворной работе писателя.

И только напрасно пытается замечательный художник ограждать «болотную» позицию писателя: «...не было бы ничего удивительного видеть живописца, работающего в болоте. Почему

же на писателя в этом положении странно смотреть? Вероятно, потому, что писатель в общем понимании есть благополучный художник и живет в кабинете».

Нет, не в благополучии тут дело, а как раз наоборот. Речь идет о том, что странно иногда видеть на полотне одно только мерное, и спокойное, и ясное, и лучистое сияние радуги в годы великих страданий и великого счастья народа.

И странно, что писатель, о котором Горький говорил: «Вы как-то особенно глубоко и всегда помните, насколько поучителен и чудесен был путь его (человека—Г. Л.) от эпохи кремневого топора до аэроплана», может написать такие строки: «Слышу, треплется где-то какой-то мотор, но я в мыслях своих так далек от моторов, что не различаю — от самолета это звук или от форда, или пришёл он через окно какой-нибудь фабрики, слышу — треплется звук, а спроси — и не скажу». Пришвин ли это говорит — писатель-победитель, который ввёл в русскую литературу тему овладения природой, художник, проявивший точное знание мира природы и науки, автор «Жень-Шеня» и «Кашеевой цепи»?

Григорий Левин



НЕУДАЧНАЯ ПОВЕСТЬ*

Композиционная схема, положенная в основу этой военно-морской повести, безукоризненна, хотя отнюдь не нова, все частности умело подчинены общему стройному замыслу, они ритмически толкают вперед развитие сюжета и слагаются постепенно в прочную и цельную повествовательную ткань, скрепленную на конце последним, стягивающим, завершающим стежком. И если говорить о формальном повествовательном уменье автора—то оно налицо и не вызывает никаких сомнений. Но ведь композиционное уменье — это только условие, предпосылка художественной работы, не более того. Оно входит, разумеется, в понятие мастерства, но обретает жизнь и смысл лишь при наличии всех прочих элементов художественного уменья. Как правило, композиционная схема является художнику лишь после того, как родился образ произведения и определился в сознании образы людей и событий. А в повести Л. Лагина именно композиционная схема, заранее данная, формирует, — точнее деформирует, — весь примысленный образный материал, «нарезает» его на геометрически правильные, симметрические куски, в которые автор тщательно пытается вдохнуть жизнь...

В известном смысле, читатель, взявший в руки эту повесть, может смело довериться опытному автору: он не испытает ни трудностей, ни волнения, ни беспокойства, ни особой скуки.

* Л. Лагин. «Броненосец «Анюта». «Знамя», № 7. 1945 г.

На всем протяжении повести автор ревниво и заботливо оберегает покой читателя, а в самые трагические минуты, когда, казалось бы, героев ждет неминуемая и страшная гибель, он как бы подкашивает читателя: не тревожься, друг, это же не всерьез, это всего лишь перипетия сюжетного хода!

Впрочем, автор заблуждается: читатель вовсе и не испытывает тревоги. Уже первое знакомство с героями убеждает его, что лагинские военморы — не настоящие. Все сюжетные приемы автора, имеющие целью напугать читателя, напугать «почти до конца», чтобы утешить на следующей же странице, давно и хорошо известны. Они освещены незапамятной традицией и, кстати сказать, уже доброе столетие, как перекочевали из взрослой литературы... в детскую.

Конечно же, если отвлечься от некоторых необязательных аксессуаров, Л. Лагин написал детскую морскую повесть, по всем канонам стародавней, милой и уютной морской робинзонады, а вовсе не взрослому, всамделишному военно-морскую повесть из эпохи Великой Отечественной войны. Ведь жанр не меняется от того, что роли акул и пиратов в данном случае выполняют «Мессершмитты» и фашистские дозорные суда. Иной вопрос — насколько эта повесть соответствует установкам нашей детской литературы о великой войне. Во всяком случае, думается, что переход от взрослой художественной литературы к детской всего менее является переходом от реализма к условности.

Вот костяк сюжета. Три военмора, защитники Севастополя, героически прикрывшие отход своей части, в последний момент уходят в море на случайно подвернувшемся рейдерском катерке-лимузинё. Катерок, не способный противостоять морским волнам и к тому же порядком изрешеченный в боях, преследуют в открытом море вражеские истребители, он выдерживает яростный бой с вражеским кагером, и топит его; лишившись горючего, он попадает в чудовищный шторм, но усилиями своего маленького экипажа, борющегося на пределе сил, остается целым. Параллельно со всеми этими бедами, три военмора испытывают муки голода и жажды: на катерке не оказалось ни пищи, ни воды. В довершение бед, одного из моряков, Степана Вернивечера, тяжело ранило фашистской пулей. Теперь вся непомерная тяжесть управления поразбитым катерком легла на двух остальных моряков, Аклеева и Кутового, изнемогающих от голода и жажды. Но их нечеловеческое упорство, находчивость, железная дисциплина, которой они подчинили себя даже в условиях полной оторванности от коллектива, берут свое: через пять суток непрерывного бдения и борьбы они встречаются в море советский тральщик, который торжественно, как героев, принимает их на борт...

В этом сюжете нет, разумеется, ничего невероятного или искусственного: советские военморы совершали куда более удивительные подвиги. Из этого сюжета можно сделать и взрослую, и детскую военно-морскую повесть; можно сделать повесть и хоршую, и плохую. Этот сюжет — лишь предпосылка для художественной работы. Автор пытался использовать эту предпосылку — сюжетную ситуацию — для того, чтобы, на примере трех военморов, показать тип советских моряков, их беззаветную дружбу, их беспредельный героизм, любовь к родине, дисциплинированность, воинское умение. Познакомимся же с тем, как наращивает автор образный материал на этот сюжетный костяк.

Прежде всего о языке. Мне не хотелось бы быть неверно понятым: я не изолирую вопрос о качестве языка от общей оценки произведения. Ведь писатель общается с читателем исключительно при помощи слова, и потому неточность языка, его несоответствие задачам, которые ставит себе автор, отработанность эпитетов, скользящих мимо читательского внимания, определяют, по сути, художественную оценку произведения.

Известно, что у черноморцев есть свой особый, южный морской говор и свой особый юмор, тонкий и благородный в самой основе: этим юмором сильные и чистые души застенчиво прикрывают свою затаенную «человеческую нежность к товарищам, к родным, к любимым, к людям своей родины. Но как мало похож жаргон, на котором изъясняются между собой герои Л. Лапина, на подлинный язык этого юмора!

«— Помереть спешить, — холодно констатировал Аклеев. — Не понимаю, почему такая спешка. Царства небесного нету. Это я тебе заявляю официально».

«— Типичный некрейсёр!» — так определяет матрос Вернивечер изрешеченный катерок.

«— Фриц-то оказался очень даже неасс», — так изъясняется моряк Аклеев.

Тот же Аклеев обращается к Вернивечеру со следующей фразой, явно отызывающей «блатным» жаргоном:

«— Я тебе удивляюсь, Степа. Ты же военный человек. От тебя же еще может большая польза в военных действиях прозойти, а ты — ах, ах, дайте мне моментально погибнуть!»

А вот размышление Вернивечера, который не верит утешениям Аклеева, что их путешествие на катерке окончится благополучно:

«— ...я мальчик тертый. И я могу в случае чего помереть и без самообмана».

Тяжело раненный Вернивечер, к тому же не евший и не пивший уже двое суток, поднимается со своего ложа, выходит из каюты и обращается к своим друзьям, стоящим на посту, с такой репликой:

«— Загораем? Самая, между прочим, здоровая обстановка. Воздух, солнце и вода».

Право же, автор проявил очень мало вкуса, приписав своим героям (в прямом смысле — героям!) такую фразеологию. А ведь автор полагает, что за этой фразеологией кроется «возвышенная стыдливость страдания» — не более, не менее! Но язык персонажей — это их мышление, даже если он служит им для сокрытия их истинных мыслей и чувств. Надо ли удивляться, что вопреки всем авторским рекомендациям, лагинские военморы никак не могут быть приняты читателем всерьез. К тому же, не только реплика моряков, но и вся повесть выдержана в таком анекдотическом и якобы скрытно-душевном тоне.

«А потом, когда Галя, глянув на часы, вдруг заторопилась и объяснила причину своей спешки, Аклеев в какую-нибудь секунду стал самым несчастным человеком во всем Рабоче-крестьянском Военно-морском флоте».

«До флота, «на празднике», в Москве он.. был тайно влюблен в одну хорошенькую и, по видимому, неглупую линотипистку».

«Вернивечеру очень не хотелось умирать. Кипучая натура, легко увлекающийся, храбрый и незлой, хороший парень и любимец женщин, он всегда был полон всяческих планов и жизнь любил так, как может ее любить человек, только что перешагнувший в третий десяток».

«Еще он не знал, что ее зовут Галя Сыророва... а уж он был влюблен в нее по самый клотик».

Однажды Аклеев и Кутовой услышали тяжелый всплеск. Они не подозревали, что это Вернивечер, не желая обременять товарищей «своей стонущей особой», бросился в воду, с намерением утонуть.

«— Ну, це кит, — лениво усмехнулся Кутовой, — теперь держись, Никифор, бо он нас сейчас будет глотать.. Со всем боезапасом...»

«Аклеев обрадовался возможности пошутить, собрался развернуть перед Кутовым забавную картину, как они чудно устроятся в чреве китовом и как они превратят этого кита на страх фрицам в мощную боевую единицу...».

Разрушительная работа этого неверно взятого тона ощущается буквально на каждой странице повести. И когда автор пытается говорить серьезно, когда он тщится изобразить трагические перипетии похода трех военморов — у него естественно и неизбежно ничего не получается. С особой наглядностью это сказывается в эпизоде неудачного — и, кстати сказать, совершенно необоснованного — самоубийства Вернивечера.

А вот, к слову, еще один образец «возвышенной стыдливости страдания», проявленной военмором Кутовым, когда Аклеев со спасенным Вернивечером подплывал к катеру:

«— А я ж думал, что Степан потоп!.. И что ты тоже потоп!.. Что вы оба потопили, бисовы ваши души, морячки мои родненькие, душа с вас вон!.. Плывы до лимузина, Никифор, подпребай!.. Подпребай со Степаном — этим нахалом! Тоже взял себе, бродяга, привычку: чуть что, кидается в море, ровно в какой бассейн в бане!..»

Примерно столь же жалкая судьба постигает и все «трагические» эпизоды повести: читатель не верит им, их условность, их фарсовый характер, подчеркнутый авторской интонацией, претендующей на «печальный юмор», слишком очевидны. Нет, это не «всамделишная» военноморская повесть: произведение Л. Лагина построено на условности дореволюционной детской литературы, и лишь осложнено ложной, анекдотической фразеологией.

Эпитеты автора не отличаются точностью или свежестью: «чудовищная слабость», «огромное, ни с чем не сравнимое ощущение сча-

стья», «до того не испытанное чувство непередаваемой нежности», и т. д. Все это — также функция основного авторского греха: неверно взятого тона. В свое время Л. Лагин написал удачную фантастическую книгу для детей, приобретшую значительную популярность. И надо полагать, что «детскость» и «невсамделишность», проникающие в данную повесть, возникли в результате какой-то ошибки художественного мышления, искажившей подлинное чувство и подлинный опыт автора. Искусство — область высокого напряжения, и вступающий в эту область должен каждый раз твердо помнить «правила безопасности». Иначе слово отказывается служить ему и сообщает его строке совсем иной смысл, чем тот, который намерен был вложить в нее автор.

В повести «Броненосец «Анюта» жанр растворил, деформировал до неузнаваемости лично пережитый опыт писателя. Нельзя лить новое вино в старые мехи. Совсем нелегкое для писателя дело — создать полноценные образы людей Отечественной войны. Линия наименьшего сопротивления — упрятать свой подлинный, живой опыт и привычный или случайно подвернувшийся жанр — не может привести к удаче. Правильное художественное решение темы не лежит ни рядом, ни на поверхности. Найти его можно только на трудных путях искусства. Советский военмор эпохи Отечественной войны — фигура исполнинская, историческая. И наша литература обязана передать ее потомству во всем ее величии и жизненности.

Я. Рыкачев



НЕУМИРАЮЩИЕ АКТЕРЫ*

Лучшее в книге Б. Алперс определяется вздумчивым, широким изображением жизни больших актеров-художников, великих характеров в конкретных исторических культурных связях — с эстетико-философскими обобщениями. Давно мы не читали книги по театроведению, где бы жизнь актеров, при всех недостатках ее изучения, была показана так непринужденно, свободно и полно из поколения в поколение.

Б. Алперс счастливо избежал вульгаризации. И не потому ли его книга даже в самых бесспорных местах часто звучит как открытие?.. Это достигнуто и глубоким внутренним тоном, в котором автор любовно и наблюдательно рассказывает об актерах, — тон, как известно, тоже делает музыку.

В введении Алперс определяет круг своих задач и метод их решения:

«...центральное место по своему значению в истории русской сцены занимают представите-

ли актерского искусства в традициях, связанных с именами Щепкина и потом Станиславского...» Чем же объясняется, что «искусство Щепкина — Станиславского вбирает в себя все отдельные творческие линии русского актерского мастерства?»

Нельзя не согласиться с Б. Алперсом, когда он видит в этом проявление русского национального характера, русского народного гения с его реалистическим мироощущением.

В то же время Б. Алперс отмечает, что эстетский театр гораздо теснее связан с западноевропейским театром, чем с русским. «Об этом говорят и сами «предки», на которых обычно с гордостью ссылались деятели условного театра. Среди этих предков есть итальянцы, французы, испанцы, японцы, но нет ни одного русского имени...» «Творчество художников условного стилизаторского театра, при всех качественных различиях в отдельных случаях, имеет одну общую черту. Оно космополитично в своей основе, лишено национальной окраски, нигилистично по отношению к самобытной культуре русского актерского искусства...» «В области актерского искусства эта школа оказалась бесплодной. Она не создала ни одного крупного актера.»

* Б. Алперс. «Актерское искусство в России». Том первый. «Искусство», 1945 г., стр. 550.

Как же возник и сложился в России наш господствующий театр, театр художественного глубокого реализма, который стал типичным выражением русской культуры и национальной гордостью России? Б. Алперс убедительно доказывает, что для того, чтобы это понять, надо осветить и оценить искусство актера в его широком жизненном смысле.

Щепкин в русском искусстве актера, — говорит Алперс, — занимает такое же место, как Пушкин в литературе.

Деятельный век в русском сценическом искусстве — это прежде всего Щепкин, так же, как двадцатый век освещен именем Станиславского. Это потому, что историческая роль этих художников, их принципы сценического реализма не ограничиваются узко эстетическим значением. Их программа и их практика вырастают прежде всего из общественного содержания, из общественного служения театрального искусства, из сознания огромной этической силы искусства актера.

Б. Алперс последовательно и наглядно, в частности путем бережного изучения конкретных фактов из жизни и творчества Щепкина, показывает, что жизненный глубокий реализм этого актера-художника вытекает из того, что театр был для Щепкина «высшей инстанцией для решения всех жизненных вопросов» (Герцен). И его реализм на сцене означал прежде всего внимание к простому рядовому человеку, своему современнику.

Иначе говоря, реализм Щепкина, как и реализм Станиславского смыкается с мощным демократическим прогрессивным движением в русской общественной мысли. Отсюда духовная сила, пылкость и глубина этого реализма. И, конечно, отсюда русский театр — средство не только изучения действительности, но и средство воздействия на жизнь общества, средство пропаганды и воспитания, борьбы за человека и за лучшее будущее человечества!

Б. Алперс прав, что без влияния или прямого выражения прогрессивных демократических идей не было ни одного этапа в развитии русского реалистического психологического театра, чуждого холодной условности, формального штукатуризма, голой техники, пустого бессердечного эстетства.

В первый том исследования Б. Алперса, заканчивающийся развернутым анализом игры Щепкина, вошли интересные материалы и о его предшественниках и современниках — замечательных русских артистах: Шушерине, Плавильщикове, Екатерине Семеновой, Яковлеве, Каратыгине, Мочалове, Прове Садовском и других.

В обильных приложениях, составляющих вторую половину книги, Б. Алперс привлек в качестве свидетелей правоты своих суждений (пользуясь выдержками из статей, письмами, дневниками) таких лучших представителей русской мысли девятнадцатого века, как В. Белинский, А. Герцен, Н. Гоголь, Т. Грановский, И. Тургенев, С. Аксаков, Аполлон Григорьев, С. Станкевич. Тут же приведены интересные высказывания великих актеров: самого М. Щепкина, П. Мочалова, В. Каратыгина.

И, разумеется, все эти свидетельства вполне подтверждают слова исследователя: «Творчество актеров-художников может быть понято только в связи с их общим мировоззрением, с теми идеями, которые владели ими и ради которых они выходили на сцену перед зрителем».

В связи с этим Алперс верно говорит: «Актер, если он не только мастер, виртуозный исполнитель чужих замыслов, но прежде всего самостоятельный художник... такой актер всегда говорит о сегодняшнем, всегда рассказывает о своих современниках, даже тогда, когда обращается к классическому или переводному репертуару».

Эту мысль он подтверждает многими убедительными примерами о Щепкине, Мартынове, Мочалове, Ермоловой и других артистах.

Как известно, Щепкин потрясал сердца зрителей, играя в незатейливой переводной с французского мелодраме «Матрос».

И вот в то время, как Мочалов в Гамлете, — говорит Б. Алперс, — вывел на сцену по существу «одного из героев своего времени, не находившего прямого пути в литературную драму, — его Гамлет был своего рода Печориным на театральной сцене, — «Матрос» Щепкина — повесть о маленьком человеке щепкинского времени, о его страданиях, душевной доблести, о его вере в людей».

Верна и особенно волнующая Б. Алперса мысль о том, что большой актер-художник всегда несет в себе «свою драматургию», свою личную «тему», свой излюбленный, индивидуальный, всепоглощающий у него «образ» человеческого духа. Разумеется, так же прав Б. Алперс, когда он утверждает, что, вступая с драматургом в творческое «соавторство», большой актер иногда поднимается на сцене выше драматурга.

Да, мы охотно соглашаемся с Б. Алперсом, что эта традиция актера-художника, актера — автора своих образов, актера — глубокого потенциального драматурга, по-своему отвечающего на зовы жизни, актера — современника и друга, и учителя своих современников — могучая, плодотворная традиция русского театра! Ее надо сохранить, продолжить, развивать, не отрываясь от литературы, от драматургии, от глубокого реалистического раскрытия и воплощения литературных образов.

Именно таким нашим другом и глубоко русским прогрессивным актером был Б. Щукин. И того же мы ждем от актеров зрелых и молодых каждый раз, когда идем на спектакль.

Но когда Б. Алперс, справедливо говоря: «Перед советским актером встают новые большие задачи...», добавляет: «нужно сказать, что масштабы и подлинный смысл этих задач остаются до сих пор неясными, неосознанными в должной мере», — мы должны сказать, что некоторые из этих задач, как и уроки, вытекающие из прошлого, мы понимаем с Б. Алперсом по-разному.

Б. Алперс, увлеченный (и правильно, и очень своевременно увлеченный) в актерском искусстве проблемой крупного творческого характера у актера-художника, неосмотрительно бросает односторонний лозунг ложного противопоставления

«великого характера» актерской технике. В пылу увлечения он ошибочно утверждает: «Культ техники облегчает задачу воспитания культурных исполнителей, но в то же время затрудняет рождение актера-художника, актера со своей творческой индивидуальностью, зачастую лишает его новаторской смелости, так необходимой в большом человеческом искусстве».

Не очевидно ли, что так общо и опульно выраженное осуждение техники уже начинает дружески перекласться с... тезисом госпожи Простаковой о вреде и ненужности образования вообще? Вероятно, это неожиданно для самого Алперса... Но вот до чего доводит одностороннее увлечение свободой проявления сильного характера!

И после, конечно, вы будете правы, когда с недоверием станете перечитывать такое привлекательное на первый взгляд суждение Алперса: «Мастерство... в своих высших проявлениях... так же индивидуально, как и сам талант, и путь к нему идет не по проторенным тропинкам. Для актера-художника, а не только исполнителя, мастерство всегда останется не суммой правил и законов, а «открытием», которое заново, как будто впервые делает для себя актер».

Чем привлекает это Б. Алперса? Тем, что направлено против штампа, против банальности, против серости, против бескрылого эпитонства, против бесталанной зубрежки и демонстрации актерами сценических «правил» и «законов», когда они такими средствами пытаются подменить живую жизнь в искусстве. Верно, что для истинного художника каждое правило когда-нибудь, в первый раз, осознается как чудесное, радующее своей новизной и жизненной мудростью, захватывающее дух открытие. Верно так же, что и в высших своих проявлениях произведения искусства и само мастерство снова становятся открытием, притом открытием всегда индивидуальным...

Но путь от первого актерского открытия до последнего, до самого высшего, — путь труда, на котором отнюдь не следует пренебрегать многими ранее найденными правилами и законами. И это путь, на котором надо хорошо изучить именно проторенные тропинки и не бояться ходить по тем из них, что надежно ведут к цели. Это путь образования и воспитания. Путь науки. Путь освоения техники. Пусть даже культа (да, именно культа, — мы совсем не боимся этого слова), культа мастерства. Без него ни один великий художник не может стать на ноги. Без него талант безоружен. Идея бессильна. Чувства актера дают короткое замыкание, и все ими кончается. Без него вода мертва, — как и всегда она мертва без дел, то-есть без умения. А умение во многих стадиях отнюдь не так индивидуально, незаконно и анархично, как может показаться читателю Алперса!

Но получается так, что воображение Б. Алперса, оравленное зрелищем противоречивых, неестественных, неправильных упражнений в актерской технике, отказывается видеть необходимость правильной, разумной, научной актерской школы, преподаваемой в част-

ности теми, кого он справедливо ставит на высшую ступень искусства — Щепкиным и Станиславским. Дело-то в том, что мудрость их заветов лежит как раз не в индивидуалистическом и анархическом понимании техники актера, а во всеобщем, естественном, органичном для всех актеров кодексе разумных правил и законов, выведенных из наблюдения над множеством лучших новаторов и «пророков» этого искусства, — кодексе, покоящемся на объективном и пристальном изучении человеческой природы вообще.

Исходя из мысли, что все дело совсем не в школе, не в мастерстве актера, а в его душевном мире, в его характере, в его идее, Б. Алперс порой как будто забывает, что в поэтическом произведении, а стало быть, и в художественном образе, воплощенном на сцене, идея выражается только через создание мастерства определенной школы и определенного стиля. Их нельзя ни отрывать одного от другого, ни противопоставлять механически одно другому. Они связаны в сложное, может быть внутренне противоречивое, но всегда органическое художественное единство. Это единство никогда не бывает ни случайно, ни мертво, никогда не может быть буквально повторено, оно всегда — процесс, всегда — жизнь, постоянно меняющаяся, обогащающаяся, текучая и, что самое главное, восходящая! По крайней мере — восходящая в наше творческое, созидательное время. Восходящая, если не сегодня, сейчас, сию минуту, в каждом своем проявлении, то уж непременно восходящая завтра, к новым, высшим проявлениям.

И Б. Алперс далеко не все правильно оценил в этом бесконечном процессе, в котором каждый день запечатлевается своей исторической правдой — правдой, не тождественной с правдой другого дня.

Так, между прочим, Б. Алперс пишет, что искусство Щепкина остается «непревзойденным примером». Нам это кажется наивной канонизацией «святости» великих имен. Нет, во многом, конечно, и Станиславский, и Ермолова, и, скажем, Б. Щукин превзошли своего родоначальника и давнего учителя. И если бы Щепкин мог сегодня воскреснуть и предстал бы перед нами в своих лучших ролях, то несомненно многое в его игре нам показалось бы и архаичным, и наивным, и сентиментальным, и просто беспомощным по сравнению с той высокой школой актерской игры, которая преемственно развилась после него, — школой и мастерством, мимо которых хочет пройти Б. Алперс, пройти прямо к великой душе Щепкина, или к душе Щукина, или к душе Хмелева. А пройти мимо мастерства нельзя! Да и не только в мастерстве, — неужели Алперс серьезно думает, что и в общественной «идее» никто после Щепкина не превосходил его?!

В своем рьяном усердии, желая во что бы то ни стало охранить русскую душу, русский реализм от всяких влияний, Б. Алперс забывает, что русский театр и русский актер стали в своем реалистическом искусстве отнюдь не слабее, а тоньше, изощреннее, глубже, искуснее, богаче

от наблюдений над западным и восточным искусством. Постоянный творческий интерес ко многим достижениям порой «условного» искусства не ослабляет мощной реалистической традиции нашего театра. Она впитала в себя что-то от мастерства Гордона Крага, и Карло Гоцци, и театра «Кабуки», и Мей-Лань-Фаня, и Рашели, и Олдриджа, и Сальвини, и Моиси, и Дузе... Для каждого не забывшего историю нашего театра и помнящего, скажем, лучшие произведения Станиславского и Вахтангова это очевидно!

А в наши дни этот вопрос творческого роста, которому помогает взаимовлияние многих национальных искусств и культур, стоит еще шире. Современный русский актер может многому поучиться, например, у грузинского театра, представителем которого является интереснейший Тбилисский театр им. Руставели и его лучшие мастера — такие, как Хорава и Васадзе. В искусстве этого театра есть много «условного» и как раз, между прочим, такого поэтического условного, что помогает актеру правдиво, реалистически осветить на сцене самую сущность духовной жизни человека, ее драматизм, ее поэзию, ее движение — в точном и ярком выражении. Такая поэтика романтического театра, кстати говоря, очень помогает освободиться от натурализма, злейшего врага всякого искусства, очень распространенного, увы, на нашей русской сцене...

В стремлении Б. Алперса охранить в натуральной чистоте истинно русские традиции порой сказывается фетишизация какого-то вневременного, отвлеченного реализма. Вместо развития и смены стилей, вместо закономерной «эстафеты» актеров разного плана в истории театра получается почти бесперспективная смена актеров разного психологического типа, «творцов» или «исполнителей», «реалистов» или «формалистов», — если не считать предложенной Алперсом перспективы под лозунгом «назад к Щепкину».

Но ведь и в Щепкине ценна не только его самобытность, но и то, что он сумел критически усвоить от западного театра и от отечественно-

го «классицизма». Кстати говоря, в этом последнем Б. Алперс, все по тем же причинам, напрасно не разглядел ничего для своего времени прогрессивного, даже прямо революционного, не разглядел, не оценил хотя бы переключки ложно-классицизма с революционными влияниями из Франции и с декабризмом.

Сегодня вновь и вновь в жизни России происходят широкие сдвиги, сближающие нашу культуру и искусство не только с культурой и искусством братских советских государств, но и с демократиями во всем мире. И, как показывают новые события, мы, русские, достаточно крепко стоим на своих корнях, чтобы ни в области политики, ни в военном деле, ни в литературе и искусстве не потерять при этом своего естественного лица. А наш реализм, глубокий, жизненный, прозорливый от этого общения не слабеет, но только получает новое развитие...

И напрасно Б. Алперс, в противоречии с собственным призывом к новаторству, толкает наши театры, — хочет он того или не хочет, — к общей нивелировке под некую провинцию Художественного театра. Ее и так достаточно.

Но всегда, для любого актера, будет плодотворным обращение к Художественному театру и его естественно-научной школе воспитания актерского мастерства по методу Станиславского.

Эта наука, эта теория является органическим выражением нашего реалистического мировоззрения, русского правдолюбия, близости к самой природе, русского стиля мышления и русского гуманизма. Его выражен в театре творческий гений народа.

Вместе с тем внимательное изучение школы мастерства по Станиславскому должно послужить исследователю толчком, чтобы проблемы мастерства и стиля нашли подобающее им место в его дальнейшем рассказе. И можно думать, что конкретно-исторический широкий анализ при этом обойдется без вульгарного социологизирования, как с успехом обошелся без него Б. Алперс в первом томе.

Х. Херсонский

★

КНИЖКА О ГРИБОЕДОВЕ*

Время от времени Гослитиздат выпускает небольшие книжки о классиках русской литературы. Издания эти, судя по тиражам (десять тысяч), рассчитаны на широкие массы читателей, и многие по этим очеркам впервые познакомятся с биографией и историей творчества великих писателей.

Несмотря на кажущуюся простоту задачи, писать такие книжки трудно, так как они должны содержать исторический обзор эпохи, глубокий и всесторонний анализ творчества писателя, яркий рассказ о его жизни, и все это на каких-нибудь восьмидесяти страничках небольшого формата.

* С. М. Петров. «А. С. Грибоедов». Гослитиздат, 1945 г.

Недавно вышла из печати новая книжка этого типа. Она посвящена Грибоедову. Книжка написана неровно. Биографии великого драматурга автор уделил весьма небольшое внимание. Приведены важнейшие даты и основные факты жизненного пути Грибоедова без попытки создать живой облик писателя.

Между тем жизнь Грибоедова, в которой Пушкин видел «следствие пылких страстей и могучих обстоятельств», насыщена исключительными событиями и переживаниями. Об этом следовало рассказать читателю.

О юности будущего драматурга в книжке почти ничего не сказано. Об университетских годах читаем (на стр. 5) такую не совсем грамотную фразу: «За шесть с половиной лет Грибоедов прошел почти весь университет...»

Сложные душевные переживания Грибоедова в эпоху 1812 года сведены к фразе: «1812 год вызвал в Грибоедове большой подъем патриотизма, ставшего основой (?) всей его дальнейшей жизни и деятельности».

Так же обстоит дело и с описанием заключительной трагедии в жизни великого драматурга. В общем автор не нашел достаточно яркие слова для того, чтобы дать читателю живое представление о Грибоедове-человеке. Повидимому, С. Петров эту задачу перед собой и не ставил. Напрасно!

Иной характер принимает книжка в тех разделах, которые трактуют проблематику творчества Грибоедова, объясняют смысл и значение «Горе от ума» и роль творца комедии в истории русской национальной культуры. Собственно-литературоведческая часть книжки (а это ее основная часть) стоит на высоком уровне.

С. Петров правильно рассматривает историческое содержание «Горе от ума» в свете столкновения и смены двух больших эпох русской жизни: «века нынешнего» и «века минувшего». «В сознании передовых людей того времени, — пишет автор, — историческим рубежом русской жизни между XVIII и XIX столетиями были 1812—1814 годы — пожар Москвы, разгром Наполеона, возвращение армии из заграничных походов. Отзвуками этих событий полна грибоедовская комедия».

В книжке показано, как поставлены и освещены в «Горе от ума» важнейшие политические, моральные и культурные проблемы эпохи: роль идей в общественной жизни, взаимоотношения «отцов и детей», либерализм, истинное и ложное воспитание дворянской молодежи, человеческое достоинство, понятие долга и чести.

Переходя к анализу характеров, созданных великим художником, С. Петров пытается в индивидуальном облике каждого раскрыть его историческую типичность. Особенно удачно сделано это в отношении героя комедии — Чацкого.

Приводя известные высказывания о Чацком — Пушкина, Герцена, Гончарова, используя письма декабристов и другие документы и тщательно анализируя текст комедии, С. Петров стремится проследить идеологический путь Чацкого.

Уже в детстве он испытывает отвращение к «низкопоклонничеству», царившему в фамусовском доме. В начале самостоятельной жизни Чацкий знакомится с вольнолюбивыми идеями. «Чацкий становится подлинным представителем передовой дворянской интеллигенции своего времени, выразителем ее духовной и нравственной эволюции, вызванной великими событиями эпохи».

Пребывание в Москве, затем в Петербурге, поступление на государственную службу, жизнь в деревне, поездка за границу — таковы этапы жизненной судьбы Чацкого, которые формируют «типичного представителя раннего периода декабристского движения». «Любовь Чацкого к «высокому», его вольнолюбие возникают на почве русской действительности, как следствие пробуждения его патриотических чувств, его

благородной вражды к барским нравам и крепостнической морали. Не отрицая роли передовых западноевропейских идей, Грибоедов впервые в русской литературе раскрыл в биографии и образе Чацкого национально-историческое происхождение русского освободительного движения 20-х годов».

Это справедливо.

Автор отвергает трактовку Чацкого, как «лишнего человека». С этой мыслью нельзя не согласиться. Действительно, разве имеет Чацкий что-либо общее с беспочвенным мечтательством, разочарованностью и скептицизмом, которые характерны для «лишних людей» — героев более позднего времени. Глубокая вера в человека, во всемогущество разума, оптимистический взгляд на жизнь и стремление осуществить гуманистические идеалы свободы и независимости личности — вот что характеризует Чацкого.

Драма, разыгранная в доме Фамусовых после возвращения Чацкого, явилась лишь отражением той социальной трагедии, которую пережили многие дворянские революционеры, когда они, как Чацкий, подымали восстание против самодержавия и рабства и оставались в одиночестве. Это характерно для освободительного движения той поры.

«...Драму Чацкого, — пишет автор, — пережили не одни декабристы, а вообще многие русские просветители крепостной эпохи. Разве Радищев, создавая свое «Путешествие из Петербурга в Москву», не верил в успех своих горячих призывов к человечности и разве потом не испытал он горя Чацкого, увидя вокруг себя Фамусовых, для которых он был «хуже Пугачева»? Разве Пушкин не испытал разочарования Чацкого, когда после «Кинжала» ему пришлось написать «Сеятеля»? Разве Герцен в страшный момент крушения своих надежд в революцию 1848 года не испытал драмы Чацкого? Пока русские просветители крепостной эпохи стояли далеко от народа, не обладали научной революционной теорией, они все при столкновении с реальной действительностью в большей или меньшей степени испытывали драму Чацкого».

Эта мысль автора ценна и плодотворна.

Анализу драматургического мастерства Грибоедова Петров не уделил столь же пристально внимание, как рассмотрению идейного содержания комедии. Однако отдельные наблюдения автора над композицией и языком «Горя от ума» интересны.

Недостаточно внимания уделил также С. Петров творчеству Грибоедова за пределами «Горя от ума». Почти ничего не сказано о ранних пьесах, написанных совместно с Жандром, Хмельницким, Шаховским. Автор говорит: «Мастерские по изяществу стиха эти веселые пьесы славили любовь». И все? Но это значит почти ничего не сказать!

В целом, несмотря на указанные недостатки, книжка С. М. Петрова представляет значительную ценность.

Г. Бровман

НОВЫЕ КНИГИ



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ, А. — *Лейтенант Белозор*. М., Л., Военмориздат, 1945, 200 стр. — Два произведения, помещенные в сборнике, объединены темой героизма русских людей в борьбе с врагами родной земли.

В повести «Лейтенант Белозор» рассказан эпизод войны 1812 года. Лейтенант Белозор с несколькими матросами захватил неприятельское судно у берегов Голландии и присоединил его к русской эскадре. Герой рассказа «Мореход Никитин» в 1811 году захватил вражеский корабль и привел его в Архангельск.

Во вступительной статье С. Петров дает краткие сведения о жизненном пути и творчестве А. А. Бестужева-Марлинского, талантливого писателя-декабриста, современника Пушкина.

БЕРГОЛЬЦ, О. МАКОГОНЕНКО, Г. — *Они жили в Ленинграде. Пьеса в 4-х действиях, 9 картинах*. М., Л., «Искусство», 1945, 112 стр. — Пьеса о героической рабочей молодежи Ленинграда. Страшная зима 1941—42 года, город в кольце немецкой блокады. Комсомол организует отряд «борьбы со смертью». После рабочего дня истощенные и измученные девушки идут по квартирам, чтобы помочь ослабевшим ленинградцам вернуться к жизни. Выбываясь из сил, носят они из замерзшего канала воду на остановившийся хлебозавод. «Ведь, если мы все умрем, — говорит секретарь комсомольской организации, — это же значит... проиграть сражение, а мы должны выиграть его!»

И они его выиграли! Старик-мастер возвращается на завод и принимает рапорт о работе цеха над новым заказом — особыми баржами для ладожской трассы, на которых с начала навигации привезут пострадавшему городу хлеб и оружие. «Только два выхода знали люди за тысячелетия своей истории — два выхода для городов, осажденных так, как осажден Ленинград, — говорит старый профессор, один из тех, кого комсомольцы поддерживали в трудную минуту, — капитуляцию или гордую гибель. Но город нашел третий выход. Не помышляя о капитуляции, он не захотел умереть».

ВУРГУН, С. — *Сегодня и завтра. Стихи. Перевод с азербайджанского*. М., Гослитиздат, 1944, 30 стр. — Самед Вургун — дважды лауреат Сталинской премии и член Академии наук Азербайджанской ССР. Он представитель молодой советской азербайджанской литературы. Выросшая на почве народного творчества, поэзия Вургуня продолжает традиции великих писателей-классиков: Низами, Хагани, Физули, истинных патриотов своей родины.

Стихи военных лет, 1941—1943 гг., помещенные в этом сборнике, полны веры в «завтра» своего народа, в грядущий день победы, который увенчает трагическое «сегодня» — тяжкие годы войны. «Нет! Человек уничтожен не будет!», — говорит Вургун в стихотворении «Слово поэта», рисуя народы Европы под пятою фашизма.

Тематика стихов Вургуня широка и многообразна, лирика эмоциональна и политически заострена. Он пишет о родине-матери, о Сталине и о Москве, о героических сынах азербайджанского народа, о годах борьбы, о светлой победе, которая, как заря с востока, встает над миром.

Переводы стихов сделаны А. Адалис, П. Антокольским, Б. Пастернаком, М. Петровым, П. Панченко, М. Светловым, А. Плавником.

КНЕХТ, В. — *Товарищ Ренэ*. Л., Гослитиздат, 1945, 184 стр. — Действие повести происходит в небольшом эстонском местечке Мыйзама в 1917—1920 годах. Речь идет только об одном местечке, но перед читателем встает жизнь всей Эстонии в те бурные годы.

Автор рассказывает о борьбе трудящихся за власть советов, о заговорах остзейских баронов, о вторжении немцев в Эстонию, где с их помощью в 1919 году установилась антинародная власть, организовавшая жестокий террор против трудящихся масс.

В центре повести — семья рабочего-большевика Виро. Главная героиня повести — дочь Виро — Ренэ, смелая девочка-подросток.

Преданная всеми силами своей молодой, героической души идеям добра и справедливости, она отважно помогает старшим в их борьбе с контрреволюцией. Ренэ действует находчиво и дерзко. Полиция не может поймать таинственного и смелого диверсанта, который причиняет множество неприятностей правителям буржуазной Эстонии.

Читатель с напряжением следит за действиями маленькой героини, к которой тянутся все нити интересного и напряженного сюжета повести.

КУЧИШВИЛИ, Г. — *Стихи. Перевод с грузинского Р. Ивнева*. Тбилиси, «Заря Востока», 1945, 54 стр. — Сборник стихотворений, написанных в 1939—1944 гг. Большая часть стихов посвящена Великой Отечественной войне, героизму советских бойцов, великому Сталину.

В поэме «Украина» поэт рассказывает о героической гибели грузина Блевадзе Бека, командира партизанского отряда, действовавшего на Украине.

Сборник заключают «Орел в плену» — поэма о гибели в Метехском замке соратника Сталина, замечательного большевика Ладо Кецховели, и «Легенда о Гори» — поэма, написанная на тему народных грузинских преданий о царице Тамаре.

ЛЕБЕДЕВ, А. — *Морская сила. Стихи. Предисловие Н. Тихонова. Иваново, Гослитиздат, 1945, 127 стр.* — Алексей Лебедев — моряк-подводник, погибший в боях за родину в первые месяцы Великой Отечественной войны. Первая книга его стихов вышла в 1939 году.

Лебедев — подлинный певец моря. С морем связаны все его мысли, чувства, дела и мечты. В его страстных, энергичных стихах «много морского воздуха, морских волн, морской тревоги... Его стихи — это он. В его стихах вы найдете сначала восторг перед значительностью избранного им пути, потом упоение романтической дела, потом описание его суровых особенностей, и подойдете к главному, к тому, что он стал моряком, военным, т.е. человеком, посвятившим себя защите морских границ» (из предисловия).

МОПАСАН, Г. — *В море. Рассказы. М., Л., Военмориздат, («Б-ка краснофлотца»), 1945, 183 стр.* — Содержание: В море, Вендетта, Ожерелье, Любовь, Туан, Одиссея протистутки, Исповедь Теодюля Сабо, Гарсон, кружку пива, Нормандец, Ницши, Покровитель, Бочонок, В порту, Буатель, Счастье.

В творчестве Гюи де-Мопассана большое место занимает новелла. Тонкий психолог, мыслитель и поэт, Мопассан создал замечательные произведения этого жанра с изумительными по живости сценами, яркими и острыми положениями и эффектными концовками, всегда неожиданными и увлекательными. Сила мастерства Мопассана прекрасно охарактеризована А. П. Чеховым: «Мопассан, как художник, поставил такие огромные требования, что писать по старинке после него сделалось уже невозможным».

Нормандские крестьяне, парижские буржуа, помещики и чиновники — вот основные герои рассказов Мопассана, воскрешающих перед нами жизнь, быт и нравы французского общества 70—80-х гг. прошлого столетия.

МОРЕ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ. — *Избранные стихи. Предисловие П. Антокольского. М., Л., Военмориздат, 1945, 166 стр.* — В сборник вошли «морские» стихи русских классиков от Ломоносова до Горького; из позднейших поэтов включены стихи В. Маяковского и Э. Багрицкого.

«Наши великие поэты — Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев — животворящие русскую поэзию, любили море... Едва вдохнули они соленый морской простор, любовь к морю стала неотъемлемой частью их лирики... Море стало для них синонимом свободы, счастливой полноты жизни и вольного дыхания...

Поэзия моря была для русских поэтов поэзией борьбы с природой и победой над ней... Мотив этот звучит и в стихах Ломоносова и в стихах советского поэта Багрицкого. В этих сти-

хах раскрывается предчувствие новых и новых побед, которые ждут нашу родину на омывающих ее морях» (из предисловия).

ПОЭТЫ-ЯРОСЛАВЦЫ. — *Вступит. статья, биографические очерки и подбор материалов М. Н. Пархоменко. Ярославль., Облиз, 1944, 199 стр., 6 вкл. л., портр.* — Сборник-антология «Поэты-ярославцы» знакомит читателя с творчеством поэтов XIX века, уроженцев Ярославля и Ярославской области: Ф. Н. Слепушкина, Ю. Жадовской, А. Ф. Иванова-Классика, И. И. Пальмина, С. Я. Дерунова, И. З. Сурикова, А. Н. Трефолева, Н. А. Некрасова.

Краткие критико-биографические очерки рассказывают о жизни и творчестве этих поэтов.

Вступительная статья М. Н. Пархоменко посвящена культурному прошлому Ярославской области. Автор сообщает о древних литературных памятниках — замечательном «Молении Даниила Заточника» и полном любви к родине «Слове о гибели земли русской», описывающем татарское нашествие; о написанных на исторические темы произведениях XV—XVII вв. («Сказание о Петре царевиче Ордынском», «Сказание об осаде Троицко-Сергиевского монастыря от поляков и Литвы...»); о сатирических повестях XVII века («Повесть о Шемякинном суде», «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» и др.); о ярославских поэтах и писателях XVIII века (М. Л. Попов, М. Л. Чулков, В. И. Майков); о возникновении в Ярославле русского профессионального театра, о замечательных актерах — Ф. Г. Волкове (1728—1763) и И. А. Дмитриевском (1733—1821); об издании первого в России провинциального журнала «Уединенный пошхонец»; о Демидовском лицее высших наук, положившем начало литературным объединениям и издательской деятельности в Ярославле в XIX веке.

ТБИЛЕЛИ, И. — *Дидмоуравиани. Поэма о Георгии Саакадзе. Перев. с грузинского. Г. Цагарели, Тбилиси, «Заря Востока», IX, 1944, 81 стр.* — Поэма «Дидмоуравиани», написанная во второй половине XVII века одним из самых просвещенных и образованных людей того времени, занимает особое место в литературном наследии грузинского народа. Это не только значительное художественное произведение, но и исторический документ, воскрешающий действительные события грузинской истории.

К началу XVII века Грузии, раздираемой кровавыми распрями феодалов, грозила опасность полной потери национальной независимости. Турция и Иран — ее могущественные соседи — стремились захватить ее земли, поработить свободолобивый грузинский народ. В эту эпоху внутренних бурь и потрясений на политическую арену Грузии выдвинулся Георгий Саакадзе. Выходец из народа, Саакадзе посвятил свою жизнь борьбе с феодалами за централизованное, независимое грузинское государство. Грузины дали Саакадзе почетное имя «Великий Моурави».

Поэма Тбилелиц — сказание, прославляющее жизнь и деятельность этого выдающегося полководца и политического деятеля. Поэт раскрывает трагическую судьбу Саакадзе и разоблачает его политических врагов, обвинявших Великого Моурави в измене родине.

Вступительная статья академика Г. Леонидзе содержит очерк жизни Иосифа Тбилели, историю написания и анализа его поэмы.

ТУРКМЕНСКИЕ РАССКАЗЫ. — Ашхабад. Туркменгиз, 1945, 193 стр. — Сборник рассказов современных туркменских писателей Хаджи Измайлова, Ата Каушутова, Нурмурад Сарыханова, Берды Кербобаева, Агахан Дудыева, написанных на военные темы и сюжеты из жизни советской Туркмении.

Вступительная статья Викторина Попова «От дестана к роману» — краткий очерк развития этого жанра в советской туркменской литературе, свидетельствующего о громадном росте культуры туркменского народа.

ТЮТЧЕВ, Ф. И. — Стихотворения. Ред., вступит. статья и коммент. К. Пигарева. М., Гослитиздат, 1945, 303 стр., 1 вкл. л. портр. — Книга избранных произведений одного из самых значительных русских поэтов XIX века. Творчество Тютчева, художника и мыслителя, знали и ценили многие замечательные люди России: Пушкин и Некрасов, Добролюбов и

Тургенев, Лев Толстой, Валерий Брюсов, В. И. Ленин.

Н. А. Некрасов, анализируя стихи Тютчева, напечатанные Пушкиным в 1836 году в «Современнике», относил его «к русским первостепенным поэтическим талантам», произведения которого «каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения».

Первый отдел сборника включает лучшее из поэтического наследия Тютчева — его вдохновенные стихи о природе и человеке, его замечательную любовную лирику.

Во второй отдел вошли философские и политические стихи, большинство которых было написано в связи с событиями современной Тютчеву общественно-политической жизни.

Во вступительной статье К. Пигарева дан краткий очерк жизни и творчества поэта.

ЯШИН, А. — Земля богатырей. Книга стихов. Л., «Молодая гвардия», 1945, 190 стр. — Большую часть сборника составляют фронтовые стихи, написанные на протяжении 1941—1944 гг.

Стихи Яшина — говорят о великой миссии русского солдата, о его непобедимости.

Заключающее сборник стихотворение «Русский человек» — гимн советским людям, которые спасли мир от немецкого нашествия.

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

БАЛАБАНОВИЧ, Е. — Николай Островский. Библиографический очерк. Под ред. И. Клабуновского. М., изд-во Гослитмузея, 1945, 70 стр., с илл. — «Писатель должен учить не только своим словом, но всей своей жизнью, поведением», — говорил Н. Островский.

Очерк Е. Балабанович говорит о замечательной жизни писателя-героя, о его благородном и самоотверженном служении родине.

В книге, помимо материалов, уже появившихся в печати, использованы неопубликованные ранее письма, воспоминания и документы из личного архива писателя.

Все эти материалы рисуют образ писателя-борца, говорят о его огромном влиянии на целые поколения советской молодежи.

ОРЛОВ, А. С. — Казахский героический эпос. М., Л., Изд-во Акад. наук СССР, (Академия наук Союза ССР. Научно-популярная серия), 1945, 148 стр. — Это очерк истории казахского героического эпоса, сделанный на материале Института языка, литературы и истории Казахского филиала Академии наук СССР.

Книга содержит характеристики героически казахских былин об Алпамесе-батыре, о Кабланды-батыре, о Ер-Сайне, о Ер-Тархыне, о Шура-батыре, о Кавбаре-батыре, о Едыге. Автор утверждает, что героический эпос казахского свидетельствует о высоком уровне литературного искусства: «Былины эти... живописны и эмоциональны, взаимоотношения персонажей психологически сложны... Мы находим в этих былинах... реализм, верность быту — вплоть до жестов... Достоинством повествования казахской героики является и пользование юмором».

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

СТРАХОВАНИЕМ ЖИЗНИ В ГОССТРАХЕ

МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ

С е б я

- при дожитии до определенного возраста
- при инвалидности, происшедшей от несчастного случая

Семью и близких

- в случае преждевременной смерти застрахованного
-

Страхование заключается на любую сумму

Для заключения страхования и за всеми справками обращайтесь в инспекции Госстраха или к страховым агентам.